



В. МАКСИМОВ · Прощание из ниоткуда

*

В. МАКСИМОВ

*Прощание
из ниоткуда*



КНИГА 1

ПАМЯТНОЕ
ВИНО
ГРЕХА



В. МАКСИМОВ

Прощание
из ниоткуда

Книга I

Памятное вино греха

ПОСЕВ

Обложка работы художника А. Русака

2-е издание 1982

© Possev-Verlag, V. Gorachek KG., 1974
Frankfurt/Main
Printed in Germany

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Израиль, Израиль! Желтая, выпитая солнцем земля, которая еще хранит легкие прикосновения Его продолговатых ступней, и смутная цепь изъеденных жгучими ветрами гор, каждая из которых могла оказаться Его Голгофой! В какой раз с тех пор, рассекая время и пространство, ты возникаешь среди заснеженных российских пределов, словно мираж, бред, сквозной сон капризной истории, вечно таящийся в самом сокровенном углу нашей памяти. И млело в тайной прелести слабое сердце новгородского пастыря Луки Жидяты. И тянулись страждущие души по несчетным славянским бесям туда, в город Искупления и Храма. И стлался им вслед дымный плач Колымы и Бабьего Яра. И не оттого ли: «Удрученный ношей крестной, всю тебя, земля родная, в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя»?

...Влад лежал на полуразобранном диване, бессмысленно глядя в снежную ночь перед собой, и заполнявшая его вязкая пустота сообщала ему чувство обманчивого покоя. За обнаженным окном, в едва раздвинутой уличными фонарями темени медленно валил снег. В сиротливо опустевшей комнате еще витал царивший здесь совсем недавно жилой дух, но печать тлена уже отложилась на всем, к чему прикасался взгляд. Сбоку, сквозь щель чуть приоткрытой двери тьма раскалывалась бритвенной полоской света. Там, в бывшей столовой родня Влада, пять самых близких ему су-

ществ, в чуткой полудреме коротали ночь перед отлетом в Вену, откуда путь их был в Иерусалим. Он видел их сейчас, всех пятерых, сгусток напряженного безмолвия в утлой обители света, и каждого в отдельности, вызревающий кокон ожидания, готовый взорваться открытием и надеждой.

«Вот так, свет ты мой, Мария Михайловна, — две голодухи, начисто прополовшие родство вокруг, четыре войны с безымянными звездами над усыпальницами женихов, куча так и не зачатых от них детей: все твои шесть десятков годков, щедро оплаченных полдюжиной почетных бляшек, отштампованных из цветзаменителей на Монетном дворе, — куда, за какие Кудыкины горы уносит тебя сегодня твоя шестьдесят первая зима? Что ждет тебя там, в Синайских песках, престарелую девочку из деревни Сычевка, что затерялась где-то между Москвой и Тулой?

...Не ходи, не кури так много и так ожесточенно, Екатерина, дочь Алексева! Это ведь не просто — выламываться из этого снежного кружева на Красной Пресне, из тридцатилетней паутины связей и дружб, потерь и приобретений, встреч, разлук, ссор, любвей, разговоров, из заколдованного круга знакомых порогов и полузабытых могил. Нет, нет, это не дым истерзанной сигареты, Катюха, а сизый пепел дряхлеющего двора на Сокольнической окраине и горький пух ее тополей першат сейчас тебе горло.

...Как мало, как плохо я знал тебя, Юра, сына польских изгнанников и внука американского еврея, еще главенствующего над кланом, растекшимся по всем пяти континентам! Из всех неисповедимых путей Господа, наверное, самый неисповедимый привел тебя в полувьмершую семью московских мастеровых из бывших крестьян, к девочке, почти подростку, с которой ты зачал родословную

новой фамилии, гремучего симбиоза славянских и библейских кровей.

...Если бы знать, что станется с ними, этими двумя боковыми веточками самсоновского корня, там, в тридевятиом царстве земли обетованной, многоязычной юдоли надежд и упований! Старшая, она уже готова, она уже покорила неизбежному, ею уже властно движет извечный женский инстинкт навстречу тайне и новизне. Но, с ума сойти, как мне представить за пределом моего прикосновения и взгляда тебя, Лёша, Алексей, Алексей Юрьевич, по-детски размытый абрис фамильного облика и дареная синева постоянно взыскующих глаз?»

Снег косо струился в блеклом свете уличных фонарей, темь и тишина сгустились над Владом почти до осязания, и, плотно отгороженный ими от всего окружающего, он почувствовал, как его уверенно заполняет сладостная жуть одиночества. Ему вдруг показалось, что, погребенный заживо в этой метельной темени и в этой оглушительной тишине, он лежит вот так, сложив руки на груди и подогнув колени, уже множество лет и времен с безмолвным криком в неутолимом горе: кто он, зачем, откуда?

2

Да, да, откуда и зачем ты появился здесь, на этой земле, мой мальчик? Что изваяло тебя? Ветер? Сгусток клубящейся пыли в случайном луче среди тьмы? Или усталое эхо далеких пращуров, продравшись сквозь время, воплотилось в тебе, чтобы вместе с тобою окончательно уйти в небытие? Кругом была бездна, и в этой бездне, на крохотном шарике, смеси воды и глины, железа и

крови, памяти и забвения, в одном из множества городов прилепилась окраина с веселым названием Сокольники, где однажды ты внезапно ощутил свое присутствие, объемность действительности вокруг себя и куцее имя Влад, и слоеную фамилию Самсонов...

— Влад!

— Вла-а-д!

— Вла-а-а-ди-и-и-к!

— Самсо-о-о-о-н-о-в!

Это был его знак, его роковое тавро, его непогашаемый вексель на предъявителя, с которым он пройдет через всю жизнь в поисках своего загадочного Господина, Хозяина, Кредитора. Сколько раз потом, меняя ходячие биографии, доведется носить ему ярлыки чужих позывных, но оно — это первое имя, словно лезвие травы сквозь асфальт, будет прорастать в нем снова и снова, неотвратно возвращая его в прежнее состояние, в изначальную ипостась. Лишь где-то на самом исходе лет его озарит сокровенный смысл этой неотвратимости, ее цель, ее предопределение. Как оказалось потом, Кредитор не дремал и ничего не забывал, просто до поры, до времени Он ждал своего часа, чтобы в конце концов получить долг, что называется — сполна и по твердому курсу. Подспудно Влад, конечно, чувствовал, что должен будет расплатиться за что-то, за какую-то давнюю и еще неведомую ему вину, но слишком поздно осознал, за что именно...

3

Мир возник в его сознании резко и неожиданно: залитый майским солнцем двор в причудливом смешении тени и света, смеющееся лицо дворника дяди Саши над кучей битого кирпича и стреми-

тельно порхающий от ворот до парадного с ленточным метром в руках домоуправ Иткин, как две капли воды похожий на Карла Маркса, что поможет ему сначала снискать популярность во всех вышестоящих хозяйственных организациях, а затем закончить свои дни во внутренней тюрьме, «без права переписки».

Во всяком случае, именно с этого дня Влад вёл потом отсчет своего осмысленного существования. В этот день Соломон Иткин принял историческое в своем роде решение проложить от калитки до подъезда кирпичную дорожку, которая продержится потом чуть ли не сорок лет и по которой постепенно вынесут ногами вперед всё первое поколение ответственных квартиросъемщиков, включая сюда и супругу самого двойника создателя теории научного коммунизма — Сарру Иткину, так и не дождавшуюся своего мужа из вынужденной командировки.

Дядя Саша стоял над кучей бракованного кирпича и посмеивался, домоуправ порхал по двору с ленточным метром в руках, намечая контуры будущей магистрали, а Влад, со строительным молотком у плеча, зорко следил за ними обоими в ожидании решающей команды.

— Ладно, — наконец сказал Иткин и сунул рулетку в карман номенклатурной толстовки, — вот так хорошо. Приступай, Александр Петрович. А ты, Самсонов, — золотая рыбка награды плеснулась в глубине его коричневых хрусталин, — будь при нем, как ворошиловский стрелок, я на тебя надеюсь.

Распустив седеющую бороду лопатистым парусом, он птицей выпорхнул за ворота, а дядя Саша, всё так же посмеиваясь в прокуренные усы, снисходительно кивнул Владу:

— Подавай!

И положил первый кирпич...

О, эта кирпичная дорожка от парадного подъезда до калитки! Влад нет-нет да сходит туда, в тот двор, и теперь. Она еще скрипит, еще держится эта дорожка, хотя, конечно, это уже не тот большак для легионов Цезаря, каким она предстала им в день ее завершения. Полностью от нее уцелели лишь редкие острова. Об остальном же сейчас можно судить только по кое-где выступающим из затвердевшего грунта остриям и осколкам. Но думать надо, что выдержала она во все эти поры! Сколько пьяных лбом высекали из нее искры, сколько коварных сапог, каблуков, босых пяток крошило ее поверхность, какая уйма барахла прогромыхала по ее ребрам! Как говорится, не хочешь — согнешься. Она еще жива, еще держится эта дорожка, похоронив и встретив столько людей, что их хватило бы, чтобы заселить далеко не один такой дом. Всё новые и новые жильцы дотаптывают ее остатки, но, чем чёрт не шутит, может так случиться, что в результате всей твоей суетни на земле от тебя останется одно-единственное дело — память: вот эта самая кирпичная дорожка от подъезда дома, где ты родился, до его ворот...

Дорожка, начатая от парадного, удлинялась медленно, но верно. Каждый день, едва сготовив уроки, Влад выходил на помощь дворнику. Тот с молчаливой одобрительностью кивал ему и принимал из его рук очередную половинку или трехчетверку кирпича. В вечеру строительство дозором облетал Иткин, гремучим глазом окидывал сделанное и, по обыкновению удовлетворенно хмыкнув, тут же растворялся в холодеющем пространстве.

Дядя Саща только насмешливо подмигивал ему вслед:

— Смурной...

Но не только домоуправа волновало их сооружение, весь двор напряженно следил за его ростом и качеством. Каждый спешил высказать к начатой работе свое отношение. Сосед Влада, плотник Иван Кудинов, возвращаясь с работы, как обычно вполпьяна, останавливался над ними и всякий раз повторял одно и то же:

— Мустафа дорогу строил, а Жиган по ней ходил... Рабочники, твою мать...

Снабженец Вайнтрауб с четвертого этажа ежевечерне деловито подсчитывал затраченный материал:

— Нет, Шилов, дело так не пойдет. Государственный кирпич разбазариваешь. У тебя на погонный метр уходит на шесть кирпичей больше положенной нормы. Смотри, с участковым придется твой сарай проверять. Левый дефицит запасаешь...

Работник органов Никифоров поднимал вопрос на принципиальную высоту:

— Вот так и дорога к социализму: кирпич к кирпичу — дворец Ильичу. Только в оба глядеть нужно, Шилов, враг — он не дремлет... Чего у тебя здесь Самсонов ошивается?

А старуха Дурова из флигеля, всегда подводившая итог дворовым толкам, безнадежно вздыхала, сотрясаясь всей своей монументальной статурой:

— Всё прах, тлен... Кому всё это нужно?

Чем ближе к концу двигалось дело, тем рельефнее и объемнее становился мир вокруг Влада. Жизнь заполняла его смыслом и содержанием. Он впервые ощутил свои жилы, мускулы, легкую упругость своего маленького тела, вкус собственного пота и крови израненных пальцев на крепнущих губах, сладкую истому отдыха после работы. Из него, словно ядро из зеленого ореха, вылуцился

человек, личность, мужчина, уже готовый к тому, чтобы плодоносить.

Позже, когда судьба грубо протащит его сквозь колючие заросли действительности и еле живым выбросит на берег, он не раз вспомнит эту кирпичную дорожку и возблагодарит Провидение за то, что начинать жизнь ему довелось именно с нее.

4

Сидя на подоконнике, залитом майским полднем, Влад вновь и вновь перечитывал крохотную информацию в самом углу четвертой полосы «Правды» под рубрикой «Происшествия»: «Вчера днем над Москвой разразился ливень с грозой. На 2-ой Новотихвинской улице оборвало провода электролинии. На концы разорванного провода наступила лошадь; током ее убило на месте. На улице Мишина сорванные провода упали на деревья. Десятилетний Костя Бутылкин при попытке взобраться на дерево был поражен током. Такой же несчастный случай произошел на Митьковской улице с шестилетним Яшей Самсоновым. Кареты «Скорой помощи» оказали пострадавшим детям медицинскую помощь на месте».

Он штудировал текст и так и эдак, с конца, с середины и опять с самого начала, произносил вслух на все лады, заучивал наизусть, упиваясь пьянящим волшебством типографских строк. Лошадь и незадачливый Костя Бутылкин интересовали его постольку, поскольку предвещали появление в заметке самого главного: сообщения о нем — Владе Самсонове, хотя и названном почему-то Яшей. Легкая досада по этому поводу с лихвой возмещалась полным совпадением адреса и места

происшествия. Печатные букочки, словно нотные знаки, музыкой отзывались в сердце Влада. Он готов был петь от переполнявшего его восхищения собой, плясать в предчувствии заманчивых перемен в своей жизни. Прости ему, Господи, его наивность: надежды юношей питают!

Газета текла, струилась, полыхала в руках Влада, а с ее страниц черными птицами вспархивали грозные восклицательные заголовки: «Смерть предателям Родины!», «Выродков к ответу!», «Смести с лица земли подлых наймитов фашизма!» Имена доктора-садиста Плетнева, недавних маршалов — бравых победителей царских полчищ и армاد Антанты, а также бдительного наркома, мгновенно разгадавшего их коварные замыслы, красовались на самых видных местах. Сознание собственной известности подогревало воображение Влада. Ему живо представлялось, как изувер в белом халате пытается стахановцев-орденоносцев по заданию подпольного маршальского центра, кровно заинтересованного в ослаблении обороноспособности страны на трудовом фронте. Орудие пыток рисовалось ему, главным образом, в виде огромного шприца для уколов. И уголек священного гнева яростно разгорался в его неистовом сердчишке. «Смерть! — сжимая кулаки, самозабвенно повторял он. — К ответу! Смести с лица!» Его личное присутствие среди мешанины печатных заклинаний проникало Влада чувством причастности ко всему этому. «Враг, нам вредить не сметь!» Кресало рифмы коснулось его души, высекая в ней священный огонь божественного вдохновения. «Получишь за это смерть!» Он даже несколько обомлел, осознав случившееся. «Это же стихи!» Восторг подхватил и понес Влада дальше. «Как в книжке!» Теперь его было уже не остановить: в нем победно расправлял крылья солнечный графоман, способ-

ный обеспечить работой весь ротационный парк родного государства. «Пусть будет известно всему свету, — споро испражняло его, — врагов притянем к ответу. Предателей метким огнем с лица мы земли сметем. Обрушит свинцовый дождь на них наш любимый вождь». Перед ним необъятно распахнулось поле чужой брани, и хмельной дух высокооплачиваемого мародерства ударил ему в его чуткие ноздри. Заманчивые перспективы кружили ему голову, открывая впереди дали, одну другой соблазнительнее. И тароватая на обещания Синяя Птица нежно ворковала над ним: кто смел, тот и съел, не родись красивым, а родись счастливым, нас утро встречает прохладой.

Мать, выслушав захлебывающегося от самовосхищения сына, задумчиво поджала бескровные губы и коротко хмыкнула:

— Смотри пожалуйста, уже сочиняет, вот тебе нá! Насочиняет всякой всячины, а я опять передачи носи. — Но тут же смягчилась, легонько потрепала его за волосы. — Ишь ты, сочинитель, давай-давай, может, что и получится из тебя путное, всё лишняя копейка в доме... Иди, гуляй...

С ее стороны это было как бы милостью, знаком одобрения, авансом в счет будущего. Она никогда не оставляла надежд на чудо, отводя ему в своих химерических прожектах соответствующее место. Ее рыхлое безвольное тело, надо думать, только и держалось этими химерами, этим неумным честолюбием и жаждой жизненного реванша. Она ждала своего звездного часа с верой и самозабвенностью картёжника, который поставил на карту собственную жизнь. Сколько раз действительность опрокидывала ее хитроумные расчеты, играя с ней шутки одну злее другой, но, едва оправившись от очередного разочарования, она вновь обретала прежнюю уверенность в скорой и уже не-

минуемой перемене к лучшему. Можно было только удивляться, откуда в этой сонной и ни к чему не приспособленной женщине такая почти мистическая целеустремленность. После ее гибели Влад был убежден, что и там, на Казанском вокзале, проваливаясь между электричкой и платформой, она всё еще полагала случившееся с нею досадным, но временным недоразумением перед большой удачей. Но, видно, кто не надеется, тот не живет...

Первой во дворе Владу встретилась старуха Дурова. С нею его связывало чувство взаимной признательности. Он водил молчаливую дружбу с ее единственным сыном, театральным статистом Лёлей, меланхоличным психиатриком, пользующимся в доме репутацией зачумленного; а она, в свою очередь, героически защищала Влада от священной ярости владельцев разбитых им стекол. Еще помня лучшие времена, но не жалея о них, старуха жила в крошечной комнате деревянного флигеля, целыми днями занятая изнурительными комбинациями с семейным бюджетом, состоявшим из далеко не регулярной зарплаты сына и своей мизерной пенсии. Ее изобретательность в этой области не знала границ, и только финансовые чудеса, которые творила она, бегая с ветхой кошёлкой по всем магазинам округи, помогали ей сводить концы с концами. Дворовая рвань, не прощая ей прошлого, за глаза окрестила ее «барыней», но задевать открыто не осмеливалась: потомственная дворянка мастерски ругалась матом, а при случае могла и огреть по шее. В силу этого рабский инстинкт предохранял смельчаков от классового соблазна...

Стихи явно произвели на нее впечатление.

— Прости меня, мой милый, но это, по-моему, дерьмо, — сказала она, скорбно вздохнув. — Когда

только ты успел нахвататься этой тарабарщины. — Ее глаза цвета пыли смотрели куда-то поверх его головы. — Господи, они ухитрились задурить головы даже детям!

— Что, у меня хуже, чем в газете? — Авторская уязвленность уже давала себя знать. — Точь-в-точь как там.

— Вот именно, мой милый, вот именно, — брезгливо отстранила она его. — Тем хуже для тебя.

Старуха канула в сумрак флигельных сеней, оставляя Влада наедине с его недоумением и обидой. Не раз впоследствии доведется ему выслушивать от подвернувшихся ценителей приговоры и куда более строгие, но никогда при этом он уже не почувствует себя таким убитым и обескураженным.

Но Влад всё-таки не успокоился. Слишком велико было его изумление перед открывшимся в нем даром. Уязвленное самолюбие услужливо подсказывало ему причины первого провала. «Завидно барыне, — натужно позлорадствовал он вслед старухе, — что у нас тоже выходит!» Бездарность утешается наличием врагов.

И понимание не заставило себя ждать.

— Голова Владька, далеко пойдешь! — развел руками дядя Саша, не дав ему даже закончить. — Весь в отца. Лёшка, тот тоже в большие люди шел, жалко, посередь пути укоротили... Это ты молодец, нынче за такую сознательность ордена дают. Вон слышал про Мамлакат, от горшка два вершка, а с самим вождем за ручку здоровкается. Ты какому-нибудь партейцу покажи, хоть вон Никифорычу, глядишь, протолкнет.

— Лучше Иткину. — Перспектива читать стихи своему главному во дворе недоброжелателю угнетала Влада. — Его везде знают.

И вмиг лицо дворника словно вымерзло изнутри, стало сонным и невыразительным:

— Нету больше Иткина, — потянулся он прочь. — Был да весь вышел, будто не рожали.

— Где же он? — Влад спрашивал машинально, уже догадываясь о происшедшем: мужская половина двора редела на его глазах. — Я его вчера из окна видел.

— Вчера! — сокрушенно потрянул головой тот. — Вчера у попа жена была, была да с цыганом уплыла. Сам вон говоришь: враг, нам вредить не сметь. То-то!

Сказал и скрылся за воротами. Сегодня каждый из них уходил от него с необъяснимой поспешностью, словно их чем-то, но неизвестно, чем именно, тяготило общение с ним. Догадка еще только брезжила, только намечалась в нем и лишь через много лет озарила его поздним раскаянием. Но прежде ему выпадало самому пройти сквозь ад, в котором канули шедшие первыми, и на своей шкуре испытать всю меру возмездия за соблазнительную легковерность. Долог, ох как долог будет его путь обратно, в этот затененный старыми тополями двор! Дезик, Дезик*, печальный арлекин в чумном пиру русского апокалипсиса, когда-нибудь ты небрежно отольешь его неутолимую ностальгию всего в четырех — но каких — строках: «Я б вас повел с собой в свой старый дом (шарманчики, петрушка — что за чудо!), но как припомню долгий путь оттуда: не надо, нет, мы лучше не пойдём...»

Господи, если бы я еще сохранил способность плакать!

* Давид Самойлов.

«Пистолет» смотрел на Влада в упор, как бы внимательно изучая его или к нему присматриваясь. Влад не испытывал страха, скорее наоборот, ему было даже немножко весело: он никак не мог взять в толк, почему директора школы окрестили именно этой кличкой? Директор был прям, тощ, броваст, с острым, выдвинутым вперед подбородком: образцовый восклицательный знак в перевернутом виде.

— Значит, ты и есть Владик Самсонов? — Он встал к нему в профиль и тут же ссутулился, отчего сразу сделался похож на огромный рыболовный крючок, поставленный на попа. — Что молчишь?

— Я...

— Так. — Директор быстро взглянул на него, словно удостовераясь, здесь он еще или нет, и снова отвернулся, вперяясь в стену перед собой.

— Я... Не знаю...

— Зато я знаю. — Он всё так же глядел в стену. — Много себе позволяешь, Самсонов. — Кажется, что директор разговаривает с кем-то там, за стеной. — Я бы на твоём месте старался держаться поскромнее. Да, да, Самсонов, вот именно. — Он круто развернулся и, выйдя из-за стола, пошел прямо на Влада. — Надеюсь, ты меня понимаешь?

О да, Влад, разумеется, понимал. Он слишком рано и слишком многое выучился понимать. Еще задолго до того, как Влад перешагнул школьный порог, бдительное общество позаботилось о том, чтобы он не забывался и знал свое место. Присказка о яблоке, которое недалеко падает от яблони, даже снилась ему по ночам: отец в виде развесистой антоновки и он — Влад — у отцовских ног, наподобие крохотного дичка. Небольшой, но горь-

кий опыт научил его осторожно лавировать между предательскими рифами молчаливого сочувствия и открытой враждебностью. Болезненно, острым чутьем затравленной зверюшки он улавливал, что единственное его спасение в том, чтобы делать вид, будто ничего не происходит: всё хорошо, прекрасная маркиза, всё хорошо как никогда! Поэтому и сейчас в нем мгновенно сработала обычная в таких случаях уклончивая осторожность:

— Да... Да... Не знаю.

— А мне докладывали, что ты способный. — «Пистолет» придвинулся к нему почти вплотную, брови его грозно спикировали на Влада. — Схватываешь всё на лету. У тебя, говорят, прекрасная память, не правда ли?

— Я не знаю...

— Заладил одно и то же: «не знаю», «не знаю»! — Тощая длань директора покровительственно опустилась ему на плечо. — Должен знать, обязан, понятно?

— Понятно...

— Ты любишь Павлика Морозова?

— Да... Люблю...

— Вот с кого тебе надо брать пример. — В голосе его засквозила хищная задумчивость. — Верность делу Ленина-Сталина — прежде всего. Враг хитёр и коварен, он лезет во все щели, нам всем надо быть начеку, понимаешь?

— Понимаю...

— Я знал, что ты умный мальчик. — Голос его зазвенел подкупающей доверительностью. Владу даже показалось, что тот слегка всхлипнул. — Ты должен быть особенно бдительным, понимаешь?

— Да...

— Молодец! — Речь директора завибрировала от умиления и восторга. — Если что почувствуешь

или услышишь, не стесняйся, расскажи своей классной руководительнице. В крайнем случае — прямо ко мне, мы тебя в беде не оставим. Ты с нами, ты — наш! Понял?

— Конечно...

Еще бы! Проникаясь ответственностью момента, они оба невольно вытянулись по стойке смирно. Влада охватило чувство приобщения к тайная тайных, святая святых, к чему-то огромному и непостижимому в своей запредельной значительности, к такому, о чем можно говорить только шепотом или молчать гордо и отрешенно. Отныне он не существовал сам по себе, как отдельно взятый Влад Самсонов, его «я» слилось с восхитительным и облегчающим «мы». Сейчас он уже не был маленьким и незащищенным существом, которому приходится в одиночку отбиваться от притязаний окружающего мира, за его спиной вдруг встала сила, способная смять, раздавить любого, кто посмеет на него замахнуться. Впредь ему не нужно будет мучительно раздваиваться между угрожающими «да» или «нет». Каждое его «да» и каждое его «нет» определены теперь заранее потребностью и пользой Общего Дела и Единой Цели, которым он причастился. Подхватившая Влада восхитительная легкость кружила ему голову, никогда еще он не чувствовал себя таким уверенным и свободным. Заманчивые дали замаячили перед ним с открывшейся ему высоты. Пусть попробует теперь какой-нибудь там Никифоров или Вайнтрауб с четвертого этажа сунуться к нему со своими поучениями! Об остальной же дворовой мелочи он и думать сейчас не мог без снисходительного презрения. Трепещите, тираны!

В довольно тесноватом директорском кабинете сделалось светлее и просторнее. Заляпанный чернилами конторский стол с усатым портретом над

ним приобрели необъяснимую торжественность. Даже запыленный фикус в углу, если чуть прижмуриться, стал смахивать на развесистую пальму с иллюстрации к известному стихотворению Лермонтова: злость подхлестывает воображение.

— Что ж, Самсонов, я верю в тебя. — Директор явно сопереживал с ним его состояние. — Скоро тебе в пионеры.

— Да. — Если бы в эту минуту тот потребовал от него выпрыгнуть в окно с пятого этажа, он ринулся бы вниз не задумываясь. Спазмы самоотречения сжимали ему горло. — Я готов.

— Но до этого ты должен показать себя, Самсонов. Это твой долг, твой первый, так сказать, вступительный взнос.

— Я постараюсь...

Конечно, постарается! Нет отныне на земле таких крепостей, которые были бы ему не по плечу. Наш паровоз, вперед лети! Пробил его час. Теперь он покажет себя!

Случай представился уже на следующий день. На большой перемене сосед Влада по парте Мишка Рабинов, оглядевшись по сторонам и убедившись, что класс пуст, склонился к его уху:

— Что такое эсэсэсэр, знаешь?

— А что? — ожидая подвоха, насторожился Влад.

— Эх ты, колхоз!

— Сам ты...

— Я тебе как другу, а ты...

— Ладно, говори.

— Селедка Стоит Сто Рублей, понял! — Эс эс эс эр...

Лови свое счастье, Самсонов, оно само плывет к тебе в руки! У Влада победно застучало в висках: судьба выбрасывала ему карту удачи, шанс, который может не повториться. Мишка и раньше

вызывал в нем некоторое раздражение своей заносчивостью и успехами в самодеятельности: считался лучшим запевалой в школе. К тому же у всех, как у людей, портреты врагов народа в учебнике истории были старательно замазаны чернилами или по крайней мере красовались с выколотыми глазами, а у него нет. Он говорил, правда, что не хочет портить учебник, а на самом деле — кто его знает...

— Сам придумал? — осторожно подтолкнул его Влад. — Слабо самому!

— Ребята во дворе говорили, а что?

— Ничего... так...

От него не ускользнула, Миша, сумеречная зарница страха в твоих глазах, но она только воодушевила его: значит, он не ошибся, значит, пришла пора проявить свою верность Общему Делу и Единой Цели. Где ты, Миша, теперь, ему неизвестно, но тебе следует знать своего первого стукача.

После уроков Влад долго дежурил у школы, ожидая выхода классной руководительницы Ираиды Владимировны, и когда, наконец, она, сияя персиковой молодостью, появилась на пороге, он устремился к ней, как новообращенный к боготворимой жрице. Сначала учительница не поняла Маленького Энтузиаста Большого Дела, его сбивчивый рассказ с трудом пробивался сквозь звонкий гул торжествующей в ней молодости, но едва смысл сообщения дошел до нее, она растерянно заморгала ресницами и густо покраснела:

— Но ведь он твой товарищ, Владик!

— А если он так сказал?

— Вот ты ему и ответь.

— Как же ему? — Влад прямо-таки задохнулся от негодования: кто же сам раскрывает карты врагу? — Ему нельзя.

— Почему нельзя? — Слезы уже трясли ее, и она, еле сдерживаясь, судорожно кусала пухлые губы. — Кто тебя научил этому?

— Николай Михайлович говорит...

— Ах, Николай Михайлович! — Учительница не спускала с Влада негодующих глаз. Едва ли когда-нибудь в жизни ему придется хоть однажды испытать столько жалости и презрения сразу. — Так вот в чем дело!..

Брезгливость вдруг как бы сократила ее в размерах, сделала еще моложе и беззащитней. Мгновение — другое она, словно собираясь с мыслями, молча потопталась около него, потом гневно сжала кулачки и решительно подалась обратно, к зданию школы.

Испуганно глядя ей вслед, он искренне недоумевал, что же ее так взволновало? Но вскоре, увязавшись однажды за матерью в магазин, он увидит там свою бывшую учительницу, сидящей у кассового аппарата. Именно тогда что-то беззвучно оборвется в нем, и он поспешит выскользнуть вон, чтобы не попадаться ей на глаза. Сынку, сынку, зачем ты предал меня!

Кто-то, кажется, Селин, мимоходом обронит однажды: «Предать — это всё равно, что открыть окно в тюрьме». Открыть — да. Но куда? В соседнюю камеру или в застенок собственной совести? В том-то и вопрос.

6

Под безоблачным небом трубил горн. Горн трубил звонко и призывно, и чистый звук его, объяв окрест, мелким серебром осыпался в рассветной дали. Лагерь мгновенно откликнулся на этот трубный зов перестуком дверей и окон, шле-

паньем множества ног, гулом пробудившегося ребячего роя. Наступал новый день первого в жизни Влада пионерского лета. За две недели, проведенные здесь, он незаметно для себя втянулся в размеренный ритм коллективного быта. Ему нравилось вскакивать по сигналу подъема, бежать наперегонки с другими к умывальнику и тянуться затем в струнку на лагерной линейке. Нравилось всюду ходить строем, гордо ощущая себя спорым винтиком хорошо отлаженного механизма, нравилось торжественное таинство костров, где в нем ликующе просыпалось светлое сознание круговой поруки, нравились военные игры, в которых он впервые познал хмельной вкус общей победы. Маленький барабанщик уже готов был вылупиться из него для самопожертвования.

Лагерная жизнь Влада омрачалась лишь неприязнью к нему отрядной пионервожатой. Та, казалось, не влюбила его с первого взгляда. Ей не пришлось в нем всё: и то, как он ходит, и то, как смотрит, и то, как ест и во что одет. Взгляд ее круглых, похожих на запыленные линзы, глаз настигал Влада всюду, куда бы он ни пытался от нее скрыться:

— Подойди ко мне, Самсонов. — При этом она неизменно брала его за пуговицу рубашки. — Кровать снова заправлена кое-как, внешний вид оставляет желать много лучшего, чем упорно снижаешь отрядные показатели. — Губы ее многозначительно поджимались. — Интересно, с какой целью?

Ее любимым занятием было проведение литературных викторин, стихотворные тексты которых составлялись ею самой. Участие в них считалось строго обязательным: мстительность пионервожатой соответствовала ее беспредельному авторскому самолюбию. Все свободное время в отряде ребята

ломали голову над интеллектуальными загадками своей предводительницы. Вдохновенная фантазия ее достигала временами высот прямо-таки головокружительных.

— У кого ума палата? — В поэтическом самозабвении она не знала границ. — Кто писал всегда для МХАТа?.. Набравший наибольшее количество баллов получает премию — тульский пряник за двенадцать копеек!

Этот пряник был ее главной придумкой. Она гордилась ею, словно научным открытием. Никакого пряника в природе просто не существовало, и каждый из них знал об этом, тем более, что соревнования повторялись чуть ли не ежедневно, а обещанная награда так и не дошла до победителя, но сила надежды всякий раз оказывалась упрямее логики, и маленькие интеллектуалы снова и снова бросались в битву за двенадцатикопеечное счастье: а вдруг сегодня им повезет!

Заваривалось жаркое сражение между сторонниками Чехова и Горького, завершившееся в конце концов торжествующим арбитражем великовозрастной затейницы:

— Чехов, дети, Антон Павлович Чехов! — Ее несло. — Пойдем дальше... Кто, пороки покарвав, и писатель был, и граф?.. Ну, дети, напрягитесь, здесь есть об чем призадуматься... Кто для правящего класса написал стихи про Власа?.. Ну, смелее!.. Кто громил сатрапов смело, но кого среда заела?.. Думайте, ребята. Здесь тоже есть об чем призадуматься, но и есть об чем посмеяться... Кто назло надменным барам был поэтом и гусаром?..

Тяжкое испытание это продолжалось часами, и, не выдержав пытки, он сбегал на реку, но она находила его там:

— Избегаешь здорового пионерского коллектива, Самсонов? — В голосе ее чувствовался непод-

дельный пафос. — Культивируешь в себе чуждый нам индивидуализм? В лес смотришь? От нас не скроешься, Самсонов, у нас пролетарское зрение...

В чем состоит оно, это самое пролетарское зрение, и как им пользоваться, пионервожатая не поясняла, но по металлическим интонациям в ее речи можно было без труда догадаться, что всякому, кто оказывается в его фокусе, не сдобровать. Многоликая действительность загоняла Влада в угол.

В довершение ко всему Влад влюбился, а влюбившись, как водится, потерял сон и покой. Сколько раз еще он будет терять их потом и обретать вновь, до следующей встречи! Скоропалительная влюбленность делается его бичом и проклятьем, источником великого множества бед и разочарований, причиной порядочного числа болезненных комплексов. Но в третьей части пути, в преддверии заката, когда страсти в его душе слегка поулягутся и прошлое возникнет в памяти свободным от преходящих сует, он с просветленной благодарностью вспомнит о каждой из них и всю вину по отдельности возьмет на себя. Он любил вас, жрицы, будьте бдительны!

Первый пыл Влада остался неразделенным. Предмет его — нечто, как ему помнится теперь, легкое и быстроглазое в голубой испанке на черноволосой коротко стриженной голове — отнесся к его молчаливому обожанию с великолепным пренебрежением. Он старался вовсю: стал ходить в самые разнообразные кружки, пытался проявить себя в самодеятельности, с позором провалившись однажды на общелагерном концерте в качестве плясуна-солиста, и даже, не умея плавать, в один прекрасный день бросился на ее глазах с невысокой вышки, но был вовремя выловлен старшекласниками и доставлен на берег. Юная красавица ос-

талась равнодушной и к этому акту самопожертвования. Смейся, паяц!

Но судьба готовила ему новый, еще более жестокий удар. Это случилось во время очередной военной игры. В стане «красных» Владу была отведена роль разведчика-наблюдателя за передвижением войск противника. Лёжа в ореховом кустарнике, он уже видел себя героем дня, которому суждено стать основным виновником будущей победы и которого вечером будут чествовать перед строем. Пускай она увидит тогда, кого посмела отвергнуть! Разумеется, она готова будет на коленях просить у него прощения, но он гордо пройдет мимо и даже не посмотрит в ее сторону. Умри, неверная!

Влад даже зажмурился в предвкушении столь радужной перспективы, а когда очнулся, не поверил своим глазам: на полянку перед ним вышла и направилась прямо к нему его богиня, его шамаханская царица, его повелительница в голубой испанке с «синей» повязкой на белоснежном рукаве. Она двигалась уверенно и быстро, словно и не сомневалась, что он уже сидит в кустах и ждет, готовый для нее на всё. Он не мог обмануть обольстительницу в ее ожиданиях. Он вышел ей навстречу, моментально забыв о предстоящем ему триумфе, и покорно склонил перед нею голову.

— Сдавайся, — сказала она. — Ты мой пленный.

— Нет, — вяло промямлил он. — Не сдамся.

— Тогда я убью тебя, — сказала она и потянулась к его повязке. — Понял?

— Ладно, — еще ниже склонился он. — Я понимаю.

— Иди. — Сорвав с него воинский знак, презрительно подтолкнула она его. — Ты убит.

Сказала и скрылась, исчезла, растаяла, как сон, как утренний туман...

Прощай, его первая и единственная, и не поминай покойного лихо! Еще не читая Гоголя, он уже предал ради женщины и не пожалел об этом. Да простит его верный рыцарь войны, непреклонный Тарас Бульба!

Оглохший и раздавленный брел он по лесу, безучастно вглядываясь в чащу перед собой, и жизнь его виделась ему в эти минуты никому не нужной и оттого бессмысленной. Опомнился он уже на берегу речки, где, чуть поодаль от лагеря, у него имелось потайное убежище: прибрежный сток недостроенного клозета. Он приходил сюда в трудные часы жизни и здесь, в сухой и заросшей снаружи можжевельником выемке отдавался горестным размышлениям над несовершенством бытия, глядя в небо через прорубленное вверху очко. Где оскорбленному есть чувству уголок?

И вновь он посетил тот уголок земли, и печальным демоном, духом изгнания взвился над бренностью и суетой действительности. Сладостные химеры уже приготовились вознести его в заоблачные высоты воображения, когда он услышал над собою звук выпускаемого кем-то воздуха. Звук был резкий и властный и свидетельствовал о решительных намерениях своего обладателя. Протрубили трубачи тревогу.

Влад живо встрепенулся и тут же похолодел от ужаса: сверху над отверстием очка нависал огромный прыщеватый зад, а между широко раздвинутых колен маячило лупоглазое лицо пионервожатой. Испуг его был настолько велик, что в произвольном желании хоть как-то оправдать свое

дезертирство с поля боя он поднял руку, застывая в пионерском салюте. Всегда готов!

Огромный зад над ним реял в высоком небе, словно белое знамя капитуляции.

7

Когда он впервые увидел тебя, дед Савелий, ему и в голову не пришло, что встреча с тобой станет для него той частью детства, о которой обычно сохраняют самые дорогие воспоминания. И вся его жизнь затем — лишь дорога к тебе с повинной, возвращение блудного внука под твой кров, путешествие Сокольниковского Савла в свой Узловский Дамаск. Он не дойдет, дед Савелий, он не дойдет, и это будет его расплатой...

Перед Владом сидел бритый наголо мосластый старик и внимательно, без тени улыбки, оглядывал его усталыми, цвета сухой чешуи, глазами навывкате. Заочно он знал деда, тот служил темой бесконечных в доме пересудов. Ему было доподлинно известно, что дед его — потомственный путеец, что в гражданскую короткое время занимал на транспорте большой пост и что последние два года провел в домзаке за служебную халатность. Воображение Влада из множества побочных сведений и собственных догадок сконструировало образ этакого жестоколицего комиссара в кожаной тулупе и в хромовых сапогах, нечто среднее между Максимом популярной трилогии и Фурмановым с общеизвестных портретов. Но за столом, тяжело ссутулившись, сидел обычный, ничем особо не примечательный старик, и порыжевший от времени и долгой носки путейский китель смотрелся на нем, как на крестовине пугала. Долго в цепях нас держали, долго нас голод томил.

— Вот он, сокровище мое. — Возвращаясь с кухни, мать грубовато взъерошила Владу волосы. — Явился — не запыхался.

Мать явно заискивала перед гостем. Тот, как догадывался Влад, время от времени помогал ей деньгами, хотя и считался среди родни скуповатым. Поэтому сейчас она старалась вовсю, угождала старику как могла, предупреждая всякое его слово и желание. Ах, мама, мама, Федосья Савельевна, ты неисправима!

— Как учишься? — Дед, наконец, разомкнул бескровные губы. — Неудов много?

— Почти отличник, — поспешила мать Влада на выручку. — Бедокурит только.

— В отца. — Дед слегка оживился, привлекая внука к себе. — Лёшка тоже драчун.

С его стороны это было сказано неосторожно. Напоминание об отце, ее муже, всякий раз выводило мать из равновесия. Она искренне считала, что тот, получив срок, обманул, предал ее, навсегда закрыл для нее доступ в предназначенные ей судьбой высшие сферы. Все ее задавленные повседневностью комплексы, словно стая растревоженных духов, сразу вырвались наружу:

— Вот, вот! — запричитала, зашлась она. — Тот во всё нос совал, и этот туда же. Одному носила-носила, скоро другому нести. Оставил меня с двумя, а самого ищи-свищи. — В своем негодовании мать не знала границ. Можно было подумать, что муж ее не отбывает срок в бухте Нагаево, а скрывается где-то на фешенебельных пляжах Ривьеры. — Сам посуди...

— Ну будет, будет, — со снисходительной суровостью укротил ее дед, — ребенок здесь.

Влад и сам не заметил, как тихо прикорнул на плече у деда, и это его первое со стариком доверительное соседство окончательно сблизило их.

Свободной рукой дед бережно гладил внука по голове, ворчливо поддразнивая:

— Поедешь с дедом в Узловую?

— Ага, — сквозь дрёму расцветал Влад, — поеду.

— А коли не возьму?

— Возьмешь...

— Ишь ты, какой бойкой, слова сказать нельзя.

— Скоро поедем?

— Скоро...

— Когда?..

— Доучишься и поедем.

— Ага...

— Ну спи, спи...

Как были упоительно легки эти дни, оставшиеся до летних каникул! Едва дождавшись звонка с уроков, Влад сломя голову устремлялся домой, с лихорадочной скоростью приканчивал обед и, наспех расправившись с домашним заданием, требовательно подступал к деду:

— Пойдем?

Дед безропотно откладывал газету в сторону, облачался в свой неизменный китель, и они отправлялись в Сокольники. Вроде и не было в этих их прогулках ничего особенно яркого или памятного, но как часто, как испепеляюще отчетливо будут сниться ему они в жестокой колыбели его грядущей жизни! Майский лес гостеприимно расступался перед ними, открывая впереди синюю даль Подмосковья. Шагая рядом с дедом, Влад доверчивой щекой приникал к его рукаву:

— А в Узловой лес есть?

— Найдем...

— А речка?

— Будет.

— А ехать долго?

- Утром сядем, вечером там.
- А Нинку возьмем?
- А ты как считаешь?
- Хорошо бы...
- Значит, возьмем.
- Ага...

Твои черты почти стерлись в его сознании, Нинка, Нина, Нина Алексеевна, но память всё же сохранила для него кое-что от тебя: взгляд, поворот головы, легкую тень улыбки. Из них-то он и воссоздаст и затвердит в себе твой облик, твою давно бесплотную сущность. Уму непостижимо, каким ветром занесло тебя в их семью, за что, за какие заслуги сподобил Господь это сборище самодушья и взаимной зависти твоим явлением? Русоголовым ангелом царила ты среди коммунального воя, и одно твое присутствие умирало, удерживало окружающий мир от окончательного сумасшествия. Когда он это осознает, будет уже поздно, могильный холм над тобой сойдет на нет, сметенный с лица земли ветром и забвением. Племя, не помнящее родства, отрекается от своих могил. Не суди его строго, Нина свет Алексеевна, оно не ведает, что творит!..

В день отъезда в доме властвовала приподнятая суматоха. Мать, против обыкновения ласковая и оживленная, обряжая сына, беззлобно поучала его:

— Слушай там дедушку, помогай ему по дому, он у нас больной совсем, его жалеть надо. Ты здесь привык на голове ходить, всё тебе нипочем — ни мать, ни тетку не признаешь, начнешь и там куролесить, чтоб тогда дедушка о тебе подумает?

Тетка, целиком занятая Нинкой, тихонько посмеивалась, хлопоча вокруг своей любимицы:

— Вот мы Ниночку соберем, соберем, вот мы ее обошьем, обошьем... Тут не жмёт?

— Нет.

— А тут?

— Чуть-чуть.

— А так?

— Так — нет.

И тоже смеялась тихо и благодарно...

Дед лишь покряхтывал, неодобрительно следя за всеобщей колготней: старик не терпел суеты и осуждал ее...

Когда сопровождаемые напутствиями они вышли из ворот, Влад обернулся и, впервые увидев свой дом как бы со стороны, подивился его сиротской убогости: две придвинутые друг к другу коробки, одна каменная — повыше, другая — деревянная, в чахлом обрамлении корявых тополей. Но что-то в нем, в его скудном обличье сквозило такое, от чего еще неоперившаяся душа Влада сладко замерла, взмывая к самому горлу. Не нужен мне берег турецкий и Африка мне не нужна.

Это был первый путь Влада от родного порога, знать бы ему тогда, сколько их у него впереди!

8

Узловая! Небольшой пристанционный городок с вокзалом, элеватором и пекарней возле самой линии. Пыльные акации, свисающие из-за глухих заборов. Тихий пруд, подернутый по краям зеленой ряской. Немощенные улицы с ленточкой повилики вдоль сухих кюветов. Куриные базары вокруг колодцев. Сонные кошки на завалинках. Коробки казенных зданий в тусклых заплатах вчерашних лозунгов. Идеальная заставка для русских провинциальных романов тех лет. Трогатель-

ная копия великого множества отечественных захолуствий. Едва заметное пятнышко на чутком лице памяти.

Но отчего же так болезненно сладко, так обморочно щемит у Влада сердце при одном только звуке, простом упоминании об этом заштатном, обойденном молвою городишке? Какая сила заставляет его вздрагивать и, вибрируя, волноваться всякий раз, когда ему где-нибудь случайно доводится услышать слово «Узловая»? Что в имени ему твоем? Видно, душа людская всегда тоскует и плачет о том пепелище, на которое ей нет возврата. Словно мираж, фата-моргана, сон наяву, будет маячить перед ним образ отчего захолустья, и он обречет себя идти туда, вдогонку этому зыбкому видению, падать и подниматься вновь, жаждущими губами шепча проклятия и молитвы, но так и не дойдет, устанет, выдохнется на полпути и закроет глаза. Любимый город может спать спокойно.

Дед жил на самой окраине городка, там, где каждая улочка и дорожка вытекали прямо в примыкающее к ней поле. В безлесом, открытом всем ветрам просторе курились дымки окрестных деревень. Остов обезглавленной церкви пленным фламаном плыл среди этой невозмутимой глади, и гулкий куб местной крупорушки на отлете сопровождал его в этом печальном плаванье. Острая пирамидка террикона у горизонта одиноко голубела им вслед. Боже мой, как ему избыть, вытравить это из себя? Ничто, ничто не забывается!

Дом деда — кирпичный, тронутый мохом пятнистеник под железом — ничем не выделялся из унылого ряда себе подобных, вытянувшихся по ранжиру в две линейки от базарной площади до околицы. Одну половину дед делил со своим старшим сыном Митяем, другую занимал его брат Ти-

хон с многочисленной порослью детей и внуков. Вплотную к дому примыкал сад, разгороженный надвое, с хозяйственными сараюшками при входе. Братья жили в равнодушном отчуждении друг от друга. Тихон, всю жизнь служивший проводником на курьерских, но так и не выслуживший повышения, относился к брату с беззлой насмешливостью, усвоенной еще с их детства. Он считал Савелия немного тронутым и к его увлечению политикой снисходил как к очередной, но затянувшейся блажи. Тот отвечал ему взаимностью, считая брата балластом пролетариата, досадной издержкой революции, пустой породой классовой борьбы. Но семейный мир в доме не терял от этого своего равновесия.

По случаю приезда московских племянников в гости к деду съехалась почти поголовно вся родня. Первым, на щегольской служебной пролетке, нагрянул из близлежащего Сталиногорска его зять — дядя Федя, ведавший там на одной из шахт кадрами.

— Вот они какие, племяши мой! — Радушное сияние его золотых зубов словно раздвинуло тесную комнату, наполнило скудную ее суть уверенностью, здоровьем, довольством. — Ну и тощи же вы, племяннички, как из голодного края. — Это была шпилька по адресу их матери, которую он втайне недолюбливал за ее столичную гордыню. — Откормим, откормим, у нас корочек не считают...

Эх, дядя Федя, дядя Федя, номенклатурный ванька-встанька сороковых годов! Опустошающей чумой пронесешься ты по доброму десятку служебных кабинетов, оставляя после себя порожние кассы и бутылки, незаконнорожденных детей и разоренные хозяйства, обманутых ревизоров и раскаявшихся поделщиков, прежде чем после немно-

голетней отсидки за очередную растрату мирно осядешь персональным пенсионером в личной усадёбке, под застрахованной кровлей. Век про-бавляясь казенным добром, где ж тебе было счита-ть корочки. Сарынь на кичку! Грабь награб-ленное!

Его жена — тетя Люба, женщина, как гово-рят, поперёк себя шире, с непропорционально ма-ленькой простоволосой головой — при виде пле-мянников только язвительно фыркнула:

— Не идет, видно, впрок столничная питания, ишь, на кого похожи, кости да кожа.

Она доживет до глубокой старости, эта тетя, и нарожает кучу детей, из которых выживут лишь три дочери, такие же пышные и плодовиые. Вой-на, смерть взрослого сына, служебные экзерсисы мужа просвищут над ней, не затронув ни одного мускула в ее невозмутимой монументальности. От-личаясь, как и все Михеевы, мнительной амбици-озностью, но так и не достигнув запланированных в молодости высот, она в конце концов утешится несчастьями своих родственников. Чем хуже, тем лучше, и гори всё синим пламенем!

Соседствовавший с дедом старший сын его Митяй явился под заметным хмельком и уже с порога озорно сцепился с шурином:

— А, и начальства здесь, наше вам с кисточ-кой! — Он походя мазнул по головам племянников и зачастил, заерничал среди комнаты, потряхивая жёсткими кудрями. — Что ж это вы, товарищи дорогие, ведёта нашего брата, ведёта, никак до ума не доведёта, опять в магазине пусто, дажесть сит-ного нету.

— Много трескаете, — не остался в долгу тот и, радушно ослабившись, пошел ему навстречу. — Дорвались до дешевого хлеба и хапаете почем зря, не наготовишьсь. А до ума мы вас, Митёк,

доведем, не пойдете — силой дотащим, для вашей же пользы.

— Да ну!

— Как пить дать.

— Ой ли!

— Будь спок.

— Страшно, аж в портках мокрó.

— Испугаешься...

Под их шутливую перебранку в дом вошла и, прислонясь к косяку, встала у порога рослая, не по-михеевски большеглазая женщина в накинутом на плечи ситцевом платке: большая пестрая птица со сложенными в изнеможении крыльями. Вошла и беззвучно заплакала, горестно излучаясь в сторону ребят. В ту молчаливую минуту бездетное сердце ее выберет и отметит любовью, увы, не Влада, а его сестренку, но это не мешает ему затем привязаться к тетке и сохранить свою привязанность до седых волос. Я сказал, Александра Савельевна!

Где-то на уровне ее плеча, в тени сеней нетерпеливо подергивалось аляповатое лицо ее мужа и тезки с обшарпанной трехрядкой под мышкой:

— Руки мерзнут, ноги зябнут, не пора ли нам дерябнуть... Чего растабаривать, за стол пора...

Так и пройдешь ты по жизни, дядя Саша, от гулянки к гулянке со своей гармошкой вплоть до той глухой зимней ночи, когда похмельная тоска толкнет тебя под колеса маневрового паровоза. Путьейцы умирают на рельсах.

В разгар застолья появился и младший сын деда Михаил со своей молодой женой-учительницей. Молодожены являли собой пару более чем странную. Он — в красноармейской форме третьего срока, с вечной улыбкой на оглуленном глухотой лице. Она — идеальное олицетворение «синего чулка» местного производства: нечто сухое

и бесцветное в плотной упаковке суконного костюма. Эти двое были если уже и не лед и пламень, то, во всяком случае, воск и камень.

Туговатый на ухо гость с места в карьер вклинился в общий разговор:

— Помню, в Бессарабии нам вино подавали, как воду, прямо в кувшинах, пей — не хочу. Кувшина два махнешь, мамалыгой закусишь и хоть бы что, такой коленкор. Помню, сам маршал Тимошенко...

Он горделиво огляделся, но тут же по выражению лиц определил, что сморозил что-то невпопад, затравленно умолк и опустил глаза в поставленную перед ним тарелку. Жена его при этом лишь презрительно фыркнула, поведя вокруг рыбьим взглядом.

— А чего, чего, — ерничая, вновь зачастил дядя Саша. — Мишка у нас голова. Воитель-свободитель. Ему без этой Бессарабии полный зарез. Трудящему классу подал руку помощи. Его, Мишку, хлебом не корми, дай только за правду постоять. С им, Мишкой, угнетенный народ не пропадет, Мишка его завсегда выручит. — И не выдержал, опять-таки кольнул шурина. — С Федьком напару. Федёк настрополит на кого надо, а Мишка спасет.

Но того оказалось не так-то легко пронять. Ушлому епифанскому мужичку Федору Гришину было в высшей степени наплевать и на Бессарабию, и на угнетенный класс, и на правду. В них — этих понятиях — он нуждался постольку, поскольку они облегчали ему вольготное и праздное существование под их развесистой сенью. Он лишь подзадоривающе ухмылялся, слушая свояка, да нажимал на закуску.

Михаил в поисках поддержки жалобно посмотрел в сторону отца, и тот с готовностью уже было

напрягся для ответа, но в это мгновение дядя Саша, видно, оценив чреватое ссорой положение, растянул потрепанные меха:

— Давай, Федёк, затягивай...

Тенорок у дяди Феди был несильный, но чистый. Начал он, как бы примериваясь, едва-едва, но постепенно голос его набрал силу и вскоре вышел в ровный невысокий полет. Родня нестройным хором подтянула ему, и грянула песня о том, чего бы только ни отдал он за ласки-взоры той, которая б владела им одна. Сколько золотых казенных гор прогуляет впоследствии дядя Федя и выпьет если не реки, то порядочные-таки ручьи вина, так и не отдав их за роковую любовь и оставшись верным своей слоноподобной Любе. Но тем не менее, дотягивая песню, он плакал горячими слезами, искренне жалея себя и свои загубленные порывы. О, этот нас возвышающий обман!

Дядька сразу пришелся Владу по душе. Слушая дядьку, Влад уже видел себя взрослым, похожим на него: таким же веселым и удачливым, таким же простым и снисходительным, с полным ртом золотых зубов. Так же несильно, но чисто он будет петь про золотые горы и так же плакать, не забывая, впрочем, о закуске. Спешите жить, юноша!

Но в случайном песенном единении дед не забыл начатого разговора, не упустил скользкой его сути. Едва успели разлить по новой, как он, отставив рюмку, поспешил напомнить о себе:

— Ты, Митёк, известно, без царя в голове, молотишь, что ни попадя, а вот чего зятек щерится, не пойму. Скажи свое слово по затронутому вопросу, или тебе партбилет для украшения даден?

Наступившее вслед за этим молчание было полным и тяжелым. Зять, к которому дед обращался, всеми силами старался сделать вид, что

вопрос его не касается: он лишь беспечно посапывал, уткнувшись в тарелку. Михаил растерянно озирался по сторонам тупо вопрошающими глазами. Непоседливая фигурка Митяя сконфуженно ступевалась. Замочная кнопка упрямо выскальзывала из-под рук дяди Саши: гармошка жалобно стенала и попискивала. Тетки, зная крутой нрав отца, затихли. Первой не выдержала Александра и выразительно повела укоряющим взглядом в сторону ребяташек:

— Папаня...

В ответ тот лишь крикнул с досады и, норовисто поведя мослатым плечом, поднялся:

— Ладно, пойду охолону...

Стоило ему выйти, как все заговорили разом:

— Дает папаня!

— Всё чудачит.

— Чтó здесь — собрания, что ли!

— Когда только ладом посидим?

— Старый он, уважать надо...

— Вот и уважай...

— Почесали языком и будя.

— Еще по одной, что ли?

Воспользовавшись общим гвалтом, Влад вслед за дедом выскользнул на воздух. Майские сумерки текли сквозь белую кипень окрестных садов. С крохотного озерца напротив доносилась звучная переключка лягушек. Монотонный гул крупорушки за околицей изредка прерывался коровьим мычанием и гудками паровозов. Под окнами на лавочке, затененной сиренью, глухо печаловались два увядающих голоса, один из которых принадлежал деду:

— Вот вырастишь их, а они...

— Такая жись, Савва, такая жись.

— Могли бы и уважить.

- Чего хотел!
- Дожили.
- У них свой интерес, Савва.
- Знаю я их интерес, Тихон, поспать да по-жрать, вот и весь ихний интерес.
- Интерес законный.
- И ты тоже!
- Мы люди простые, Савва, нам до ваших партийных заковык дела мало.
- Эх ты!
- Какой есть...

Как мучительно отчетливы, как неистребимы в нем до сих пор и этот вечер, и этот яблоневый дым над крышами, и эта сирень, и этот нескончаемо долгий разговор под окном!

9

К концу лета над Узловой зарядили дожди. Низкие, не по-летнему грузные тучи, скользя по крышам, осыпались на землю тяжелой изморосью. Окрестные поля заволкло сизым, напоенным водой туманом. Мир вокруг взбухал и растекался на глазах зыбкой пронизывающей сыростью. Всё живое ушло, забилося под кровлю в ожидании лучших времен, и только отчаянные стрижи изредка рассекали волглую высь, хлопоча о дневном пропитании. Жизнь едва теплилась в городе, придавленная к земле долгою непогодой.

Влад целыми днями отсиживался на лежанке, проглатывая книжку за книжкой и чутко прислушиваясь к шагам за окном: возвращение деда из поездок хоть как-то скрашивало унылое однообразие наступившего ненастья. Тот никогда не приезжал с пустыми руками. В его кондукторской сумке

неизменно оказывался гостинец для внука: леденец, пряник, маковая баранка. По возрасту дед уже давно мог уйти на пенсию, но никак не решался, боясь домашней скуки и одиночества. Ревнуя деда к работе, Влад всё же терпеливо переносил его служебные отлучки и даже слегка потворствовал старику в этой его слабости, заводя с ним бесконечные разговоры о дорожных делах. Ожидание Владу облегчали книги и дядька Митяй, живший с семьей за перегородкой.

— Владька! — просыпаясь, стучал он кулаком в стену. — Хватит дрыхнуть, социализму строить пора. Беги в сортир, неси на поля удобрению, да будем лопать. Нынче мурцовка перьвый сорт, отборные аржаные сухари с шишем и постным маслом, пролетарская завоевания Октября, а опосля натуральный морковный чай со спасибой вприкуску, славный подарок партии и правительства трудовому народу...

В этом он был неиссякаем. Веселая злость его, словно свежая щёлочь, мгновенно разъедала призрачную устойчивость действительности, обнажая ее грубые швы и прорехи. Казавшиеся незыблемыми истины вдруг становились смешными, звонкие слова голо мельчали, от высоких заклинаний за версту несло ветхостью и фальшью. Дядька Митяй как бы вытлевал изнутри какой-то жгучей и затаенной болью, которая, стоило ему хорошенько выпить, буйно выплескивалась наружу:

— Владька, где там твой старьй хрыч, — начинал тогда витийствовать он, — подай мне его сюда печеного или жареного! Нету, говоришь? Пошел комиссар мировую революцию делать на пригородном али курьерском? Мать его в железку, одной ногой в гробу, а всё мозги набекрень. Расплодилось их, емель стебанутьх, на нашу рабочую голову, куда только от них деваться? Заели жись,

паразиты, дышать от ихней трепотни нечем. Придет время, обломаем мы вам рога, отросли больно...

Но не переживет своего отца Митяй. И года не пройдет, как сложит он свою кудрявую голову в окружении под Смоленском, и первая же внешняя вода смое с земли даже самую память о нем. Мне отмщение и аз воздам...

Время от времени по долгу родства заглядывал дед Тихон. Входил, степенно усаживался на скамейку около двери, вынимал кисет с нюхательным табаком и, вытянув оттуда щепоть, смачно втягивал зелье поочередно в обе ноздри. Прочихавшись, спрашивал:

— Всё читаешь? — Ответа он не ожидал. — Ну, ну, может, как дед Савелий, до больших чинов дойдешь. Только ведь, малый, падать оттедова, с верхотуры, большее. Вон дед твой по сих пор не опомнится. Потихоньку перебиваться — оно для жизни сподручнее. А в книжках этих каждый про свое брешет, поди разберись, где правда? Без книжек, своим умом дойти — самое дело... Лопать хошь?

— Не... Деду подожду.

— Ну, ну, а то бабка моя кулешу доброго наварила, ешь — не хочу. — Он грузно поднимался, поворачиваясь к выходу. — Коли надумаешь, прибегай, голод не тетка...

Дед Тихон уходил, тяжело волоча больные ноги. Немало этапных дорожек через несколько лет придется прошлепать ему этими ногами, отбывая срок за свою вынужденную службу на должности уличного старосты в год оккупации, но судьба окажется милостива к нему: он вернется и доживет до глубокой древности в собственном доме, среди своего многочисленного потомства. Неисповедимы пути твои, Господи!

Всего за несколько дней до отъезда домой, в один из пасмурных вечеров, на грани яви и сна Влада привели в себя возбужденные голоса в сенях:

- Под ноги, под ноги подхватывай...
- Заноси сюда...
- Потише!
- Мальчонка спит, что ли!
- Вроде спит...
- Заноси...

Дух Влада сразу как бы отлетел от тела, и, отрешенно витая где-то среди комнатных сумерек, он впервые увидел себя со стороны: темный комок страха на белом полотнище печи. Боже, спаси его грешную душу от такого испытания!

Пока деда вносили, пока, раздевая, укладывали в кровать, Влад, забившись в угол лежанки, медленно умирал, распадался в ожидании чего-то губельно непоправимого. «Не могу, не могу, не могу! — выло всё в нем. — Не хочу, не хочу, не хочу!»

Прибежал дядька и сразу же захлопотал, затараторил, раскудахтался по-петушиному:

— Ай да папаня, ай да хват! Вот это по-нашенски, по-людски. Нахлебался до потери классового сознания, не подвел фамилии, поддержал марку. Ничего, ничего, Владька, пьяный проспится, дурак — никогда. А дед у нас — голова, до всего сам дошел, с излишком, правда, но зато сам. Поначалу только подмогнули, а потом всё сам, сам. — Восхищение и восторг прямо-таки распирали его. — Ну, папанька, век не забуду, до чего удружил, ты у меня теперь за человека пойдешь, оченно ты меня уважил, перед людьми не стыдно, а то ить прохода не дают, комиссар да комиссар...

Только тут до Влада дошло, что дед просто-напросто мертвецки пьян, и это несколько опаматовало его. Пьяным деда Владу еще видеть не при-

ходило, такое было ему в диковинку, но самое страшное было позади: случай оказался не смертельным. Всё хорошо, что хорошо кончается. Нам не страшен серый волк.

После короткого забытья старик принялся бредить, и в его бессвязном бормотании постепенно выстраивалась логическая цепь происшедшего:

— Молокососы!.. Я на этой дороге смазчиком начинал, я на ней каждую шпалу руками прощупал, жизни не жалел, а теперь стал не нужен? На свалку Савелия Михеева, в тупик... Не надобны мне твои часы на память, возьми их себе на память, у меня свои есть, сто лет без завода ходят... Эх ты, я тебя вот с таких лет знаю, сколько я тебе соплей утер, а ты меня в утиль? Меня вся дорога знает...

Влад ликовал: ох уж эта дорога! Влад относился к ней, словно к живому существу — глубоко и страстно ревновал к ней деда, считая ее единственной виновницей их хоть и кратковременных, но мучительных разлук. Она отбирала у него часть того, на что имел право только он и больше никто в мире. Наконец-то ей пришлось уступить!

Отныне дед безраздельно принадлежал ему — Владу. На этой земле стоило жить.

10

После пыльного приземистого захолустья Москва показалась Владу особенно нарядной. Желтая, с коричневыми подпалинами листва, кружа в упругом и словно подсинённом воздухе, шуршащим кружевом стелилась по тротуарам и мостовым. Глазастые трамваи сновали перекрестками, рассыпая вокруг себя резкий и долгий звук. От дворницких блях на белых фартуках исходило ли-

кующее сияние. Копытный стук гнедых битюгов оглашал Митьковку, и сизые турманы вились над остывающими крышами. Присыпанный палой листвой двор был залит ровным, цвета яичного желтка, солнцем. Чистая высь обещала крепкую и устойчивую осень.

Мать встретила их как обычно, в своем репертуаре, чуть смягченном сравнительно долгой разлукой:

— Приехали, голубушки-соколики! — Она вертела их, поочередно оглядывая со всех сторон. — Снова, мать, впрягайся в свою каторгу, детушки явились, поправились немножко, молодцы. Ну конечно, шея, как у трубочиста, вы там с дедом и не мылись совсем, видно. Ох, горе ты мое луковое...

Тетка, принимаясь за его сестренку, не скрывала своей радости, тихо мурлыкала над ней:

— Приехала, мое золотце, приехала, моя помощница, а здесь тетка совсем замоталась, без тебя, как без рук. А соскучилась так, что и сказать нельзя. Не забыла тетку?..

Ради такого дня в доме не поскупились на угощенья. На столе, рядом с его любимой пастилой, возвышалась горка белого ранета, увенчанного двумя увесистыми гроздьями винограда. Обед оказался под стать заготовленному десерту: отдельно для него и для сестры суп-лапша (дань ее вкусу) и суп гороховый (вынужденная подачка ему) предшествовали полноценным домашним котлетам с жареной картошкой. Натуральный компот из сухофруктов завершал эту обеденную оргию.

После застольного священнодействия разомлевшая от еды и собственной снисходительности мать милостиво разрешила детям показаться во дворе:

— Только чтобы без крика...

Дворовый быт не сбивался с раз и навсегда взятого ритма. Открытые настежь окна источались в небо кухонным чадом и руганью. Полоскались на ветру разноцветные флаги семейных постирушек. Конный двор по соседству благоухал всеми извозными запахами. Откуда-то сверху, судя по громкости из квартиры веселого клана Купцовых, низвергался патефонный водопад: «Прощай, мой табор, пою в последний раз!» Хочешь — не хочешь, всё возвращается на стези своя.

Старуха Дурова, выбивая в палисаднике дряхлый ковер, встретила Влада беззлобной сварливостью:

— Здравствуйте, здравствуйте, Владимир Алексеевич, давненько вас не видно было, ужасно соскучились. Особенно ваш друг Леонид Владимирович.

В окне, как в портретной раме, тут же выявился и сам Лёля: с улыбочивым мальчишкой на руках.

— Скажите пожалуйста... Вот, прошу любить и жаловать, мой племянник — Борис Валентинович, твой будущий оруженосец. Заходи, есть новости...

Вот так, Боря, он впервые встретился с тобой в самом начале осени одна тысяча девятьсот сорокового года, на пороге памятных событий и больших перемен. После многих лет и разных дорог хитрым узлом завяжутся в конце концов ваши судьбы, и одному Богу известно, кто и когда развяжет его. Поживем — увидим, поживем — увидим...

У ворот Влад столкнулся со старшей Хлебниковой — Марией Юрьевой, с третьего этажа. Близоруко, в предвестии будущей слепоты, она скользнула по нему и, узнав, посетовала:

— Что же ты не заходишь, Владик? Я подобрала тебе несколько очень интересных книжек.

О, эти хлебниковские книги в двух старинных шкафах угловой, выходящей окнами в домовый тупик комнаты! Оттуда он черпал те самые знания, которые умножают печали, там обалдевал от имен и дат, положений и ситуаций, климатов и широт, впервые пристрастясь к сладкому зелью праздного вымысла. Великое множество чужих снов прошло сквозь него и осело в нем, тревожно будоража воображение. С гудящей от них головой ходил он по земле, и пепел Клааса стучал в его сердце. Хлебниковы питали к Владу слабость солидарности: глава их фамилии разделил участь многих, чуть ли не в один день с его отцом, но сгинул, судя по всему, «без права переписки». Вдова с двумя детьми — Лерой, или как еще ее звали Лерусей, и Славкой, немного старше Влада возрастом, — перебивалась случайными уроками и помощью многочисленных родственников. Теперь-то он знает, что женщина переживет своего сына и в полной слепоте закончит дни рядом с незамужней дочерью в той же угловой комнате с окнами в домовый тупик; но тогда, в тот день, на пороге той осени ему и в голову не придет подумать об этом. Да хранит вас Бог, Мария Юрьевна!

День этот в его прошлом стоит особняком, отчетливо выделившись из бесчисленной вереницы таких же предосенних дней — будничных и ничем не примечательных. Влад помнит даже расцветку мячика, которым они с сестрой играли тогда: синяя и зеленая половинки, разделенные красной и желтой полосками, — прощальный подарок съехавших весной жильцов из деревянного флигеля. Это была их последняя игра вместе.

Наутро сестра не поднялась. То, что сначала еще могло показаться очередным флюсом, легкой опиской здорового организма, случайным недомо-

ганием после каникул, к вечеру налилось синюшной багровостью и жаром. Тусклый старичок — сивая эспаньолка на тощем лице — вяло поклевая большую стетоскопом, определил рожистое воспаление и прописал микстуру, а уже через сутки ее увезли в Боткинскую больницу с диагнозом «заражение крови». Мать впоследствии частенько поминала злополучного доктора недобрým словом, но кто знает, в чем, в каком промысле она являет себя — милость Божья? Слишком уж многое нам предстояло вскоре, слишком многое, а сколько еще предстоит!

Дом опустел. Мать пропадала в больнице, а тетка, возвращаясь с работы домой, пластом валилась на диван и до следующего утра не подавала признаков жизни. Влад всё это время существовал сам по себе, вне круга их видимости и сознания. Наверное, именно тогда, в те дни он с оглушающей ясностью ощутил свое одиночество в окружающем его мире и смутно прозрел смертный рок своего с ним — этим миром — единоборства. Помогите ему, Господи, не пасть духом и не ожесточиться!

К концу недели, бесцельно слоняясь во дворе, Влад внезапно увидел перед собою мать. Отрешенная, без кровинки в осунувшемся лице она сомнамбулически надвигалась на него, глухо и страстно шепча:

— Почему не ты?.. Почему не ты?.. Почему не ты, а она?.. Зачем ты живешь?.. Зачем?

В горе ее чувствовалась неподдельность, и она была искренна. Наверное, впервые в жизни.

11

— Знаешь, — говорил ему Лёля, зябко кутаясь в наброшенное на плечи байковое одеяло, — наверное, земля — это лишь станция нашей пере-

садки. Нам еще лететь и лететь, пока мы доберемся до места. Каждая остановка для нас — это новая жизнь в новой оболочке. Здесь, к примеру, ты человек, а на другой планете станешь растением или даже камнем. Наша смерть — это лишь прощание с очередной остановкой, не более того. Так сказать, прощание из ниоткуда. Жаль только, что теперь нам достался такой неуютный зал ожидания. Будем надеяться, что в следующий раз нам повезет. Как ты думаешь?

Чуткая, подернутая звездной туманностью ночь вокруг них шелестела палой листвой, обещая к утру крепкий заморозок. Редкие фонари вдоль улицы отбрасывали в темноту робкий голубоватый свет. Пахло угольным перегаром, сухой прелью, пыльной залежью остывающего подполья.

— А где же конец пути? — допытывался Влад, холодея от сладкой жути открывшейся перспективы. — Ты знаешь, Лёля?

— Конца нет, — печально откликнулся тот и еще плотнее зарылся в одеяло. — Нет и не будет.

— Как это — нет?

— А вот так.

— У всего есть конец. — Влад упрямо мотнул головой, его не устраивало такое будущее. — И начало, и конец.

— Ты мал и глуп, — брезгливо констатировал Лёля. — Живешь в своем жалком трехмерном мире и рад. Но есть еще, к счастью, четвертое измерение, которое тебе не дано постичь.

— А что это — четвертое измерение?

— Бог. — Слово слетело с его губ почти беззвучно и медленно скатилось в ночь. — Но это не для тебя.

Влад прощал другу его колкости. Тот только что пережил свою очередную сердечную драму и всё еще не пришел в себя. Чего не стерпишь от

потерпевшего крах влюбленного, и Влад терпел, великодушно снисходя к неудачнику. Владу было уже известно, что эта штука посильнее, чем Фауст у Гёте, она побеждает смерть...

Из крошечной тьмы парадного выявился расплывчатый силуэт старухи Дуровой:

— Полунощичаете, мальчики? — Она любовно провела ладонью по плечу сына. — Тебе не холодно?

— Мальчики говорят о Боге, мать, — поморщился тот. — Не мешай, пожалуйста.

Обиженно вздохнув, та покорно канула во тьме, снова оставив их наедине с ночью. Слово любого из ее отпрысков было для нее законом. Она давно замкнула свои интересы кругом их чайных и забот. Иной жизни у нее не существовало. Судьба обошлась с ней неласково: сыновья ее, один — спортивный журналист, другой — актер, оказались неудачниками, невестка почти безвылазно обитала в желтом доме, внуки росли пугливыми и болезненными, но наперекор обстоятельствам, словно ломовая лошадь, она тянула этот воз боли и крика, пренебрегая пересудами и с гордо поднятой головой. Гремучая смесь воинов и циркачей текла в ее неоскудевающих жилах. До новой встречи, Наталья Николаевна!

— А что это — Бог? — Влада было трудно обескуражить, упрямство деда передалось ему по наследству. — Бог — человек или нет?

— Ты задаешь вопросы, Самсонов, это может повредить тебе в жизни. В наше время любопытство — уголовно наказуемое качество, остерегайся излишнего знания, Самсонов.

— Ты не ответил, Лёля.

— Откуда в тебе это упрямство, Самсонов?

— Я хочу знать, что это — Бог.

— Ты плохо кончишь, Самсонов.

— Лёля!

— Хорошо, хорошо! — Тот, словно защищаясь, поднял ладони перед собой. — Только потом не кляни меня, ты вступаешь на опасный путь. Как говорится, ты этого хотел, Жорж Данден!

— Ну?

— Бог это любовь.

— А еще?

— Бог это свобода.

— Какая свобода?

— Свобода — любить.

— Кого?

— Бога, а, значит, всё и всех.

— И фашистов?

— Бог не знает, что это такое, Он знает только людей, и они для него равны.

— А сам Он — человек?

— На сегодня и этого для тебя слишком много, — устало огрызнулся тот. — Тебе есть над чем подумать, а поэтому помолчи...

Он затих, втягивая, словно улитка в раковину, голову в одеяло. Не знаю, Лёля, Леонид Владимирович, пошел бы ему этот разговор впрок, если бы не твои пайковые обеды в актерской столовой в саду «Эрмитаж» в голодном сорок втором году, которые ты по-братски делил с ним пополам... Наверное, они — эти обеды — и стали его первым причащением к Святым Дарам. Ему еще тянуться и тянуться к своей Вере, еще искать и искать ее, но хлеб, однажды съеденный на двоих, уже не забудется никогда...

Тьма в конце улицы неожиданно раздвинулась, яркий свет автомобильных фар вместе с гулом мотора ринулся к ним, высвечивая впереди себя покосившиеся заборы с темнеющими коробка-

ми домов за ними, корявую вязь облетевших деревьев, серый, в матовом налете булыжник мостовой. Вскоре у подъезда почти бесшумно притормозила черная «Эмка»: жилец со второго этажа, шофер наркома Целиковский вернулся со своей хлопотной работы. За несколько лет службы он проводил в неизвестность пятерых хозяев и теперь готовился распрощаться с шестым. Высокий, поджарый, всегда щегольски одетый и уверенный в себе, он считался во дворе завидным семьянином и добытчиком.

— Привет, мужики! — Стройная фигура его резко очертилась перед ними, раскрытая коробка «Казбека» подплыла к Лёле. — Закуривай, сосед.

— Ты же знаешь, я не курю.

— Ну, ну, а то не свои ведь — дарёные.

— Спасибо.

— Не на чем... Пока, мужики.

Он скрылся в подъезде, и лишь легкий шаг удачливого шофера отметил его путь наверх...

Как Влад завидовал тогда этому соседу! Вот бы ему вырасти и устроиться шофером к наркому, и приезжать домой на черной «Эмке», и угощать соседей «Казбеком», и ощущать себя ловким, уверенным, красивым! Если бы он мог предвидеть в те поры, что предмет его зависти закончит свои дни чуть ли не у него на руках чахоточным алкашом, опившись «Полиной Ивановной», то есть политурой, и будет при живой жене и двух сыновьях похоронен на жактовский счет. И на старуху бывает проруха. До следующей остановки, дядя Володя, может, там тебе повезет!

— Вот, — печально промолвил Лёля, — прекрасный экземпляр современного троглодита. Ты лети с дороги, птица, зверь, с дороги уходи. Ест всё подряд, не брезгуя человечинной.

И замолчал, и более уже в этот вечер не раскрыл рта...

Над ними в немыслимой высоте светились осенние звезды. Влад всматривался в их загадочное мерцание и мысленно гадал, какая же из них уготована им теперь?

12

В честь Дня Конституции, в честь Самой Справедливой Конституции на земле Владу было выдано двадцать копеек. Всяк, выросший, как и он, среди Сокольнической безотцовщины, поймет, что двугривенный сорокового года был целым состоянием. Огромное количество соблазнов ожидало в те времена девятилетнего человека с таким капиталом в кармане. Но из всех — кино на два сеанса, трех сливочных мороженых с вафлями и тульского пряника — он выбрал мандарины. Четыре крепеньких, с еще зеленым отливом у самой макушки, плотно затянутых пахучей пупырчатой кожицей колобка светились у него сквозь прижатые к груди пальцы, когда он бежал домой по схваченной первым снежком улице.

Ах, Тонька, Тонька, много раз потом пересекались ваши пути, вплоть до того осеннего дня, среди которого он отвез тебя на случайном самосвале за ограду Преображенского кладбища, где ты разделила участь всех столичных алкоголиков: быть похороненной без креста и памяти. Но в то утро маленькой дворовой заводилкой ты вынеслась навстречу ему и его мандаринам, и этого вашего пересечения он уже не забыл никогда:

— Владик, отец твой вернулся!

И как бы разбился на четыре равных светлоранжевых долин его дареный двугривенный. И

доли эти покатались по первому декабрьскому снегу. И уже не было в мире силы, чтобы собрать их воедино, в одни руки, в одно целое.

Его пронесло сквозь пространство от угла улицы до порога комнаты одно-единственное морозное дуновение. И здесь, немо застыв на пороге, он увидел сидящего у отопительной батареи полуседого человека в казенной гимнастерке. Человек сидел у батареи и всё поёживался, всё как бы не мог согреться, всё прижимался к ребристому чугуну, словно желая слиться с ним.

Они давно забыли друг друга. Но он-то, он-то, Влад, прекрасно помнил, как еще совсем недавно на Совете Отряда звенящим от переполнявшего душу самоуважения голосом им, Владом, было твердо сказано: «У меня нет отца!» Если бы он знал тогда, в то декабрьское утро, стоя на пороге своей комнаты и безмолвно глядя на сидящего у батареи гостя, во что обойдется ему это его отречение, какой ценой заплатит он за первое свое предательство! Где ему было знать, что он уже готов в дорогу, чтобы пройти по спирали всех девяти кругов, которые перед этим только что прошел его отец! Там, на нарах восточных пересылок, в лютую стужу лагерных лесоповалов, под бесприютным небом неудачных побегов он вспомнит всё и кровавыми слезами выплачет свой грех, заплатив за него тройную цену. Прости, мой мальчик, но это так, от этого никуда не денешься!

Теперь же отец сидел, прижимаясь к теплу, а мать, без кровинки в лице, суетилась вокруг стола и всё почему-то поглядывала в сторону тетки, словно заискивая в ней и моля ее о чем-то. Та каменным изваянием стыла на краешке дивана, сухими глазами сверлила пространство перед собой, и сквозили в этой ее каменности нескрываемое обвинение, и вызов, и упрек. Они с матерью знали

друг о друге всё, но в знании тетки таилась гремучая сила, и она — эта сила — грозила вот-вот взорваться и похоронить под собою первые робкие росточки проклюнувшейся в доме надежды.

И взрыв явно произошел бы, но в то мгновение, когда первое слово уже готово было обрушить ветхую тишину, двери в комнату распахнулись и на пороге обозначился Тонькин дядька — Степан, конокрадного вида мослатый парень лет тридцати, под заметным хмельком и вдобавок еще с бутылкой:

— А я слышу, будто Лёшка Самсонов приехал! — В цыганских глазах его, подернутых пьяным туманом, вибрировала тревога, но хмельная амбиция не позволяла ему показать, что он боится общения с опасным гостем. — Думаю, раз такое дело, без пузырька не обойтись.

Степан так и остался единственным соседом, который осмелился навеститься к ним в этот день, и, наверно, оттого мать, никогда прежде не питавшая к нему особых симпатий, расчувствовалась, сбегала еще за одной, потом еще, а в довершение всего и сама присоединилась к мужской компании, втянув в конце концов в это дело и тетку. Временный мир в семье был восстановлен.

Градус радушной общности дошел постепенно до песенного излияния. Степан затянул своего любимого «Хаз-Булата», отец поддержал его слабеньким, но приятным тенорком, и они в два голоса стали печалиться о судьбе старика, у которого молодая жена, какую он не хочет отдать своему молодому сопернику ни за коня, ни тем более за кинжал и его винтовку. Они плакали, сочувствуя старцу, плакали, еще не зная, что чуть более чем через полгода немецкий свинец навеки опохмелит их обоих, одного под Сухиничи, а второго где-то в

районе Лозовой. И пусть жена ищет себе другого, а мать остается безутешной!

В эту ночь Владу впервые постелили отдельно, на полу. До сих пор он засыпал всегда с матерью. Где-то над ним, в душной тьме на пьедестале кровати происходило что-то такое, от чего к его горлу подкатывало яростное удушье. Он еще не знал, он еще только догадывался, что там происходит, но червь глухой вражды, даже ненависти к отцу уже вползал в его крошечное сердце, чтобы затаиться там навсегда. Влад начинал ощущать на себе жаркие доспехи Эдипа, и хрупкая рука его впервые потянулась к неостывающему мечу.

Вот так, Катя, Екатерина Алексеевна, он стал свидетелем твоего начала. Кто мог предположить тогда, что, затеплившись в декабрьской ночи, среди пятнадцатиметрового коммунального склепа на забытой, кажется, самим Господом Богом московской окраине, ты, спустя тридцать лет, очутишься в песчано-каменном царстве Святой земли, чтобы уже никогда не вернуться обратно!

После короткой тишины Влад услышал колокола их почти беззвучных голосов над головой:

— Может, поедешь, Феня? — До предела умоляюще: — А, Фень?

— Нет, Алексей, лучше в прорубь головой, чем снова туда, в Узловую. Нету там для меня жизни.

— Что тебе Москва далась, Феня? Везде жить можно, были бы руки и голова на плечах.

— Сам видишь, куда тебя твоя голова завела, скажи спасибо, хоть жив остался.

— Не я первый, не я последний — подряд всех брали.

— Всех, да не всех, другие живут себе, помалкивают, а тебе всегда больше всех надо было.

— Дело прошлое, Феня, а теперь нам жить.

— Поезжай один пока, снимут ограничение, вернешься, снова как люди жить будем.

— Тяжело мне сейчас одному будет.

— Там родня кругом.

— Твоя родня, Феня, Михеевы.

— Тебе Михеевы дороги не переехали, примут на первое время.

— Поедем, Феня? — И еще тише, и еще более умоляюще: — Я ведь к тебе с самого Востока ехал, не к твоей родне.

— Нет, Алексей, из Москвы я не двинусь.

— Эх, Феня, Феня!..

— Какая есть.

— Ладно. — Голос отца медленно заполнялся безнадежной усталостью. — Тебе виднее, как самой жить... Не надоело еще одной-то? Вот и дочку не уберегла.

— Я не волшебница.

— Смотреть надо было.

— Смотрела...

— Сына отдашь?

— Бери.

Это было сказано вяло и безо всякого выражения, словно речь шла о чем-то безусловно бросовом и пустяшном, и оттого полоснуло Влада особенно остро. О, Влад знал свою мать, это рыхлое холоднокровное создание, всю жизнь считавшее себя достойной лучшей участи и потому старательно отстранявшее от себя всякую лишнюю заботу! И всё же легкость, с какой она согласилась сбить его с рук, оказалась неожиданностью даже для него. Он так и не смог ей этого простить. Жизнь вскоре надолго развела их, но когда, пройдя сквозь свои немислимые одиссеи, он увидел эту женщину перед самой ее смертью, она не вызвала в нем ничего, кроме недоумения и жалости. Да упокоится

прах твой, Федосья Савельевна, видит Бог, он в этом не виноват!

Судьба Влада была решена, и уже к вечеру следующего дня поезд уносил его вместе с отцом в сторону города городов, дымной усыпальницы списанных паровозов, колыбели ненасытного и жестокого михеевского племени — Узловой.

За морозным окном сторожка таилась непроглядная ночь, в гнезде над дверью прохода медленно извивалось пламя фонарной свечи, уютно потрескивая отгорающим фитильком. Пахло овчиной, лежалым хлебом и табаком. Прямо против Влада задумчиво бодрствовал отец, и лицо его в неверных отсветах свечного пламени казалось мягче и понятнее, чем днем.

— Спи... Спи, — время от времени приговаривал он, и блеклые глаза его при этом теплели. — Еще нескоро.

— Мы к деду пойдем, когда приедем? — Это был для него самый важный, самый мучительный сейчас вопрос, который не давал ему покоя и отбивал сон. — Да, пап?

— К нему... Спи.

И Влад засыпал, и снился ему его дед Савелий, в железнодорожной форме, с кондукторской сумкой через плечо. Дед шел по проходу их вагона, но вместо компостера держал в руке коричневый тульский пряник величиной с портфель. «Дедуля, — проваливаясь в беспамятство, с благодарностью подумал Влад, — и откуда только он такой достал?»

Здравствуй и прощай, дед мой родимый, Савелий Ануфриевич! «Здравствуй», потому что я снова встречаюсь с тобой, и «прощай», потому что

другой встречи у нас не будет. Я имею в виду «здесь», а «там» — это не нам знать. Поверь, что мера моей вины перед тобой равна моему раскаянью. Всё человеческое во мне от тебя, а ведь этому нет цены и за это не придумано расплаты. Вот и скажи мне теперь, Савелий Ануфриевич, дорогой товарищ Михеев, как же так получилось, что от тебя, от твоего корня, в котором и малого изъяна вроде бы не отыщется, поползло по земле это пакостное, это ползучее племя, имя которому теперь уже легион? Чего же и когда ты им не додал из того, чем сверх всякой меры оделил других? Или они просто отпочковались от тебя наподобие личинок, не унаследовав из твоей крови ни одного гена, ни одного родового признака? Отпочковались, вылезли из своих потных коконов и поползли по земле в качестве лагерных надзирателей и барыг, штатных болтунов и сутяжников, номенклатурных придурков и профессиональных стукачей; все эти дежурные по станции, весовщики, толкачи, подгонялы, банщики, билетеры, постовые и филера. Были среди них и редкие выродки с человеческими признаками, но они неизменно кончали тюрьмой или белой горячкой. С чем это связать, Савелий Ануфриевич, с какими законами божескими или человеческими сообразовать? У всей этой банды хватило времени лишь для того, чтобы поделить вслед за тобою твой немудрящий скарб да подраться на поминках из-за твоей полуразвалившейся халупы. На этом они посчитали свою миссию по отношению к тебе законченной и похмельно растеклись по своим углам, препоручив твою могилу первому весеннему паводку. Ее уже давно нет, Савелий Ануфриевич, этой самой твоей могилы. Спустя двадцать лет, я долго искал ее по кладбищенским кустам в надежде на чудо приметы или наития, но скудное сердце мое не вместило чуда и

не услышало твоего зова, и от сознания своего теперь уже обреченного бессилия я нашел обычный в таких случаях выход из собственного опустошения: я напился в тот вечер до зеленых чертей и более уже не пытался тебя искать. Боже упаси, дед Савелий, не мне считать себя сколько-нибудь лучше хотя бы одного из них! Не так уж много во мне от Самсоновых. Я — Михеев, Михеев: гнусное повторение своего клана, точная копия его язв и пороков, едва тронутая Божьим вниманием, но единственное, в чем мне не боязно тебе поклясться: я хочу быть лучше и я стану лучше, чего бы это ни стоило для меня! Сейчас, подводя итог пройденному, я ответственно сознаю, что каждый из нас — Михеевых — несет свой крест по заслугам, нам воздается сполна за каждый тайный грех и явное преступление, и да свершится до конца над нами суд Всевышнего! Но сколько ни живу, я никак одного лишь не могу взять в толк: за что же Он покарал нами тебя, дед ты мой незабвенный, Савелий Ануфриевич, дорогой товарищ Михеев?

Что-то, правда, брезжит иногда, словно сумеречный свет сквозь мутное стекло, но не более того, не более...

14

Дед встретил неожиданных гостей без особого восторга. Давняя и затаенная слабость Михеева-старшего к внуку не смягчила его еще более давней вражды с зятем. Теперь это может показаться смешным, страна, слава Богу, медленно, но верно трезвеет, но в те поры симпатии к синдикализму в профсоюзах, а с другой стороны — сочувствие Рабочей Оппозиции могли сделать даже самых близких людей заклятыми врагами. Правда, ини-

циатива в этой многолетней распре, слышно было, всегда принадлежала деду. Отец, в силу своего уступчивого характера, только оборонялся, но каждая встреча их, так или иначе, превращалась в беспощадный поединок.

Теперь им вроде бы и нечего было делить, и тот, и другой, каждый за свой уклон, отбыли отмеренный по суду срок и вышли в политический тираж, но разговор за столом всё-таки не клеился.

— Да, — бубнил дед, упорно глядя в полуотпительный стакан с остывшим чаем, — перегнули палку, вот и вдарили по шапке кого следует. Головка у нас крепкая, зазря людей держать не будет...

— Много народу вышло, — вяло соглашался отец, но в отсутствующем, устремленном в морозную стынь за окном взгляде его мерцала одна лишь устойчивая тоска, — вместе со мной сколько ехало...

— Там знают, что делают, — дед продолжал изучать доньшко стакана, — с головой народ.

— Может, и так...

Дед, словно борзая, почуявшая добычу, мигом встрепенулся и требовательно уставился гостю в переносицу:

— Это как же прикажешь понимать, зятёк дорогой?

— Да знаешь, тещюшка, — неожиданно ожесточаясь, выверился отец, — ты в здешнем домзаке два года дурака провалял и то, гляжу, облысел совсем, а ты походи с мое по этапам, покорми вшей в эшелонах да на баржах, тогда и молоти языком, кого зазря, кого не зазря.

— Видно, зятёк, — деда уже трясло знакомой Владу дрожью непримиримости, — горбатого...

— А ты меня, батя, не горбать, — вставая, оборвал его отец, — себе сначала хребет почести, может, чего наметилось. Ты хоть раз в «боксе»

статуей сутки простоял? а в камеру на двадцать человек тебя сто восемнадцатым втискивали? а в телячьем по неделе без воды возили? То-то и оно, тестёк, не с перебором ли врагов у вас завелось?

— Вот тебе, Лёшка, Бог...

— Не задержусь, батя, не задержусь. — Отец уже тормозил Влада. — Век без вас жили, проживем еще столько же... Вставай, сынок, погостевали и будет. В Сычевку пойдем, там отоспишься...

Владу было так тепло и уютно в привычных недрах широченной дедовской кровати орехового дерева, так не хотелось вставать и выходить в снежную сутемень декабрьского утра, но жесткие руки отца уже неумолимо властвовали над ним, и, подчиняясь их уверенной воле, он покорно поднялся, позволил облачить себя в свои зимние доспехи и безропотно потянулся следом за родителем к выходу.

От недавней дедовой злости сразу же не осталось и следа. С несвойственной для его большого тела живостью он метнулся от стола им наперерез, и голос у него при этом пресекся и задрожал:

— Ну, будет, будет, Алексей, не маленькие ведь, поцапались и помирились, дело родственное... Куда ты парня в такой мороз потащишь, поимей совесть!

— Нет, Ануфрич, нет, дорогой, — подталкивая впереди себя сына, он уже миновал сени, — наслушался я вашего брата до икоты, хватит с меня, пускай теперь другие послушают. Наше вам, как говорится, с кисточкой, а я в сберкассе.

Когда они вышли в зябкую стужу окрепшего восхода и пересекли двор, Влад не выдержал, обернулся и сердце его оборвалось и повисло на тончайшей ниточке в зияющей пустоте: дед стоял за порогом сеней — высокий, сгорбленный, в валяных опорках на босу ногу, поверх которых

свисали грязные тесёмки от кальсон, и по тому, как он держался при этом, чуть скособочившись и опершись плечом о косяк, можно было без труда определить, какой он уже больной и старей...

Земную жизнь пройдя до середины и даже более того, я не боюсь теперь прослыть сентиментальным. Дед ты мой Савелий, боль и горькая память моя, много камней с тех пор отяготили мне душу, но тот, твой, из того декабрьского утра так и остался доселе тяжелее других. Если можешь, родимый, облегчи меня в одночасье хотя бы от этой ноши!..

Утро клубилось над слободой сизым туманом, сквозь который навстречу им пробивался тускло багровый круг солнца. Земля, укрытая первым снегом, дышала глухо и потаенно. Скрипучий первоуток уже зацвел кое-где темно-зелеными отметинами конских яблок, вокруг которых с хозяйственной привередливостью копошились воробьи. Недавняя боль осела, затаилась где-то на самом доньшке души, и старательно принаравливая свои шаги к мерной, вразвалочку, походке отца, Влад постепенно оттаивал, наливался веселым озорством, полной грудью вдыхая и этот морозный рассвет, и эту пахнущую конским навозом дорогу, и это холодное солнце, и всё, всё вокруг, связанное к тому же со сладостной близостью к идущему рядом человеку.

— Пап, а пап, а Сычевка — это далеко? — Бывая у деда каждое лето, Влад, конечно, знал, где находится эта самая Сычевка и сколько до нее ходу, но разговаривать с отцом было приятно, и он пользовался любым предлогом, чтобы находить повод для очередного вопроса. — Километров пять будет?

— Не больше... Скоро придем.

— А там у нас кто?

— Дядья твои... Тетки тоже... Дальний дед, пасечник.

— И все Самсоновы?

— Вроде все... Считай полдеревни.

— Сколько Самсоновых!

— Много...

— И я тоже...

— И ты... А как же!

— Здорово!

— Еще бы...

Так бездумно переговариваясь, шли они извилистым первопутком, и было в их первой мужской близости что-то такое, от чего грозный мир, гудевший над ними, вдруг затихал и временно становился приветливей и добрее.

Сычевка, оседлавшая гребень глубокой ложбины, выплыла к дороге из редющего тумана крайней избой, и тут отец остановился и прерывисто перевел дыхание:

— Погоди, сынок... Дай соображу малость.

Но соображать ему долго не пришлось. Из тьмы распаханного настежь хлева перед избой выделился и пошел им навстречу небритый тощий мужик в издерганном кожанке, и чем ближе он подходил, тем осторожнее переставлял свои тяжелые в расхристанных валенках ноги. Потом, не дотянув до них шагов пяти, остановился, сдернул какую-то овчинную ветошь с головы да так и остался стоять, не трогаясь с места. Тихие слезы струились сквозь его щетину, а в ломких губах плавилась, текли, извивались жаркие, но бездыханные слова:

— Брательник... Братуха... Братенок... Лёха... Лёшенька... Алексей Михальч... Живой!..

В ту минуту, удивленно глядя, как двое взрослых, а по тем твоим понятиям и пожилых людей стоят и плачут на холоду, словно не смея прибли-

зиться друг к другу, ты еще не знал, не ведал еще, что это начало того, что ты потом назовешь жизнью, и конец того, что считается человеческим детством.

Но ты не спеши, не спеши, мой мальчик, оно — это детство — еще поманит тебя последней весной!

15

Конь под Владом осторожно и чутко припал к воде. В сквозном зеркале озера всколыхнулось и пошло трепетать мелкой рябью слегка тронутое облачным опереньем июльское небо. Конь был рыж, почти красен, и этот броский цвет его ослепительно оттенял матовое блистание озерной глади внизу, разреженную синеву над головой и торжествующую зелень травы кругом.

Когда однажды, спустя вечность, в пустынном, залитом солнцем зале перед ним празднично распахнется «Купание красного коня» Петрова-Водкина, время оборвется в нем, ввинчиваясь в воронку прошлого, и он на одно-единственное, но восхитительное мгновение снова окажется там, в том июле, у того озера, верхом на послушном Орлике...

Был день как день, до мелочей схожий с предыдущим, но паутина тревоги уже тронула его обманчивую безмятежность, откладываясь на губах Влада привкусом близких утрат. В первые же дни войны мужская половина города и его окрестностей заметно поредела, а к середине июля дело дошло до обозников, среди которых одним из первых получил повестку и Самсонов-старший. В это утро он вернулся с шахты, где работал подсобни-

ком на поверхности, раньше обычного и, пряча глаза, сообщил Владу:

— Ухожу в армию, сынок. К матери поедешь.

— Не хочу туда, — нахохлился Влад: одна мысль о возвращении домой, в чадный содом их коммунальной кухни, к опостылевшим ему нравовучениям матери и теткой неприязни вызывала в нем острый приступ отвращения и тошноты. — У деда Савелия останусь.

Влад сказал и тут же осекся. Отец смотрел в упор, излучая на него столько горечи и снисходительного презрения, что он не выдержал, сдался:

— Ладно, поеду...

И в ту же минуту его обожгла паническая уверенность в том, что отец знает о нем всё. Всё, включая его школьное отречение. И эта внезапная догадка как бы расплющила, раздавила Влада. Он увидел себя приколотым к месту насекомым, которого изнутри распирает одна сплошная боль: собственной, еще неокрепшей шкурой постиг он вдруг меру расплаты за предательство. И она оказалась для него непосильной. И тогда вся переполнившая его мука вылилась в долгий отчаянный крик и провальное беспомыслие затем.

Очнулся Влад в Бибиково, куда со всей округи согнали мобилизованных обозников вместе с прикрепленными к ним лошадьми. Он лежал на телеге, на копенке свежескошенного сена, и безоблачное небо возносилось над ним, вызванивая начало лета беззвучным колокольчиком жаворонка в самой своей середине. Жизнь продолжалась, и она стояла того, чтобы пребывать в ней.

— Выспался? — Смущенное лицо отца заслонило высь перед глазами.

— Пойдешь со мной коня купать? — Жесткие руки подхватили его и вознесли над землей. — Не боишься?

— Не. — Замирая от благодарности и восторга, он ощутил под собой теплую кожу седла. — Ни капельки.

— Тогда трогай... Но, Орлик!..

Отец шел рядом, шершавой ладонью касаясь его ступни, и этот путь до ближайшего озерка за селом окончательно примирил их. Простор, сквозь который они двигались, знойно струился перед ними, сообщая окружающему дымный и неустойчивый облик. Соломенные крыши дальних деревень в темно-зеленых кружевах антоновки и акаций, словно желтые челны в озерах, покачивались на волнах июльского марева. Потаенный стрекот роился среди трав, распиливая вдоль и поперек густой застоявшийся воздух. Дорога с каждым шагом суживалась, мельчала и, наконец, стекала в приозерную тропу.

— Ну, теперь сам, — сказал отец, — а я посмотрю.

И конь под Владом припал к воде. Потом сделал шаг, другой, третий. И тут же по самое брюхо погрузился в воду. Круп коня передернуло мелкой дрожью, он коротко всхрапнул и сразу вслед за этим стремительно и плавно пустился через озеро. Вода обтекла сначала щиколотки, затем икры Влада, коснулась бедер, сердце в нем сладостно замерло и вдруг пошло скакать неровно и резко. Берег впереди неожиданно отодвинулся, но в следующую минуту снова пошел ему навстречу. Барабаны первой победы над Страхом и Неизвестностью зашлись дробью у него в висках. Собственная душа его покорила ему и укрощенная осознала себя и свое могущество. Дан приказ ему на запад. Кони сытые бьют копытами, встретим мы по-ста-

лински врага. Нас не тронешь, мы не тронем. Даешь Берлин!

Упоение собою, своим бесстрашием заставило его горделиво обернуться: что ты, мол, теперь скажешь? Он никогда еще не видел отца таким. Подбоченясь, тот стоял по колено в воде, и помолодевшие плечи его сотрясались от смеха.

— Молодец, Владька! — захлебываясь хохотом, кричал он. — Держись крепче, не робей! Слышишь?

— Ага, — восторженно стучал зубами Влад. — Держусь...

— Хорошо?

— Ага...

— Помочь?

— Не...

— Сам доберешься?

— Ага...

— Не дрейфь, Владька, или грудь в крестах, или голова в кустах. Знай наших!

— Ага! — заходился Влад. — Ага-а-а!..

В Бибиково они вернулись, когда там уже трубили сбор. Над селом стоял сплошной гвалт и плач вперемешку с лошадиным ржанием. С крыльца сельсовета военкомовский капитан, близоруко всматриваясь в тетрадку перед собой, хрипло выкликал:

— Гришин, Петр Нефедович?

— Есть!

— Зайцев, Григорий Филиппович?

— Тута!

— Скакалкин, Нефед Парфенович?

— На месте...

— Самсонов...

— Тут, тут, — поспешно отозвался отец, заводя Орлика в оглобли. — Куда денусь?

Пятясь задом, Орлик норовисто похрапывал, и в бархатно-тревожном глазу его отражалось и безоблачное небо, и акации перед избами, и гомон конного табора вокруг, и пробирающийся к ним среди телег дядька Тихон, двоюродный брат отца, тот самый, которого в первый день зимой встретили они у околицы. Дядька выруливал в их сторону, неся в вытянутых руках — ну точь-в-точь хлеб-соль для гостей — фуражку, доверху наполненную яйцами. На небритом лице его блуждала растерянная улыбка, словно он стеснялся своей хрупкой ноши.

— Вот, — бережно опустил он ладони в телегу и, заискивая, подмигнул Владу, — в дороге сгодится. Прямо из-под несущек.

Груда яиц еще со следами помета на теплых боках выросла перед Владом, и память его нашла им у себя место, чтобы уже не забыть о них никогда. Долго еще потом будут мерещиться ему эта скорлупа с брызгами птичьего помета на матовой поверхности. И рядом — заскорузлые руки, перевитые проволокой вздутых жил. Мир праху твоему, Тихон Петрович, он не запомнил о тебе!

— Теперь его слушайся, Владька. — Отец подошел, полюбнял брата. — Он тебя завтра и отправит до Москвы. — И тут же доверительно потеплел. — Вернусь, снова заберу.

Голос капитана у сельсовета взвился до самой доступной ему ноты:

— Трогай!

Водоворот табора, медленно раскручиваясь, устремился к большаку за околицей, и вслед ему потёк гулкий надсадный вой: округа прощалась со своими кормильцами. Впереди на пегом жеребце мелко трусил военкомовский капитан, время от времени оглядываясь с хриплой командой:

— Не растягивайсь!.. Не растягивайсь, кому говорю!.. Строем, строим, твою мать!..

И этот путь, и погрузка затем лишь смутно запечатлелись в нем. Иногда только смешанный запах конского навоза и сена бередил его память расплывчатыми картинками тех проводов. Но мгновение, когда состав тронулся мимо платформы, отложилось в его душе с неистребимой отчетливостью. Фигура отца за барьерной доской в проеме пультмана немного помаячила, облитая красной медью заката, чтобы затем пропасть, улетучиться за первым же поворотом. Последнее, что запомнилось Владу, это отцовская улыбка — скользящая и почему-то чуть виноватая...

Владу трудно теперь даже представить себе отца. Время отказывается возвращать нам самое дорогое из нашего прошлого, приучая нас к тишине Одиночества. Но старший Самсонов всё же остался в сыне, безмолвно подарив ему на прощанье одну божественную простую истину: человек, предавая, прежде всего предаёт самого себя. Она — эта истина — стóбит наследства!..

— Пошли... — Негнущиеся пальцы Тихона коснулись его плеча. — А то дотемна не поспеем.

Они вышли на привокзальную площадь, и тут, среди пестрой толчеи, Влад увидел деда. Тот стоял, прислонясь спиной к афишной тумбе, и по его бóльшей, чем обычно, сгорбленности угадывалось, что стоит он вот так уже давно — одинокий и никем не замеченный.

— Ладно, иди, — понятливо отвернулся Тихон и выпустил его руку, — вас ведь всё одно водой не разольешь, старый да малый...

Переполаясь счастьем и жалостью, Влад стремглав пересек площадь и с налёту ткнулся головой старику в живот:

— Деда... Не хочу домой... С тобой останусь!.. Деда!..

Тот неверной рукой гладил его по свежему ёжику, глухо и одышливо успокаивая:

— Да что ты... Что ты... Куда ж я тебя отпускаю... Никуда я тебя не отпускаю... Дурачок...

Потом они шли, крепко взявшись за руки, и жизнь в этот вечер казалась Владу исполненной надежд и высокого смысла. О, как он любил тебя, дед Савелий!

16

Оставляя города и села по чисто стратегическим соображениям, советские войска успешно продвигались в глубь континента. Славные полководцы, герои Восточной Польши (без выстрела), Молдавии (то же самое), Халхин-Гола (шесть дивизий против двух японских) мчались далеко впереди своих войск с победными реляциями наперевес и с парой штатского платья в запасе. Броня крепка и танки наши быстры. Будем бить врага на его же территории. Пролетарская революция в тылу у противника не за горами. Рот-фронт! Но пасаран!

И в те же дни тысячи мальчиков горячего призыва, по-щенячьи цепляясь за растерявшихся кадровиков, бродили по лесам и перелескам западной России в тщетной надежде прорваться к своим. Многие и многие из них, так и застряв в окружении, пройдут вскоре отпущенные им судьбой огни и медные трубы в лагерях между Вислой и Ламаншем, чтобы растеряться затем по чужбинам пяти континентов в поисках ненадежного эмигрантского счастья. И всё же те, что вернутся, будут завидовать им, греясь у холодных костров

Крайнего Севера и загибаясь в бараках бесчисленных спецпоселений.

Но это еще впереди, а пока страна встречала первую военную зиму, и товарный пульман с архивом Узловского депо, прицепленный к сплотке паровозов, кружил Влада и старика Савелия по неисповедимым путям Великой Эвакуации.

Диковинный поезд — восемь паровозов, два пульмана — с черепашьей скоростью полз через заснеженные пространства, сутками отстаивая в тупиках безымянных разъездов. На больших станциях вагон осаждали беженцы, сулили за проезд всё, вплоть до золотых гор, плакали, унижались, но дед оставался непреклонен: никаких посторонних около казенного имущества. Иногда, как бы стесняясь своей вынужденной черствости, он оправдывался:

— Только потачку дай, отбою не станет, а у меня здесь секретная документация, если что, голову с меня съмут на старости. Опять же, не приведи Господи, зараза какая, заболеешь, куда я тогда с тобой? Всем мил не будешь.

В Пензе они застряли всерьез. Дед с утра до вечера пропадал, обивая пороги станционных кабинетов с просьбами о внеочередной отправке, но хлопоты его, видно, успеха не имели, потому что сплотка с двумя теплушками в хвосте вторую неделю не трогалась с места. Предоставленный самому себе, Влад целыми днями уныло слонялся вдоль состава, томясь скукою и бездельем. Единственное его развлечение — лазить по паровозным будкам — давно приелось ему, и на стоянках он обычно не знал, куда себя девать.

Но однажды туманным морозным утром, бесцельно бродя вокруг состава, он увидел закутанную до бровей в старый пуховый платок девочку. Высокая, в больших не по росту валенках, она

зябко топталась около теплушки машинистов, с интересом оглядываясь по сторонам.

— Ты кто? — От неожиданности он даже поперхнулся. — С какого эшелона?

— Мы с Ожерелья. — Ее вздернутый нос вызывающе вознесся кверху. — А тебе что?

— Ничего... Спрашиваю просто.

— Любопытной Варваре нос оторвали. — Она необидно засмеялась и тут же словоохотливо объяснила: — Папка мой здесь заболел, нас с эшелона сняли. Сидеть бы нам здесь и сидеть, да папка знакомых машинистов встретил, они нас к себе посадили... А ты, наверно, который со стариком едешь, нам машинисты говорили? Владькой тебя зовут?

— Владькой... А тебя?

— Таня я. Сироткина Таня.

— Ты в какой перешла?

— В шестой. А ты?

— В пятый, — соврал Влад: слишком уж унижительным показалось ему быть два класса младше ее. — Я опоздал на год... Болел.

— Смотри, а такой маленькой!

— Выросла, дядя Петя, достань воробушка! — задохнулся он. — И хвалится!

Она не обиделась, даже как будто была польщена:

— Ага, я — длинная. У нас в семье все длинные, порода такая, ничего не поделаешь.

— Да я так. — Ее уступчивость смягчила Влада, — я не дразнюсь, высокая и всё.

— Это вы двое там — на весь вагон?

— Ага, — чуть-чуть, самую малость поважничал он. — К нам посторонних не разрешается, у нас секретная документация.

— А книжки у вас есть?

— Не... Бумаги только, журналы разные. Печати тоже.

— А посмотреть можно?

— Пошли, если хочешь.

— А вдруг дед?

— Не, он теперь до вечера не придет... Пошли...

Как он невозвратно далек, тот блеклый зимний день, пронизанный наждачным запахом пережженного угля! Запах этот и сейчас еще временами першит ему горло...

У весело бушевавшей печи она выпросталась из своего платка-кокона и оказалась по-мальчишьи коротко стриженным подростком с лицом взрослой женщины — одновременно мягким и насмешливым. Меж тонких ее пальцев, вытянутых к огню, еще видны были остатки недавних цыпок. За отворотами ватного пальтеца, под линиялым ситчиком четко вырисовывались бугорки наметившейся груди. На худенькой шее мирно пульсировала голубая ниточка вены. Зыбкие светотени пламени скользили по ней, придавая ее облику выражение загадочной бесплотности.

Влад украдкой глядел на нее, и в нем, с пугающей его неотвратимостью рос, взбухал, сгущался знойный жар, от которого тихо кружилась голова и спирало дыхание. Искушение притронуться к ней, к этим цыпкам, бугоркам под платьем, ниточке вены становилось нестерпимым. Он пытался заставить себя не смотреть в ее сторону, но в конце концов против воли снова и снова возвращался взглядом туда же.

— У вас там тесно, у машинистов? — После затянувшегося молчания это было первое, что пришло ему в голову. — Вон их сколько!

— В тесноте — не в обиде, — беззаботно ответила она, потрянув головой. — Зато весело.

— Я пьяных боюсь. — Слова не облегчали его, он чувствовал, что задыхается. — Кричат очень.

— А мне что, пускай кричат.

— Дерутся тоже.

— Люблю, когда мужики дерутся.

— Обидеть могут.

— Не родился еще такой, чтобы меня обидел.

— Не зарекайся.

— Пускай кто попробует.

— Не боишься ни капельки?

— Не.

— Ночью тоже не боишься? — Он вдруг пристально взглянул на нее и тут же отвернулся, до того обжигающе ослепительной она ему показалась. — В темноте?

— Ни капельки.

— А с моста глядеть?

— Подумаешь!

— Какая ты...

— А какая?

— Ну, не как девчонка...

— Скажешь тоже, — польщенно зарделась она и, перехватив Владов взгляд, неожиданно взяла его за руку. — Ты, наверное, с девчонками никогда не дружил?

— Почему? — Он почти терял сознание. — Что я маленький, что ли?

— Конечно, маленький. — Она легонько провела его ладонью по своему колену. — Еще и с девочками играть не умеешь. — Всё в нем оборвалось, устремляясь в бездну. — Иди сюда поближе...

Она уверенно привлекла его к себе, и явь мгновенно растворилась вокруг него в бредовом тумане. Будто слепой кутёнок, чуть слышно повизгивая и обливаясь потом, он елозил по ней в тщетных поисках источника своей жажды, с неутолимой

истоймой под самым сердцем и еще где-то ниже пояса. Грохот и стон заполняли его. Плоть взрывалась и плавилась в нем, словно разбуженная лава в крохотном вулкане его хилого тела. Множество разноцветных радуг, нанизываясь одна на другую, растекалось у него пред глазами. Празднуй, мальчик, свое мужское пробуждение, расплата придет потом!

Когда же он, неутоленный и полузадыхающийся, наконец, отпал от нее и стыд так и не нашедшего выход целомудрия стиснул его сознание, он только и нашел в себе силы, чтобы разразиться беззвучными, но опустошающими слезами:

— Уходи.

— Что ты, что с тобой?

— Уходи, говорю!

— Вот дурашка, — обиделся.

— Уходи, уходи, уходи!

— Ты что — больной, да? — В голосе ее пробилося снисходительное презрение. — Я к тебе набивалась, что ли, сам позвал. — От выхода потянуло холодом. — Материно молоко еще на губах не обсохло, а туда же!..

Стук захлопнувшейся двери и скрип торопливых шагов донесло до него уже словно бы из небытия...

Как он плакал тогда! Плакал от обиды и унижения перед самим собой, перед собственным страхом и слабостью. Ни до того, ни после ему не доводилось испытывать такого отвращения к себе и к жизни вообще. И эта тогдашняя его мука надолго осела в нем скрытым, но болезненным недоверием к женщине, к ее необъяснимой власти над ним, к грозно затаившейся в ней несовместимости. Сколько лет канет в вечность, прежде чем он поймет, что в них, этих странных созданиях, надо любить

не сходство с собой, а разницу. Поговорка и здесь не оставляет нас своей мудростью: «Ищите женщину!»

Сначала со своего места на верхних нарах сквозь едва расклеенные веки Влад увидел сивые макушки, склоненные над затухающей времяжкой: одна — стриженная под ёжика — деда, другая — незнакомая, в беспорядочном обрамлении всклокоченных косм. Потом постепенно в его сознание стал проникать смысл разговора, происходившего внизу...

— Ах, Савелий Ануфриевич, я совсем забыл думать об этом! — В простуженном голосе патлатого сквозила едва скрываемая искательность. — Я-таки не борец. В молодости, сами знаете, море по колено, но когда у тебя уже внуки, глупости приходится выбросить из головы, хотите верьте, хотите не верьте.

— Это что же, по-твоему, революция — глупость? — Дед не любил шуток на скользкие темы. — Или как тебя понимать?

— Боже упаси, Савелий Ануфриевич, Боже упаси! — всплеснул тот короткими ручками. — Я только хочу сказать: делу — время, потехе — час, старикам следует знать свое место.

— Да, Лазарь Михалыч, сдал ты, я вижу, по всем статьям сдал, а ведь каким орлом по уезду летал, сколько кровей контре пустил, куда всё девалось!

— Что было, то было, Савелий Ануфриевич, — сокрушенно вздохнул гость, — тогда не стреляли только безрукие. И потом — раньше за кем-то

гонялся я, теперь гоняются за мной, в этом есть маленькая разница, не правда ли?

— Да кому ты такой нужен, Михалыч!

— Таки Гитлеру, Савелий Ануфриевич, самому Гитлеру, — даже подпрыгнул от переполнивших его чувств Лазарь. — Он побожился перевешать всех евреев и коммунистов, а я, сами понимаете, замешан и в том, и в другом, и по делу иду не один, у меня трое детей, не считая внуков, как вам это понравится? И я устал от пальбы.

— Куда же теперь с ними?

— Попробуем осесть где-нибудь в Средней Азии, а там видно будет. Главное сейчас — продержаться эту зиму, после чего станет легче. В тепле и супруга моя войдет в форму, она у меня правильная женщина, вы же ее, надеюсь, помните?

— Как же! — Дед неопределенно крикнул. — Сам по ее милости чуть к стенке не стал.

— Ах, Савелий Ануфриевич, кто старое помянет! — Гость старательно выговаривал имя-отчество деда, как бы намеренно подчеркивая этим свою зависимость от него. — Все мы были тогда максималистами, поверьте, Роза дорого заплатила за волнения молодости, она почти не двигается, я вожу ее, как ребенка — в коляске... Если бы вы взяли нас, хотя бы до Куйбышева!

— Ты меня не уговаривай, Лазарь, — угрюмо засопел дед, — неужто я тебя не возьму, имей совесть.

— Так ведь сам говоришь, — тот, размякая, незаметно для себя перешел на «ты», — секретная документация.

Дед, покряхтывая, поднялся:

— Будет, Лазарь, дурочку валять. Ты же в Губчеке не в бирюльки играл. Вроде ты не видишь,

что тут всей секретности на полдурака и на четверть бестолкового... Иди тащи сюда свою роту.

— Я знал, Савва..

— Иди, иди, а то раздумаю.

— Одна нога здесь, другая там...

Через мгновение гостя словно вымело из вагона: серое облачко косматой гривы, подгоняемое ветром удачи...

Знал ли Влад своего деда? Ему думалось, что знал. Каждый год проводя у старика летние каникулы, Влад привык к его нелюдимому нраву, каким отгораживался он от назойливости окружающих. Однажды открыв для себя свою, особую меру справедливости, дед следовал ей твердо и неуклонно, зачастую даже вопреки собственной совести. С детьми своими он почти не общался, ограничиваясь короткими к ним наездами по праздникам. Друзей у него не было совсем, и охоты заводить их он не проявлял. Единственным уязвимым местом в его душевной броне была слабость к Владу, чем тот, со всем присущим детям эгоизмом, пользовался как мог, считая деда чуть ли не лично принадлежащим ему достоянием. Впервые за всё время их знакомства старик на его глазах отступался от принятого, казалось бы раз и навсегда, жизненного правила, и в этом Влад чувствовал угрозу своей безраздельной власти над ним, а потому заранее относился к новым попутчикам с едва скрываемой враждебностью.

Те не заставили себя долго ждать. Нашествие их было почти беззвучным, но впечатляющим. Они ввалились в вагон, словно стихийное бедствие, и, растекаясь по сторонам, заполнили собою всё. Из каждого угла в сторону Влада светилась пара печальных глаз, облучавших его своей гремучей укоризной.

Место около печки теперь прочно заняла коляска парализованной жены гостя — Розы Яковлевны, желчной, похожей на ожившую мумию старухи, с копной жёстких, снежно седеющих волос. Цельми днями она что-то беспрерывно вязала, язвительно переругиваясь с мужем.

— Разумеется, это не в твоих силах, — встречала она его, когда он возвращался из похода по распределителям с пустыми руками. — Разумеется, это только в моих силах. Сам ты не способен опорожниться без посторонней помощи.

— Роза, — с молящим шёпотом бросался он к ней, — возьми себя в руки, здесь дети!

— Это единственное, что ты умеешь делать, прокормить их ты уже не в состоянии. Боже мой, Боже мой, если бы я знала, что ждет меня после замужества! Кому я отдала свою первую молодость?

— Роза, я взял тебя уже с ребенком, о какой первой молодости ты говоришь, опомнись.

— Я всегда знала, что ты мещанин с мелкобуржуазным уклоном и с нами пошел из шкурных соображений.

— Вспомни, кто давал тебе рекомендацию, Роза!

— Ты дал мне ее из расчета, чтобы я стала с тобой жить, эгоист и собственник.

— Ты сама пришла ко мне, Роза.

— Тем хуже для тебя.

— Где же логика, Роза?

— Плевать мне на логику! — взрывалась она. — Ты лучше скажи мне, чем ты насытишь всю эту ораву? — Будто полководец перед генеральным сражением, она обводила свой выводок требовательным взором. — Чем, я тебя спрашиваю?

— Как-нибудь, Роза, как-нибудь, товарищи помогут.

Та словно и ждала только этого его довода, чтобы окончательно выйти из себя:

— «Товарищи»! Ха, ха, ха! Где они, эти самые твои «товарищи»? Могу тебя заверить, что они уже давно в глубоком тылу с энтузиазмом защищают исторические завоевания революции в итеэзовских столовых, а ты и твои дети умираете с голоду.

— Роза, зачем так преувеличивать?

— Нет, вы только посмотрите на него! — обращалась она за поддержкой к деду. — Какой Крез или прямо Ротшильд. Он думает, ему поставят памятник за экономию на собственном желудке. А как вы думаете, товарищ Михеев?

В ответ тот лишь смущенно кашлял в кулак и отворачивался. Но ей и не требовалось ответа.

— Я и забыла, вы же с ним из одного теста, — принималась она за деда. — Жаль, дорогой товарищ, что я не довела тогда следствия до конца и не поставила вас к стенке, в конце концов вы этого заслуживаете.

— Когда было дело, Роза Яковлевна, — отговаривался тот, подаваясь к выходу, — чего уж там!..

Дед исчезал, а старуха всё еще продолжала честить его в спину:

— Да, да, дорогой товарищ Михеев, еще как заслуживаете! Вы не только покрывали саботажников, но и миндальничали с дорожной аристократией, либерал несчастный, кадет! — Покончив с дедом, она поворачивалась к Владу. — Несчастный мальчик, быть в родстве с перерожденцем! — Оцениваяще прищурившись, она сокрушенно вздыхала. — У тебя значительное лицо, мой друг, ты будешь или большой жулик или государственный деятель, что, впрочем, одно и то же.

Она умолкала, как бы уходя в себя, спицы в ее пальцах беспрерывно шевелились, сплетая одну петлю за другой, и ее можно было бы почесть глубоко удовлетворенной собою, если б не издевательская ухмылка, блуждавшая в морщинах вокруг ее губ, которая сводила на нет всё только что высказанное: неисповедимы пути женской логики!

К Владу гластым колобком подкатывался ее старший внук Лёвка с вечной шахматной доской под мышкой:

— Сыграем?

Шахматы для Лёвки составляли смысл существования. С ними он ложился, с ними вставал. В любое время дня его можно было застать с шахматной доской или перед нею. Он постоянно разыгрывал с самим собой бесчисленное количество вариантов. Едва обучив Влада передвигать фигуры, Лёвка сделал его своим обязательным партнером. По сути Влад скорее лишь присутствовал при игре, чем играл. Лёвка последовательно и педантично исправлял всякую его оплошность и был особенно доволен, проигрывая, таким образом, самому себе.

Расставляя фигуры, Влад не выдержал, позлорадствовал вполголоса, благо внизу его едва ли было слышно:

— Злая у тебя бабка, — как змея.

Тот коротко, обжигающе вскинул на него глаза и тут же снова опустил их долу:

— Ходи.

— Злая, говорю, у тебя бабка.

— Не надо, Владик.

— А что, если злая.

— Ты же видишь, она больна.

— Мой дед тоже больной весь.

— Ходи, Владик...

— Нет, ты скажи!

— Ей плохо, Владик, очень плохо.

— Подумаешь!

— Ты... ты... — Слезы душили его, руки тряслись и прыгали. Как ты можешь! — Он нервно смешал фигуры и бросился с нар. — Я больше с тобой не разговариваю!

Влад только пожал плечами и повернулся на другой бок: твое, мол, дело.

Ночью Влад проснулся от резкого толчка снизу: вагон двигался, легонько подрагивая на стыках. За остекленным люком текла студеная декабрьская тьма, кое-где пробитая звездами. Слабое пламя времянки отбрасывало вокруг веер скользящих теней. Шёпотный разговор кружил у огня, скрадываемый движением состава и полусумраком.

— Ты прекрасно понимаешь, Лазарь, что я не доеду, — с несвойственной ей обычно мягкостью вздыхала старуха. — Мы не дети, зачем строить иллюзии?

— Тебе нужно тепло, и тогда всё будет иначе. — Голос его звучал на пределе боли и нежности. — И потом — война скоро кончится.

— Ты думаешь?

— Конечно!

— Ты всегда был оптимистом, Лазарь. Не забывай только, что немцы уже под Москвой.

— Всё будет хорошо, вот увидишь.

— Главное, чтобы было хорошо нашим детям.

— Для этого тебе и надо держаться.

— А тебе?

— И мне тоже... Ради тебя.

— Ах, Лазарь, Лазарь, мы уже старики!

— Ты — нет.

— Ты не исправим.

— Для тебя, Роза.

— Прости меня, Лазарь, — голос ее пресекся, — но эти проклятые боли!

— Я знаю, Роза... Знаю... Если бы я мог болеть сейчас вместо тебя!.. Попробуй заснуть.

— Как я люблю тебя, Лазарь...

— Спи... Я посижу около тебя.

— Лазарь...

— Спи...

Слова, кружа над Владом, отягощали ему душу еще не испытанным доселе смущением, и, засыпая, он никак не мог отделаться от ощущения вины, истока которой ему пока не дано было определить. И снился Владу дворник дядя Саша в душевной тени дворовых лип. «Жи́ды, — смутное лицо дворника призрачно маячило перед ним, — народ хи-и-итрющий! «Ре» выговариваит — поет, не выговариваит — в оркестре. Русский дурак на трубе играет, а он — на скрипке. Вот так». И впервые бесхитростная физиономия его казалась Владу отталкивающей...

В Сызрани состав нагнало известие об освобождении Узловой. В этот вечер дед вернулся со станции под заметным хмельком.

— Хватит, набедовались, — торжественно объявил он с порога, — пришел и на нашу улицу праздник, Узловую взяли, домой поедем.

Сказал и осекся, услышав в ответ вязкую, напряженную тишину: известие не вызвало энтузиазма у его попутчиков.

— Поздравляю, — вяло уронил глава семьи, — счастливого вам пути обратно.

Остальные лишь обреченно опустили глаза: перспектива снова оказаться на морозе, среди многотысячного потока беженцев, штурмующих проходящие эшелоны, не вызывала в них ничего, кроме тягостной тоски.

— Так вместе поедем, Лазарь Михалыч, — попробовал приободрить их дед. — Веселее будет.

— К сожалению, Савелий Ануфриевич, — слабо улыбнулся тот, — это невозможно, у нас другие планы, да, такі другие.

В знак согласия с мужем Роза Яковлевна лишь величественно кивнула.

Прощание было недолгим и молчаливым. Они схлынули из вагона так же стремительно, как и появились. Только Лёвка, чуть задержавшись, протянул Владу руку и сразу же озадачил его:

— А я из-за тебя с бабушкой поссорился.

— Скажешь!..

— Она велела мне помириться с тобой.

— А я что, я ничего...

— Бабушка сказала, что у тебя печать одиночества на лице и что тебе необходимо участие. До свидания, Владик, не обижайся на меня... Не обижаешься?

— Не. — Спазмы перехватили ему горло. — Ни капельки...

— Мы еще сыграем когда-нибудь... До свидания.

Лёва исчез за дверью, сгинул во тьме студенной военной зимы и, как говорится, во времени и пространстве...

Лёвка, Лёвка, его дорожный рыцарь с шахматной доской под мышкой! Где ты теперь, в какой ипостаси присутствуешь на земле, какие дороги топчешь? Урок, преподанный тобой, ему уже не забыть, как не забыть ему и твоей облучающей укоризны. Часто потом в людях, едва ли похожих на тебя, он будет прозревать твои черты и всякий раз при этом в нем ноюще отзовется та еще не оплаченная им вина перед тобой. Но станем надеяться, станем надеяться...

Возвращение их было еще более медленным, и до Узловой они добрались, когда первые ручьи уже прорезали потемневший снег. Запах оттаивающего навоза, круто замешанный паровозным дымом, сквозил по городским улицам. Голодное воронье галдело над городом, обозревая окрестности с высоты птичьего полета в поисках гнезда и добычи. Из-за крыш, с поля тянуло волглой прелью и туманом. Весна исподволь подтачивала зимнее царство, обнажая вокруг сквозные рубища войны.

Руин по пути они почти не встретили, если не считать обгоревшего остова элеваторной башни, но отпечаток тлена и опустошения лежал на всем, мимо чего они проходили: в эти недолгие месяцы потаенная дряхлость города как бы враз обнажилась, стала предельно явственной. Эта обстроенная со всех сторон станционным хозяйством деревня вдруг выявила свою природную непрочность. Дома стояли в целости и на прежнем месте, но за темными, в бумажных крестах, глазницами окон жизнь словно бы вымерзла, уступив их стуже и запустению. Дух забвения витал над городом.

Дома Влада ожидало письмо матери. Письмо принесла тетка Клаша — невестка деда, бедовавшая за стеной с двумя детьми от его старшего сына Митяя, который с первого дня мобилизации не подавал о себе вестей. Высокая, размашистая, она чуть не с порога бросила на стол перед свекром давно вскрытый и порядком потрепанный конверт:

— Вот, барыня твоя прислала, выблядка своего назад просит. — Кровь викингов — дед ее был немцем — временами сказывалась в ней предельным лаконизмом формулировок. — У них

блamanже простыло, кушать некому, сынка дорогого дожидаются. — Но не выдержала тона, перешла на крик. — Я тут с двумя маюсь, отрубя и те — по престольным праздничкам, а помочи ниоткуда, хоть вешайся. Всё ей, всё ей норовишь, московской своей раскрасавице да выблядкам ее. А мои тебе вроде и не внуки, обсевки какие, сидишь на своем капитале, как сыч, любимчику, головастику своему бережешь, думаешь, отблагодарит! Отблагодарит он тебя, как же, держи карман шире! Вернется Митька, всё выложу...

Дед лишь повел в ее сторону усталым глазом, и та мгновенно осеклась и слиняла: искушать судьбу здесь — тетка это знала по опыту — было себе дороже.

— Давайте, папаня, постирушку какую соберу, — как ни в чем не бывало, без перехода засуетилась она. — Снимай-ка, Владька, свои манатки, вошь, видно, совсем заела...

— Не тарахти, — хмуро оборвал он ее, — ребенку спать нужно. Потом зайду — поговорим.

Тетка с безропотной покорностью тут же исчезла, а дед, водрузив очки на нос, принялся за письмо. Влад не спускал со старика напряженных глаз, и заячье сердце его при этом билось учащенно и томительно: в руках у деда шелестела тетрадными листочками предназначенная ему судьба.

Стенные часы мерно отсчитывали тишину. Привычно пахло настоем сушёной малины, аромат которой так и не выветрился под натиском запустения и безлюдья. И эти ярко кумачовые крыльшки герани на фоне ворсистых от инея окон! Нет, он не мог и не хотел себе представить своего возвращения в Москву! Пусть они провалятся там все пропадом, вместе с их давно опостылевшей ему кухонной колготней и семейной междоусобицей!

— Придется ехать, парень. — С каждым его словом паническое опустошение заполняло Влада. — Сестренка у тебя объявилась.

Но даже эта новость не вывела Влада из горестного оцепенения. Ему было не до этого. Мысленно он уже находился там, среди дворового царства крика и ругани, в чадном кошмаре их единственной комнаты. Смилуйся над ним, Господи!

— Да? — машинально сказал он, не замечая собственных слез. — Большая?

— Ладно, ложись. — Стаскивая с Влада валенки, дед виновато отводил от него глаза: старик знал, чувствовал, что творится сейчас на душе у внука, и оттого никак не мог смирить дрожь своих рук. — Утро вечера мудренее... Ну, ну, будет... Как маленький, ей-Богу... Горе мне с тобой, парень... Ну, иди сюда...

Дед поднял его на руки, и тут Влад дал себе волю. Уткнувшись старику в плечо, он безудержно отдался своему горю. К нему, сквозь его плач, еле пробивались увещевания деда:

— Ну будет, будет. — Голос его глух и пресекался. — Я тоже ведь не железный, возьму и разреву. Вот и будем реветь вдвоем, как две белуги, куда это годится? Летом опять приедешь, в лес к тетке Любе подадимся, грибов соберем, ешь — не хочу... Ну, ну...

От старенькой гимнастерки деда тянуло махоркой и потом, жёсткая щетина его тихо скреблась о Владов висок, и тот, забываясь тяжелым сном, благодарно прижимался к нему: детские беды недолговечны. И снился Владу лес перед домом тетки Любы: звонкие свечки строевых сосен, несмолкаемая перекличка галок над ними и теплая паутинка тропок, стекающих в зеленый сумрак. И куда Влад ни оборачивался, грибы обступали его

со всех сторон. Красные подосиновики, дымчато голубые сыроежки, загорелые боровики, покачивая крепкими шляпками, плыли ему под ноги, через заросли осота и повилики. «Ну как, — гудел над ним хриплый бас деда, — я же тебе говорил, а ты плакал!» «Это я понарошку, — смеялся он в ответ. — Я и сам знал!» Сосны празднично кружились над головой, и небо сквозь них казалось игрушечным...

Когда Влад проснулся, деда не было, а у печи тетка Клаша орудовала ухватами. Комната словно бы ожила, вбирая в себя тепло раскаленного кирпича, на оконных стеклах пропотели первые плешки, герань заметно повеселела, паучьи сети по углам распружинисто расправились. Человеческий дух властно утверждал себя среди временной заброшенности.

Пробуждение племянника тетка Клаша встретила довольно миролюбиво.

— Жив? — подбоченившись, насмешливо осклабилась она. — Не растаял? — Но тут же поспешила сбавить тон. — Обиделся, видать, на тетку? Ты не обращай внимания, я теперь злее чёрта, такая жизнь!

— Я ничего...

— Трескать хочешь?

— А дедка где?

— Куда твой дедка денется! В депо пошел, тряхомудки свои конторские сдавать. Ему евонная партейная совесть прохлаждаться не позволять, день и ночь работал бы, да ходу не дают. Правда, всей и работы, что языком трепать, а всё занятие... Вон лучше смотри — твоя команда тебя дожидается, аж слюни текуть.

Она кивнула куда-то за печку, и почти мгновенно, словно только и ожидая приказа объявиться, из-за ее спины показались двое стриженных

наголо ребят в одинаковых кацавейках, так что даже и не разберешь с первого взгляда, где мальчик, а где девочка.

— Мы тут, — чуть ли не хором сказали они и робко выдвинулись вперед. — Здравствуй...

Славка, Славка, Марго, Марга, Маргарита! Помните ли вы эти единственные рваные валенки на троих, эти олады из крахмала прелой картошки, этот пир богов над чугуном крапивного варева! До отъезда в Москву у Влада оставалось достаточно времени, чтобы съесть вместе с ними тот самый обязательный пуд соли, какой необходим для нерасторжимого уже родства. Разве мог он предположить тогда, что Славке, с которым они проведут под истлевшим от их собственной мочи одеялом не одну голодную ночь, выпадет пройти по тем же самым лагерным маршрутам, что и ему самому, а Марга-Маргаритка, хрупкая бабочка с льняными крыльями вопрошающих бровей, превратится в бесцветную гору сала и самодовольства, тупо восседающую на фибровых сундуках с синтетическим добром! Встретив сестру после тридцати, Влад, благоговейно влюбленный в нее и не забывший давней привязанности в своих одиссеях, лишь снисходительно посочувствует ее избраннику. И только тетка Клаша, одна только бурно неувядающая тетка Клаша, даже спустя целый геологический период останется всё тою же яркой воительницей со всем ополчившимся против нее светом. Да, есть женщины в русских селеньях!

— Держи, — вручила она на прощание Владу узелок с печёной картошкой. — Останется — своих угости, пускай твоя мама-мадама нашего крембруле попробует.

И по привычке приложила кончик платка к сухим глазам.

— Летом приедешь? — шмыгнул носом Славка. — К лету немцев разобьют — папанька твой вернется.

Марга, переминаясь с ноги на ногу, тоже протянула ему потную ладошку:

— И наш папанька тоже придет, на сенокос в Торбеево поедем.

Дед хмуρο поторопил:

— Ну, ну, будет, а то поспеем к третьему звонку...

Влад словно чувствовал, что этот путь до вокзала — его последняя дорога с дедом. И без того тяжелое небо казалось ему еще ниже и пасмурней. Мир вокруг него сузился до размеров пристанционной улицы, медленно, как воронка, втягивающей его в свою с поднятым шламбаумом в самом центре горловину. У Влада было такое ощущение, будто после каждого сделанного им шага земля позади него обваливается, образуя непроходимую пропасть. Он выламывался из привычной среды. Он уходил из собственного детства. Он не смотрел по сторонам и не оборачивался. Он уже знал, что возврата сюда ему больше нет. Не буди того, что отмечалось, и не тронь того...

Всю дорогу они шли молча, и лишь на платформе, перед ступеньками вагона, дед порывисто прижал его голову к своему бедру:

— Не забывай деда... Дед уже старьй совсем...

В ответ Влад не мог даже заплакать, потому что состоял сейчас из одних слез: прикоснись, и он стечет в землю весь, целиком, без остатка. Прости его, Господи, но в эту минуту ему не хотелось жить!

Когда поезд тронулся, сверху, сквозь сырое месиво облаков пробилась робкая полоса солнечного света, захватив согбенную фигуру деда в свой фокус. И это бергмановское видение — одинокий

старик среди случайного солнца — вечным стоп-кадром запечатлелось в нем навсегда, на всю его жизнь и последовало с ним за ее видимые пределы...

Прости меня, прости меня, прости!

19

Весна в Москве выдалась на редкость пасмурной и зябкой. Зелень в Сокольниках проклеивалась сквозь ночные заморозки и волглые ветры дня. По набухшим карнизам взъерошенными комочками жались голодные воробьи. Еще с осени наглухо заколоченные окна сыро таращились в мир перекрещенными крест-накрест стеклами. В устойчиво затененных местах снег лежал чуть не до середины мая.

— Вот погодка, — ворчал дядя Саша, кроша ломом снежные залежи, — только Гитлера хоронить. Цельными днями — как каторжный, а пища нынче сам знаешь, какая, на ей с жиру не взбесишься, а у мене желудок, как дырявый мешок, пайковых харчей не держит, одной сечкой на двор хожу, едри твою в корень.

С тех пор как Влад вернулся домой, жизнь его в семье складывалась через пень-колоду. Он пошел было в четвертый класс, но кое-как протянув меньше четверти, устроился учеником столяра на деревообделочный завод, где едва выдержал до конца года. Затем последовали: переплетный цех, мастерская папье-маше, кондитерская фабрика. Карамельное дело пришлось ему по душе. Приятно было сознавать себя обитателем крохотного островка сладкого изобилия среди серого океана военной бесхлебицы. Прикрепленный к «штучникам», он с распирающим грудь самоуважением следил,

как из-под его рук тянется горячая ленточка ликерного сорта «Бенедиктин» или «Героям Арктики». Уходя с работы, он намеренно не счищал с подошв прилипшую к ним карамельную массу: человечество обязано было знать своих счастливицев. Капризная фортуна слегка приоткрыла перед ним завесу иного мира, иного существования.

Но счастье Влада оказалось недолгим. Однажды утром он не нашел своего табеля в контрольной ячейке. Сердце в нем на мгновение сократилось до размеров микроскопической льдинки и тут же взбухло, словно огненный шар, заполняя его обморочным зноем. Скучная явь снова возвращала Влада в его прежнее состояние. Перебиты, поломаны крылья. Шел по улице малютка, посинел и весь дрожал. Гуд бай, малыш!

— Господи, за что же мне это такое наказание! — трясясь от негодования, причитала мать. — До каких пор ты будешь тянуть из меня жилы и пить мою кровь? — Насчет жил и крови она явно преувеличивала, но по поводу всего остального ей можно было действительно посочувствовать: Влад далеко не соответствовал идеалам Матери Прекраснейшего из Государств. — Ты скоро вгонишь меня в гроб раньше времени, негодяй! Или ты возьмешься за ум, или я сдам тебя в детколонию. Сил моих больше нет!

Тетка, сурово поджав губы, молчала. Ее неприязнь к Владу уравнивалась сейчас торжеством над золовкой: мол, каков поп, таков и приход, что посеешь, то и пожнешь. Рождение племянницы заметно умиротворило ее, у тетки была материнская слабость к девочкам, но для него желчи в ней не убавилось, скорее наоборот, лишь возросло в результате, как говорится, простого сопоставления. Что может сравниться с Матильдой моей! «Вот два изображения: вот и вот».

Спасением Влада в таких случаях была улица. Она и впрямь пролегла через его сердце, незабвенная Митьковка! Давно не гремят по твоему булыжнику могучие копыта ломовых битюгов, смолкла в твоих дворах переключка горластых стекольщиков и визг искрометных точил, пошло на снос твое деревянное, в резных кружевах царство, но горький сон о тебе ему уже не избыть, не вытравить из себя никакими видениями райских далей и куц. Зигзагообразно отплескиваясь от городской магистрали, улица концом своим упиралась в периферийные ворота Сокольнического парка, где местная ребятня проводила основную часть свободного времени. Сокольники были их Меккой, Землей Обетованной, Тайгою и Патагонией, Клондайком и Колорадо. Здесь они постигали трудную науку жить своим умом, приобщались к Торжественной Тайне Табака, Великому Волшебству Вина, Лжи Легкой Любви. Отсюда, вооруженные житейским и мужским опытом, они уходили в большой мир, в котором их уже ждали казармы и концлагеря, стукачи и вербовщики, чистые девочки и вокзальные бляди, надежды и разочарования, одинокие могилы и братские кладбища. До свиданья, мама, не горюй!

У Влада в Сокольниках имелись свои, одному ему принадлежащие укрытия и закоулки. В рейдах за желудевыми шляпками и майскими жуками он облазил едва ли не каждую пядь, вдоль и поперек исплавал все здешние пруды, держал в памяти самые потаенные стёжки. Когда ему становилось особенно худо, он забирался в траншею заброшенного тира за детским городком и там в одиночестве скорбел о несовершенствах мира и собственной незадачливой судьбе. С тех отмеченных зовом плоти лет слова «Оленьи пруды», «Майский проспект», «Ширяево поле», случайно насти-

гавшие его в людской толчее, звучали для него как пароль, знак родства, символ понимания и надежности. Везде и всюду дым родной окраины будет сладко кружить ему голову.

С начала войны улица стала для ее обитателей и одним из основных источников существования. Прямо через дорогу, за жиденским рядом двухэтажных деревянных коробок, располагалась товарная станция Митьково с прилегающими к ней деревянным складом и овощной базой. Они-то, эти две точки, и кормили окраину. Их инвалидной охране было не под силу выдержать круглосуточную осаду прожорливой и бесстрашной, как саранча, уличной шпаны. Дрова и уголь со склада дымилась во всех временках Митьковки, а картошка базы служила основой ее существования. С утра до позднего вечера сновал Влад в челночных операциях между точкой снабжения и потребителем. Имея в доме постоянных заказчиков, он не мог пожаловаться на жизнь, но сравнительное это благополучие доставалось ему нелегко. Каждое полено, каждый клубень картошки были оплачены его ужасом перед скорой поимкой. Недаром всю его последующую жизнь ему станет постоянно сниться погоня.

Слава отпетой голи, будущего завсегдадая отечественных тюрем прочно укрепилась за ним во дворе. Дворовые кумушки только головой покачивали да вздыхали, глядя ему вслед, а он гордо шел сквозь обжигающий ветер собственного страха, и вещей гром Уголовного Кодекса гремел над его головой. Орленок, орленок! Идущие на смерть приветствуют тебя!

Федор Вайнтрауб с четвертого этажа, тыловой снабженец в спасительных погонах интендантского старшины, сгружая во дворе очередную партию краденого на вверенном ему складе имущества,

неизменно встречал Влада одним и тем же вопросом:

— Всё ворует, Самсонов?

Дядя Саша, наоборот, одобрял:

— Бери, раз плохо лежит, Владька. Все воруют, а мы что — не люди? Вор нынче тоже специальность.

Старуха Дурова, глядя на него, горестно печалилась:

— С такими задатками — и уже жулик. Что будет с тобою дальше? Уму непостижимо!

Чекист Никифоров не скрывал своих намерений на его счет:

— Дела, дела, всё руки до тебя не доходят, а пора бы тебя привести к общему знаменателю, в колонии тебе самое место.

Влад с этим решительно не соглашался, у него имелись другие планы на будущее. Только он не мог бы объяснить даже самому себе, в чем они, эти планы, состояли, но полное их несовпадение с Никифоровскими было для него очевидным. Он знал, чувствовал, что долго так продолжаться не может, что в ближайшее время судьба его должна сделать крутой поворот и что впереди у него — гадай, не гадай — дальняя и долгая дорога.

Дома Влада только терпели, не более того. Мать, вялая и заметно опустившаяся, принимала его добычу как должное, ни о чем не спрашивая и ничем не интересуясь. Тетка молчаливо хмурилась, но его вклад в их скудное хозяйство, которое теперь полностью свалилось ей на плечи, вынуждал ее смиряться с неизбежностью. Она даже несколько подобрела к нему: нужда обрекает на существование.

Лишь кухонный ад за дверью сделался еще изощренней и злее. Катька-дурочка, водрузив на

обмотанную тряпьем голову банную шайку, носилась по коридору с яростными проклятьями:

— Хватит забивать мне гвозди в голову! Черти драные, дайте человеку покой! Ненавижу вас, окаянных, чтоб вы все передошли! Караул, убивают! Спасите меня, сироту несчастную!

Влад только злорадно посмеивался, прислушиваясь к ее тирадам: вольно дурочке тешиться. Мог ли он тогда подумать, что ровно через пятнадцать лет ему доведется встретиться с ней под одной крышей, в третьем корпусе Троицкой больницы, или как ту еще называют — Столбовой. Она не узнает его и пройдет мимо, а он еще долго будет смотреть ей вслед, замирающим сердцем обращаясь в прошлое. Гаси, гаси свои векселя, мой милый, расплачивайся, пришла пора!..

Затем наступал черед дуэта: тетя Люба — дядя Ваня. Начинал он. Начинал издалека, словно примериваясь и прикидывая, во что ему обойдется предстоящая баталия, но постепенно, с каждой новой выпитой рюмкой речь его крепла, наливалась металлом и матерщиной:

— Что ты за человек такой есть, Люба? Ходишь, прости Господи, как лахудра какая, в драной затрапезе, ни виду в тебе нету, ни завлекательности. Сходила бы в палихмахтерскую, перманент навела, маникюр опять же, чтоб с тобой пройтись было не совестно, а то ведь смотреть тошно, туды твою растуды. Тебя, стерьву, только на огород заместо пугала, мать твою перемать. Навязалась, холява, на мою голову, нарожала мне паразитов, один как лягушка, другой и вовсе урод, слюни текут. Тьфу!

Та отзывалась сразу же, едва он умолкал, и пронзительный крик ее, прокатившись по квартире, выплескивался во двор:

— Нажрался, ирод проклятый! На мамзелей кобеля потянуло, перманен ему подавай. На себя посмотри, чёрт шелудивый! Рожа кирпича просит, один глаз за другим гоняется. Совесть бы поимел детей своих хайть, слава Богу, не в тебя пошли, кому хошь покажи, красавчики!..

Эх, тетя Люба, тетя Люба, знала бы ты, как придется тебе умирать в собесовской богадельне, в двух трамвайных остановках от дома, а твои «красавчики» так и не удосужатся отвалиться от воскресного стола, чтобы пойти похоронить тебя. Напрасно посыльная Дома престарелых станет умолять их хоть взглянуть на погребение. У старшего твоего — Бориса — только и найдется силы, чтобы сквозь свинцовый хмель напугать тебя:

— Без нас перезимует, закапывай!

Младший же лишь бессловесно промычит в знак согласия...

День для Влада наступал и кончался под многоголосый аккомпанемент за дверью и плач шестимесячной сестры. Она старалась с постоянством, достойным куда лучшего применения. В ее цыплячьих легких таилась такая мощь, что она ухитрялась перекричать даже вой сирен воздушной тревоги: искусственное молоко, как видно, не способствует душевному равновесию. Первое время он еще пытался ладить с нею, пел, сюсюкал, строил ей смешные, по его мнению, рожи, но в конце концов махнул рукой и, когда становилось уже совсем невмоготу, просто накрывал ее коляску ватным одеялом и подавался на улицу: спи спокойно, дорогой товарищ!..

Не судите его за это в своем Синайском далеке, Екатерина Алексеевна, все-таки в результате из вас вырос довольно молчаливый и вполне достойный собеседник...

Эта книга попалась ему на глаза случайно, среди множества других, поглощаемых им без счета и разбора. «Алексей Свирский», значилось на обложке, «История моей жизни». Впоследствии, перечитав вещь, он ужаснется ее местечковой сентиментальности, многословию и профессиональному убожеству, но из песни слова не выкинешь, именно ей дано было сыграть решающую в его судьбе роль...

Казалось, окна вымазаны серой краской, до того тусклым и невыразительным выдалось утро. Печка чадно дымила, под закопченным потолком стелилась сизая пелена, паутина грузно свисала с облезлых обоев, и вся комната поразительно смахивала на пещеру, из учебника зоологии за шестой класс. Зато в книге, лежащей перед Владом, по городам и весям упоенного солнцем Юга бродил налегке маленький еврейский мальчик с жаждой насыщения в обреченных глазах. Мальчик бывал бит, голодал, терпел обиды, но от этого извилистый путь его не терял обаяния прямоты и праздничности. Такова, наверное, первая, но далеко, как потом оказалось, не окончательная цена Свободы.

Решение пришло внезапно и сразу подхватило и понесло его. Довольно с него этого дыма, этих концертов за дверь, этих котлет из картофельных очисток, приправленных едва скрываемой неприязнью тетки и вялым равнодушием матери! Мир велик, и ему найдется в нем место! «Что я — привязанный к ним, что ли? — горел он, лихорадочно бросая в мешок всё, что попадалось под руку: свои обноски, материну юбку, запас семейного мыла. — Авось не пропадем!»

Сборы его прервала неожиданно вернувшаяся с работы тетка. Одного взгляда ей было достаточно, чтобы оценить обстановку.

— Куда собрался? — Смутное лицо ее сурово отвердело. — Может, и меня с собой возьмешь?

— Я... Никуда...

— Так, мальчик, так, золотой, воли захотелось? Только зачем же вольному казаку чужое мыло? Или: мне хорошо, а вы тут горите синим пламенем, так что ли?..

Помнишь ли ты о том нашем коротком разговоре, Марья Михайловна, в то квелое утро заповздалой весны? Наверно, не до того тебе было в твоей — ох, какой непростой — жизни. Но он-то запомнил, зарубил в памяти в сердцах оброненную тобой истину: чужим добром Свободы не покупают...

На следующий день сестру унесли к соседям, а Влад был раздет до трусов и заперт на замок. Но раз загоревшись, он уже не останавливался на полпути. Долго ему думать не пришлось. В нижнем ящике шкафа, где матерью бережно хранилось вышедшее из употребления старье, он откопал тронутый молью плюшевый зимний жакет, пару рваных шелковых чулок и парусиновые туфли на низком каблуке. Всё это и составило его первую дорожную экипировку. Выбравшись через окно во двор, он первым делом совершил рейд на товарную станцию, изъясл оттуда свое последнее березовое полено, которое тут же отнес старухе Дуровой.

Подозрительно оглядев Влада с головы до ног, старуха скептически хмыкнула:

— Хорош, нечего сказать! — Она, видно, догадалась, что здесь к чему, но виду не подала, отсчитала ему три пятерки и, обращаясь в про-

странство, задумчиво вздохнула. — Что ж, может, это и к лучшему, никто не знает своей судьбы...

Так оно, наверное, и есть, Наталья Николаевна, так оно и есть. Кому суждено быть повешенным, тот не утонет. Он еще пока не утонул и помнит вас и ваше напутствие. Жаль только, после его возвращения вы так и не поверили до конца, что ему удалось сохранить свою душу и вложить в ее стоящее дело...

Путь Влада от Москвы начался в грузенной до верху углярке, под пронзительно колючим ветром, в компании пригородных барыг, направлявшихся в Моршанск за махоркой. Своим видом он доставил им немало веселых минут. Они от души потешались над обмундировкой двенадцатилетнего путешественника:

— Вот пацан прибаракхлился, как с модной картинки!

— И чулки фельдиперсовые!

— Вам не сквозит, граф, через ваши кальсончики?

— На курорт собрался...

— А где же ваша шляпка, граф?

— Картина, достойная кисти художника.

— Костюм-люкс!..

О, загадочная русская душа, кладезь мудрости и великодушия, источник всяческих добродетелей! Если бы ему тогда автомат в руки, он перестрелял бы их, как бешеных собак. Прости меня, Господи!..

Он сам не знал, куда его несет, он безвольно отдался людскому потоку, и тот выволок Влада на станцию Нижний Чир, что затерялась между Донецком и Сталинградом. Выволок и оставил под вокзальной лавкой ожидать смерти или лучших

времен. Там и нашла его одна добрая душа, уборщица, которой он сплёл на ходу байку о погибших родителях и своем сиротском положении. Она подарила ему — ей больше нечего было дарить — валяные опорки и, пользуясь связями среди проводниц, посадила его на сталинградский поезд.

Да святится имя твое, женщина!..

Лёжа на самом верху у отопительной трубы в битком набитом вагоне, Влад впервые за многие дни по-настоящему отогрелся. Внизу шелестели давно примелькавшиеся ему слова о войне, о хлебе, о болезнях голодной поры. Закрыв глаза, он мог подумать, что никуда еще и не уезжал из дому, а лежит сейчас в своем углу, в их комнате в Сокольниках, где мать обсуждает с соседками общее житье-бытье. Но снилась ему дорога и обледелые провода над ней...

Проснулся Влад в опустевшем вагоне, осиянном утренним солнцем. Внизу молоденький солдат — веснушки от уха до уха, рот мягкий и мокрый, как у теленка — развлекал двух присмиревших девушек рассказом о своих фронтовых подвигах:

— Ползу, кругом грохот стоит, не приведи Господи, пули, как осы, свистят, ну, думаю...

Да, да, именно в это самое мгновение, прости его, парень, Владу этого не забыть никогда, он почувствовал у себя под ногой что-то твердое, обернутое в легкую материю: то ли узелок, то ли сверток. Сердце его учащенно и удушливо зашлось, ладони сделались мокрыми. Сим, Сим, открой дверь! Аладин, где твоя волшебная лампа? Не счесть алмазов в каменных пещерах!

Осторожно действуя ступнями, Влад подтянул находку к себе, дрожащей от возбуждения рукой

сунул ее за пазуху и, соскользнув вниз, прошмыгнул в туалет.

Боже мой, он никогда еще не видел столько денег сразу! Новенькие, словно только что из печатной машины, спрессованные в тугую пачку сто-рублевки обожгли ему пальцы. Их было ровно сто. Десять тысяч рублей. Даже по тем временам это составляло внушительный капитал. Тут же находился и бумажник, в котором вместе с рублевой мелочью он обнаружил паспорт, военный билет и пачку разномастных справок. Нет, Влад не думал ни о чем, спуская документы в толчок. Ему было не до того, чтобы думать о том, кого он обездолил. Он даже не поинтересовался, кого именно. Он спешил отделаться от улик. Но он не испытывал и греховного торжества. В эту минуту им руководил лишь звериный инстинкт добычи и самосохранения. Ах, как он поплатится за это потом, вспоминая тот день и смертный соблазн тех денег! Но легче ли жертве от того, что виновник ее беды наконец-то раскаялся? Возьми его жизнь, родимый, если только после этого ты сочтешь себя отмщенным! Больше у него ничего нет.

На сталинградской толкучке сорок третьего года, в скопище нищеты и голода, Влад приобрел зимнее пальто, сапоги, давнишней носки лыжный костюм и совершенно ненужные ему часы-луковицу «Пауль Буре» за тысячу двести рублей. Этой же ночью в потной вокзальной свалке к нему подкатился глазастый малый, чуть постарше его, в грязной, но ладно, по фигуре скроенной шинели:

— Куда канаешь?

— В Харьков, к тетке, — привычно соврал Влад, отодвигаясь от любопытного соседа. — Поезда жду.

— Брось травить. — Тот понимающе осклабился. — У меня глаз-ватерпас, меня не прове-

дешь, я сын полка, разведчиком был. В твоём Харькове ни одной тетки не осталось, одни племянницы. Махнем лучше на Юг вместе, там теперь лафа, цветет всё.

Выпуклые глаза соседа загадочно мерцали в полутьме еле освещенного помещения, многообещающе подмигивая ему. И Влад, отдаваясь их веселой власти, неожиданно для себя согласился:

— Махнем...

Не один детприемник обживет Влад по дороге, не одну милицейскую каталажку изучит, прежде чем доберется до цели, но когда этот самый Юг распахнется перед ним во всей мощи своей синевы и зелени, он не пожалеет о пройденном...

На Юг, на Юг, на Юг!

21

Сверху, со стороны Зеленого Мыса, Батуми казался многофигурным тортом, плавающим в густом сиреневом желе. Влад плелся вдоль берега к струящемуся вдаль городу сквозь вязкий зной августовского полдня, и только крик чаек сопровождал его в этом его пути. Море распластывалось до самого горизонта, зеленое и ровное, как огромный бильярдный стол. Он еще не знал, что ожидало его там, впереди, но слабый уголек надежды на хлеб и хоть какой-нибудь приют всё же теплился в нем, и только это руководило им и заставляло двигаться. Влад решил на этот последний пеший рывок к цели своего путешествия после того, как его сняли с поезда в Кобулету и чуть было не отправили обратно в сторону Самтреду, благо милицейский дежурный оказался ленивее собственного намерения и в конце концов

предложил ему убраться на все четыре стороны, не задерживаясь в районе этого участка.

Проделав извилистый путь от Москвы до Закавказья, Влад твердо усвоил азбучные правила общения с властью, он не заставил старшину линейной милиции повторять свое высокое указание дважды — через полчаса его на подопечной ему территории уже не было.

Город в зыбучем мареве величаво плыл ему навстречу, охватывая его сначала полукольцом нефтеперегонного завода, затем — отрезая от моря стеной порта и, наконец, распахивая перед ним разноярусный ворот тенистой улицы, угол которой начинался с базара...

Господи, батумский базар сорок пятого года! Они часто снятся мне по ночам, эти соевые лепешки, эти чадолобиани, это кулинарное царство фасоли и кукурузы. Я часто вздрагиваю на улице от запаха фруктовой гнили, и радужные круги расплываются у меня перед глазами: мне столько пришлось ее поглотить, что теперь, в пору сервиса и стерильности, и половины того хватило бы, чтобы свести на нет город средних размеров или втравить в хронический понос целое людское поколение...

Базар кормил Влада до конца лета, до первых дождей. С наступлением глубокой осени, когда с моря потянуло холодом и туманами, жизнь на толкучке сделалась тише и бесцветней. Беспризорное воинство в большинстве своем разбрелось на зиму по детприемникам и колониям, чтобы с первыми днями весны снова обрушиться на город прожорливой саранчой. С ночевками день ото дня становилось всё труднее, надежные летом места — пустые пульманы у нефтеперегонного, темные закутки вокзала, укромные парковые скамейки — безза-

щитно обнажились, со всех сторон открытые блю-
дящему порядок взгляду постовых.

Последние ночи Влад провел в лучших тради-
циях бродяжьего фольклора: на берегу под лод-
кой. Здесь его и засёк случайный милиционер,
обходивший дозором приморский участок. Кончик
милицейского сапога тихонько, но требовательно
прошелся по лодочной обшивке:

— Модьяк, бичо... Чкари!*

Жилище Влада оказалось классической ло-
вушкой, бежать было некуда, приходилось сда-
ваться на милость удачливого ловца. Он вылез и
покорно поплелся впереди своего бдительного
стража. Тот молча топал за ним, изредка осторож-
ными тычками в спину направляя его в нужную
сторону. Но — странное дело! — они прошли гор-
отдел и привокзальную дежурку, а сопровождаю-
щий всё еще подталкивал и подталкивал Влада
вперед. Центр давно остался позади, глухая окраи-
на накрыла их своей кромешностью, и только где-
то среди этой тьмы они остановились, и милицио-
нер позвякав кольцом невидимой калитки, сразу же
разбудил тишину за оградой маячащего в ночи
дома. Сначала там затеплился мерцающий свет,
затем по гравию дорожки зашуршали шаги, и тут
же голос — низкий, с хрипотцой:

— Ра унда?***

— Батоно***...

Звякнула цепь, калитка открылась, постовой
подтолкнул Влада в ее провал, и два силуэта до-
верительно сдвинулись позади него. Между ними
отшелестел короткий разговор, после чего мили-
ционер канул в ночи, а хозяин двинулся к дому:

* Иди сюда, парень... Быстро! (груз.).

** Что надо? (груз.).

*** Почтительное обращение (груз.).

— Пошли со мной, парень.

С трепетом и надеждой Влад следом за ним вошел в нижнюю часть особняка, освещенную прикрепленной к стене керосиновой лампой, — нечто среднее между кладовкой и летним жильем: сваленные в кучу одеяла и матрацы под гирляндами луковых связок и кукурузных початков, кое-какой садовый инструмент по углам, запах плотный, пряный, устойчивый.

Хозяин — низкорослый парень лет тридцати с небольшим, в майке-сетке поверх волосатого торса — некоторое время внимательно изучал Влада выпуклыми линзами темных, с желтизной внутри, глаз, потом спросил коротко и дружелюбно:

— Есть хочешь?

Вместо ответа Влад только сглотнул слюну. Хозяин вышел за досчатую перегородку и вскоре вернулся с миской лобио, лепешкой и банкой мацони в руках, поставил принесенное на тумбочку перед Владом и всё так же дружелюбно обронил:

— Ешь.

Пока Влад жадно роскошествовал над его дарами, он деловито выпростал из общей кучи матрац и одеяло, расстелил их в углу и снова оценивающе уставился в сторону гостя:

— Откуда ты, парень?

— Из Москвы.

— Сколько лет?

— Четырнадцать.

— Отец-мать есть?

— Не, — привычно уже соврал Влад. — В войну убитые.

— Слушай сюда, парень. — Грузин говорил почти без акцента и оттого, наверное, казался Владу невсамделишным, ряженым. — У меня есть для тебя работа. Есть будешь, спать будешь, не пропадешь, платить тоже буду. Завтра в деревню поедем,

там расскажу, что делать надо. Зовут меня Бондо. Бондо, понял? Борис по-вашему. — Уже задув лампу, от двери спросил: — Ночью боишься?

— Не.

— Это хорошо.

И ушел, растворился во тьме...

Впервые за много месяцев Влад засыпал в надежной тишине жилого дома. Ему, конечно, неведомо было, что это только короткая передышка, милостивая отсрочка свыше в преддверии куда больших испытаний, чем те, которые остались у него позади. Наверное, поэтому сны его были легки и безмятежны, а пробуждение мгновенно и празднично.

22

Бондо снова гулял. Гулял широко, яростно, напропалую. Он гулял так всякий раз после удачного дела. Влад давно привык к этим загулам и к тому, что ему приходилось быть их невольным, но обязательным участником. Одному Богу известно, что заставляло грузина таскать мальчишку за собой по всем городским и пригородным духанам, но стоило только легким бесам гульбы дунуть над ним в призывные трубы, как он тут же извлекал своего юного помощника из постоянного убежища в деревне, усаживая рядом с собой в самый дорогой батумский фаэтон, и они отправлялись пересчитывать лучшие подвалы города и окрестностей, и повсюду их сопровождала шальная музыка записных зурначей и одобрительные ухмылки постовых и духанщиков:

— Бондо гуляет!

— Умеет пожить парень.

— Бондо — человек...

— Не сносить ему головы!

— Э, Бондо тоже не дурак, у него вся милиция в кармане.

— Дай ему Бог здоровья — широкая душа!

Прошел почти год с той ночи, когда они впервые встретились, и за это время Влад по привычке к блажным капризам своего хозяина. Да и не только к ним, но еще и ко многому-многому другому.

Вначале был только страх. Страх вязкий, оглушающий, панический. Страх перед ночной водой среди гор, перед предательской тишью в береговых зарослях, перед неизвестностью на той стороне. Но постепенно ежемесячные вылазки за кордон сделались для Влада неприятным, но обыденным делом. У него был напарник Никола Ластик, ленивый, неповоротливый мальчуган одного с ним возраста, со смутным, будто навсегда заспанным лицом — ком едва сформированного теста с янтарными изюминами веснушек от уха до уха. Ластик просыпался только затем, чтобы поесть, справить естественную нужду и совершить очередной поход через границу. За всё время знакомства они едва ли высказали друг другу более двух слов кряду. Бондо подобрал Николу еще года два тому и с тех пор словно бы забыл о нем, препоручив его заботам своего никуда не выезжавшего из деревни помощника Ги Шанавы. Лишь в пьяном угаре он раздражался иногда по его адресу снисходительной бранью:

— О, Ластик, момадзагло*, разве мать тебя родила! Тебя родила лень от прохожего пожарника или от кинто. Бог послал мне тебя, чтобы ты не умер во сне от голода. Скажи, зачем ты живешь, Ластик, зачем зря коптишь небо? Если ты один

* Грузинское ругательство.

раз по-настоящему сходишь на двор, от тебя, дорогой, ничего не останется...

Никола лишь сонно посапывал в ответ и тотчас после ухода хозяина вновь заваливался на бок.

В загулах Бондо, сквозь дымку щедрого радушия, всегда чувствовались надрыв и печаль. Казалось, хмельной скороговоркой и хохотом он силился заглушить в себе нечто такое, от чего, если остаться с этим наедине, можно сойти с ума. Порою в самый разгар застолья лицо его омрачалось тенью, облачком, призрачным бликом воспоминания, и он мертвенно склонялся в сторону Влада:

— Знаю, парень, сдохну, как собака. Все забудут Бондо. И ты забудешь, и Никола, и Гия тоже. Все, все меня забудут. Сгнию в тюремном подвале с пулей в затылке. Все предадут, все! Один человек не предаст, Ашхен не предаст. И не забудет тоже. Она меня любит, Ашхен. У нее золотое сердце... Поехали к Ашхен!

Влад с облегчением вздыхал: это означало конец. Конец пьяным разездам, кутежу и вынужденной бессоннице. Бегство Бондо к Ашхен, известной в городе вдове-портнихе, предвещало скорую и долгую передышку. В крохотной комнате ее ухоженного жилища хозяин пластом валился на постель за пологом, и покорная армянка с неделю отпаивала его там отварами собственного изготовления...

Много лет пройдет, прежде чем Влад познает тяжкую муку запойного похмелья, но, познав ее, он уже будет безвольно тянуться к ней сквозь египетские лабиринты забвения и делирия. Он проживет в этом бреде сотни жизней, пропустит через себя неисчислимое множество мгновенных видений, до основания сотрясающих душу, гибельное

количество раз испытает ужас обморочных взлетов и падений, и в конце концов однажды, в зрелой половине жизни, ему покажется, что это и есть призрак того ада, той расплаты, тех геенн огненных, которые ждут его за чертой существования. Но, как говорится, всё впереди у нас с тобой, мой друг...

Обиходив утихавшего Бондо, армянка стелила Владу в закутке прихожей, садилась рядом на низкую скамеечку и принималась жаловаться на судьбу:

— Разве это жизнь, Владик! За что Бог наказал меня такой жизнью, за какие грехи? Я никогда мухи не обидела. Где справедливость, Владик? Скажи мне, где? — К сожалению, он и сам не ведал, куда, в какие тартарары запропастилась эта справедливость, избегая общения с неблагодарной явью, и поэтому лишь соболезнующе помалкивал в ответ. — Я люблю его, Владик, но он же смертник! Рано или поздно они его всё равно возьмут и расстреляют, у него три судимости, и все за план*. О, этот проклятый план, кто его только придумал, не будь ему на том свете покоя! Уходи от него, Владик, он не доведет тебя до добра, или ты не знаешь, что за это бывает!

Ему ли было не знать этого! От пяти до десяти, а в повторных случаях — вплоть до высшей меры. Но расчет Бондо был надежен и прост. Лично он никогда не пересекал границы. Влад и Никола в силу своего возраста не рисковали почти ничем. Стрелять в несовершеннолетних по законам погранслужбы воспрещалось, а в случае провала им как беспризорникам грозила лишь детская колония. Транспорт в Батуми осуществлял Шанава. Бондо, при всех его связях, могли, конечно, при-

* План — род опиума (жарг.).

влечь за спекуляцию и вовлечение в нее малолеток, но план стоил такого риска: одна закрутка шла в духанах по червонцу. И было уже не счесть, сколько этих червонцев, спрессованных в темно-зеленые комочки освобождающего дурмана, пронесли они с той стороны хозяину в начисто выпотрошенных от ваты и залитых «товаром» ячейках своих «рабочих» телогреек!..

Через несколько дней, окончательно опамятавшись, хозяин вел Влада на базар, сажал его на попутную крестьянскую арбу, и он снова отправлялся в деревню до очередной пьянки и следующего затем похмелья. Прощаясь, Бондо совал ему в карман несколько смятых десятков и, отвернувшись от него осунувшимся лицом, цедил сквозь зубы:

— Передай: скоро буду.

И отходил, терялся в толпе...

Теперь Владу уже трудно представить, где и как закончил земные дни его бывший спаситель и хозяин, знаменитый батумский делец Бондо Шония: в тюремной ли известке с кусочком свинца в голове, на лагерных нарах ли среди студеных широт, или в своей постели на родной окраине. Но где бы это ни случилось, ты не забывай о нем, мой мальчик, не забывай, а если он жив, то пошли ему это свое благодарное «прости»!

Темные силуэты гор на фоне звездного неба виделись Владу настолько близкими, что, думалось, до них можно дотянуться рукой и ощутить их каменную шершавость кончиками пальцев. Цепочкой, след в след, впереди Гия, за ним Ластик

и в затылок ему Влад, они углублялись сквозь заросли ажины и можжевельника всё дальше и дальше в горы. Ночь со всех сторон обступила их чуткой тишью и духотой. Давно сойдя с тропы, они двигались теперь только волчьим наитием Шанавы. Каждый раз он выводил ребят к месту перехода разными и одному ему известными путями. Замыкая шествие, Влад старался выловить из темноты долгожданный плеск воды, скачущей по камням, но время шло, а мир вокруг оставался всё так же душен и молчалив, и лишь их собственное движение нарушало его покой. Земля дышала, пульсировала, испарялась в ночь тяжелыми и пряными запахами своей щедрой субтропической плоти.

Звук воды возник неожиданно и как бы у самых ног. Влад раздвинул кусты, посмотрел вниз и невольно зажмурился: там, в провальной глубине, в свете звезд жестяно поблескивала и мерцала река — далёкая, недоступная, завораживающая. Хотелось сидеть вот так, с закрытыми глазами, у самого края пропасти и не двигаться, вслушиваясь в робкое поплескивание воды и ощущая кислотаватый привкус головокружительной высоты под ногами. Но Гия уже торопил из темноты:

— Чкари, чкари, бичо...

Через минуту они уже сгрудились у знакомого лаза, который другим своим концом выводил их к отверстию замаскированной кустами пещеры над самой водой. Отсюда обычно Гия спускал ребят на веревке в струящееся мелководье внизу.

Теперь роли переменялись: первым в дыру протиснулся Влад. Начальные несколько метров приходилось преодолевать ползком. Затем ход расширялся, можно было подняться на четвереньки, а в самой пещере и встать в полный рост. Здесь пахло слежавшейся пылью, птичьим помётом, пре-

лым тряпьем и мышами. Сквозь ветки маскировочного кустарника перед выходом бодро проклевывались звезды. Река внизу выжидающе лепетала, перекатываясь по камням.

— Держи, — чуть слышно обронил Гия, подавая Владу конец веревки. И тут же — в сторону Ластика: — Держи свою.

Остальное не требовало слов и дополнительных объяснений. Обычная операция была отработана до мелочей и выполнялась почти механически. Влад обвязался под мышками достаточно крепко, но, чтобы не стеснять движений, свободно; Гия разобрал маскировку, коротко кивнул ему на прощанье:

— Давай.

Пустота разверзлась под Владом, он мгновенно уперся опорой ступни в каменную стену, и Гия, потихоньку вытравливая веревку, стал равномерно опускать его вниз. Шаг, второй, третий. Еще, еще, еще. И вот уже подошвы погрузились в мелкую воду, с облегчением нащупывая дно под собой: «Уф!»

Главное теперь не смотреть под ноги, а только впереди себя, это — закон, иначе рискуешь поддаться магической тяге воды и соскользнуть по течению. Влад осторожно ступал на осклизлые камни, чувствуя позади прерывистое сопение Ластика. Где-то у середины потока ступни стало ламывать крутым холодом, он прибавил шаг, и вскоре спасительный берег вынес ему навстречу знакомую галечную косу.

Здесь их ждали. Беззвучные тени метнулись к ним и надломились над ними. Всё делалось молча. Им подали заготовленные заранее и плотно набитые «товаром» телогрейки, они сняли свои, сложив их в услужливо подставленные руки, и сразу

же, после быстрого переодевания, снова ступили в воду.

Влад уже коснулся каменной поверхности противоположного берега, когда, ниспадая сверху из пещерного провала, на нем скрестились острые лучи ручных фонарей:

— Стой, руки вверх!

Сначала Влад обмер, замороженный ослепляющим светом, не в силах сдвинуться с места, но внезапный и жалобный крик Ластика позади вернул его к действительности:

— Мотай, Владька — а-а-а!..

И тогда Влад плашмя навзничь откинулся в воду и облегченно отдался ее власти. Его несло, волокло, тащило по камням и колдобинам, выстрелы и собачий лай он слышал словно бы через стену — глухо и отдаленно. Ощувив, наконец, под рукою сухую прохладу берегового галечника, Влад на некоторое время замер, заполненный колокольным гулом пережитого.

Потом он бежал. Бежал, спотыкаясь и падая, раздирая в кровь лицо о колючие заросли и сбрасывая на ходу груз отягощавших его одежд. Бежал быстрее лани. Звериной узкою тропой. Но только не ожил он, волю почуя, а еще больше съежился и помертвел. Влад не хотел голодной воли и боялся ее.

Ему еще доведется бегать. И не раз. Но потом, когда он впервые останется наедине с собой и у него будет время подумать, ему откроется, что отнюдь не жажда свободы двигала им в этих прорывах из тьмы, а преходящая страсть утоления плоти.

Память, к счастью, живет Божьими законами, мой друг...

Тунг. Магия этого звучного слова завораживала Влада. Будто звонкие молоточки бьют в невидимый бубен: тунг, тунг, тунг! Но слово это имело еще и запах — душный и обволакивающий. И цвет круто замешанной зелени с темным отливом. И форму: нечто среднее между инжиром и луковицей. Тунг, тунг, тунг! Ровные шпалеры развесистых, наподобие яблонь, деревьев, сплошь увешанных колокольцами странных плодов. А где-то посередине этого маслянистого воинства — ослепительной белизны коробки центральной усадьбы с желтыми ульями сушилок на отлете.

В джиханджурском тунговом совхозе, куда Влада, после долгих мытарств у побережья, занесла Судьба или Случай — как вам больше нравится, он мало-помалу пришел в себя и отдышался. Сначала его определили пасти ишаков, целое стадо в четырнадцать низкорослых одров, но если к вечеру ему удавалось пригнать на конный двор хотя бы трех из них, он возвращался в общежитие победителем. С утра, едва покинув стойло, они спешили разбрестись в разные стороны, и никакая сила не могла заставить их собраться вместе. Упрямый индивидуализм — это единственное, что перешло к ним от человека. В остальном же каждый из них был живым опровержением теории условных рефлексов. Эти рефлексы не прививались ослам, у ослов не было в них нужды.

Влад гонялся за ишаками по плантации, обдирая босые ноги о колючки и камни, ругался и плакал, но делу это не помогало; и под вечер он возвращался на усадьбу всё с тем же результатом. Завхоз Гогоберидзе — болезненно толстый человек с буденновскими усами — всякий раз при встрече

угрожающе покачивал у его носа массивным пальцем:

— Э, джипкир, момадзагло! Скоро всех моих ишаков сожрут шакалы. Куда ты смотришь во время работы? Виноград смотришь? Инжир смотришь? Кто будет смотреть ишаков? Я или директор Леван Автандилович, дай ему Бог здоровья и долгих лет? Я больной человек, бичо, я за себя не отвечаю, у меня не выдержит сердце, вот до чего ты меня довел...

В конце концов стало ясно, что пастуха из Влада не получится, и его отдали на выучку в совхозную столовую к форсунщику Ивану Остапенке. Пожилой мрачный хохол с каким-то непонятным орденом на лацкане замызганной робы принял нового ученика хмуро и настороженно:

— Чего они там себе думают? Я чего, нянька, что ли? Чего, у меня других делов нету? Ишь вон, кожа да кости. Какой из тебя работник! Только мазут зазря изводить. Опять же по технике безопасности пацанам у форсунки не допускается... Ну становись, побачимо, чего ты наработаешь, горе перекатное...

Как Влад боялся ее, этой форсунки! Страх перед всем, что связано с машиной, механизмом, техникой и сопряженным с ними сгоранием, сохраняется в нем с тех пор на всю последующую жизнь. Она взбесилась сразу, едва лишь его робкие пальцы коснулись ее. Она то заливала испод парусным пламенем, то рассыпалась фейерверком искр, то фыркала вхолостую. Ее прозорливость не знала предела, он лил и лил в нее, в ее ненасытную пасть полные ведра нефти, но она постоянно требовала еще и еще. Он ходил по усадьбе с ног до головы облитый мазутом, с тоской вспоминая о симпатичных упрямцах со скотного двора. В часы недолгого перерыва между тремя и пятью часами,

когда столовая затихала в послеобеденной дремоте, к нему под навес заглядывал Остапенко и, угрюмо оглядев следы неравного побоища вокруг форсунки, присаживался рядом:

— Чего они там себе думают! Не твое это дело, малый, тебе еще в школу ходить надо, а не с мазутом по форсункам лазить. Пропадешь ты тут ни за понюх. За то ли мы в семнадцатом году кровь проливали, чтобы пацаны наши опять с малолетства в ярмо впрягались! Не добились мы тогда всех, не добились. Эх, да что там балакать! На́ вот, ешь...

Он доставал из кармана и протягивал Владу несколько теплых, в пролежнях, груш и сразу же отворачивался, натягивая заношенную кепку на самые глаза. Нелепый орден его при этом заметно выпячивался в сторону собеседника.

Однажды Влад все-таки решился — спросил его:

— А за что тебе, Иван Кириллыч, орден дали? Ты разве воевал в гражданскую?

— Эх ты, кутя... Нас, «арсенальцев», мабуть, и осталось душ пять по всей земле с цею бляхой. Воевал! Сквозь прошел я ту войну, будь она неладна. — Он смежил веки и затянул вполголоса тоненьким фальцетом: — Слухай, товарищ, война началась, бросай свое дело, на фронт собирайся... Зачем только городьбу городили, еще хуже стало...

В проеме кухонной двери появлялась тощая фигура шеф-повара Реваза Габунии с неизменным черпаком за поясом засаленного фартука:

— Вай, вай, Иван, опять парню голову морочишь? — Держа руки за спиной, он покачивался с пяток на носки и беззлобно скалился. — Бог с тебя спросит, Иван.

— Никакого Бога нету. — Тот скушнел, куксился, замыкался в себе. — Бабы сказки.

— Вай, вай, Иван! — продолжал лениво издеваться Габуня. — Что ты говоришь, Бог разразит тебя на этом месте!

Ревазу в общем-то не было никакого дела ни до Бога, ни до дьявола. Шеф сам совмещал в себе две эти ипостаси, во всяком случае, в пределах совхозной столовой, но возможность подразнить форсунщика, да еще в чьем-то присутствии, оживляло его увядшую в кухонной ругани душу, и он отводил ее сейчас радостно и самозабвенно. Поваром Габуня сделался случайно, так сказать, иронией судьбы. По призванию же он был вор. Он крал, словно находясь в каком-то вдохновенном трансе. Крал нагло, открыто, жадно всё, что попадало ему под руку. Если на два чана макарон или стручкового лобио, составлявших поочередно ежедневное меню столовой, полагалось две трехкилограммовые банки лендлизовского маргарина, то полторы из них, как закон, оказывались добычей Реваза. Но он не брезговал и мелочами. Миска, ложка, даровой кружок от плиты, кабачок с плантации, новый фартук бесшумным ручейком устремлялись в снятый им на окраине усадьбы дом. Словно опустошающий ураган пронесся он сквозь кухни большинства харчевен побережья от Батуми до Натанеби, прежде чем, устав от ревизий и допросов, осел, наконец, в заштатном совхозе, где его воровской фантазии открылось самое широкое поле деятельности. Грошова ценность краденого восполнялась полной безнаказанностью. И Габуня развернулся здесь во всю мощь своего почти маниакального дарования. Но мятежная душа его жаждала еще и эстетических радостей, отчего старый форсунщик подвернулся ему как нельзя кстати. Дошлый шеф без труда нащупал в нем слабую струнку и с тех пор постоянно играл на ней, умело растягивая удовольствие...

— Чому вас в школе только учили, — угрюмо бубнил Иван себе под нос. — Еще скажи — земля на трех китах стоит.

— Бог, Он всё видит, Иван, и всё слышит, — не унимался шеф. — Зажарят тебя черти в аду, как шашлык.

— Чертей тоже нету.

— Есть, Ванья, есть, сам видел.

— С похмелья чего не увидишь...

— Я не пью, Ванья, ты же знаешь.

— Где ж ты их видел тогда?

— Где я их видел, там уже нет, — хитро подмигивал ему повар. — Они к тебе сами в гости придут, Иван, вот увидишь.

— Тьфу на тебя, тёмный ты человек, — вставал форсунщик, подаваясь прочь. — Нету Бога и чёрта твоего тоже нету.

— Есть, Ванья, есть, — сопровождал его победительный хохоток шефа. — И Бог есть. И чёрт есть.

— Дурак ты, — уже скрываясь за углом, огрызался хохол, — и вор тоже.

— Вай, вай, Иван, — неслоь ему вдогонку, — грех тебе так говорить, сам откуда груши носишь? — Всё еще смеясь, он оборачивался к Владу. — Зажигай машину, парень, ужин варить будем...

Жизнь Влада скрашивали только книги, небольшие и никем не тронутые залежи которых он открыл в промышленном канцелярском шкафу красного уголка. Разрозненные тома Брокгауза и Ефрона соседствовали здесь с «Казаками» Толстого и брошюрами партийно-государственных постановлений; «Братья Карамазовы» мирно жили около «Вопросов ленинизма», а «Витязь в тигровой

шкуре» не стеснялся близостью сельскохозяйственной методики. Влад глотал всё подряд, и в голове его вскоре причудливо смешалось множество понятий на буквы «Е» и «З», логическая ворожба Великого Инквизитора и стальные постулаты о мере ответственности сына за отца, пьяные изливания Ерощки и правила ухода за цитрусовыми. И через всё это, как шампур, пронзалась царственная чеканка певучих волшебств Руставели: «Воск сродни огню и ярко пламенеет, в нем сгорая, а в воде мгновенно стынет, как закатный луч в ночи. Если сам познаешь горе, то понятней боль чужая. Так пойми: и я сгораю, как сгорает воск свечи».

Сдав смену, Влад спешил скрыться в сухой, но прохладной полутьме клубной комнаты и там, раскрыв очередной переплет, погружался в мир иллюзорных страстей и отвлеченных истин. За этим занятием его и застал однажды заведующий совхозным карточным бюро Давид Хухашвили, молодой горбатый грузин с печальными, как у больной собаки, глазами:

— Ты грамотный, бичо? — удивился он, посветив в сторону Влада замученным взглядом. — Писать тоже умеешь?

— Умею. — Дрогнуло в нем сердце: незримое перо фортуны овеяло его освежающим ветерком ожидания и надежды. — Я четыре класса учился, в пятый перешел.

— У меня есть для тебя работа. Сочинения хорошо писал?

— Писал. — Сочинениями Влад покори́л сердца всех словесников, через руки которых он прошел за короткие годы своего учения. — Всегда пять ставили... Даже пять с плюсом.

— Пошли...

Огромная дистанция проляжет между этой случайной встречей и тем днем, когда он впервые узрит почти те же черты в облике совсем иного человека, только чуть более строгие и земные. Человек этот властно войдет в его жизнь и надолго станет для него единственным существом вокруг, которому он доверится сразу и безоглядно. Она будет непростой — их долгая дружба. В общем, «если один говорил из них «да», «нет» говорил другой». Четыре восточных крови, замешанных арбатским воспитанием одного и славянская уязвленность другого сделают свое дело. Ей еще ковылять и ковылять, тащиться и тащиться — этой дружбе, по камням и колдобинам взаимных обид, нянча в себе собственную гибель, но финал уже близок, одной благодарностью она не удержится. Да и что может удержаться одной благодарностью! Словом: Булат мне друг, но истина дороже...

Новая работа разбудила в душе Влада потенциального сочинителя. Это был, пожалуй, первый опыт его свободной фантазии. В сенокосную пору совхоз нанимал на стороне бригаду армянских шабашников. По неписаным законам тех лет на каждого работоспособного из них полагалось три хлебные карточки, на других условиях они просто не договаривались. Но для этого ежегодно требовался человек, который мог бы заняться чернильным производством двойного количества мертвых душ, к чему сам заведующий был патологически неспособен. Влад стал его спасением и надеждой. С утра до вечера просиживал парень в обрешеченной со всех сторон комнатёнке Давида, вдохновенно глядя в потолок и беззвучно шевеля губами: «Карапетян Аветик Гургенович... Довлатян Степан Аршакович... Акопян Сурен Карапетович... Ованесян Ова-

нес Акопович...» Муза суровой прозы оевала его своим радужным опахалом, и нетерпеливый Пегас бодро стучал копытами где-то у самого крыльца. Шестикрылый серафим уже рассекал ему грудь, чтобы вынуть у него сердце и вставить туда пылающий огнем уголь. И его ушей коснулось неба содроганье и горних ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольней лозы прозябанье. И вещей глагол в нем уже готов был жечь.

Жизнь Влада заметно изменилась к лучшему. Вскоре он содрал с себя и выбросил дарёную Ревазом Габунией и вконец завшивевшую шерстяную фуфайку, обзаведясь благодаря стараниям заведующего новенькой сатиновой спецовкой, затем перебрался в отдельную комнату общежития, благо их пустовало там больше десятка, а к исходу сезона смог даже позволить себе роскошь выменять на хлеб почти новые спортивные тапочки. В свободное время он подряжался ходить через перевал в селение за фруктами для совхозных итезровцев, что тоже приносило ему известную прибыль. Жить становилось лучше, жить становилось веселей.

Когда же пора сенокоса пошла на убыль и гроза возвращения к ненавистой форсунке вновь замаячила перед ним, Давид сам вызвал на решающий разговор своего расторопного помощника:

— Учиться тебе надо, бичо. — Скорбные глаза на его скульптурном лице жили отдельно какой-то собственной потаенной жизнью. — Поезжай в Тбилиси, справку я тебе достану. — Он страдальчески облучил Влада обреченной улыбкой. — Большим человеком будешь, это я тебе говорю...

Эта первая похвала — пророчество его сочинительскому дару — окрылила Влада и заполнила в нем сердце чувством благодарной признательности к великодушному горбуну:

— Спасибо, Давид Анзорьч... Если бы не вы...

По тем временам достать справку об увольнении из совхоза, где каждые рабочие руки числились на вес золота, было делом нелегким даже для заведующего карточным бюро, но тот правдами и неправдами заставил директора поступиться законом и подписать Владу «вольную», а после сам проводил парня к ближайшему перекрестку.

— Вот этой дорогой прямо дойдешь до Очхамури, к вечернему успеешь. — В густеющих сумерках свечи эвкалиптов выглядели еще прямее и торжественнее, чем обычно. Небо вдали над невидимым отсюда морем смутно и вязко плавилось в отраженном свете воды. Проселок чуть слышно гудел, выдыхая ввысь дневное тепло. — Напиши Давиду, когда устроишься.

— Напишу... Обязательно.

Нет, Влад так и не написал ему ни тогда, ни после. Но часто потом во сне или бреду возникала в отдаленном уголке его памяти приземистая фигурка гнома с тоскующими глазами, и эти сумерки, и это небо над морем, и эта выдыхающая день дорога.

Прости ему, Давид, его неблагодарность, он заплатил и за нее!..

Тбилиси! Множество городов доведется увидеть Владу потом и в большинстве оставить часть своей судьбы, надежду, работу, женщину, но ни один из них не войдет в него так резко и болезненно, как этот. Снова и снова он будет возвращаться туда только затем, чтобы еще и еще раз почувствовать горестный привкус первого свидания. Приняв Влада вначале словно худшего из пасынков, этот город сторицей одарит его затем теплом и гостеприимством, но доверие между ними уже не возникнет, навсегда отравленное той изначально-

ной неприязнью. Он будет мерзнуть и мокнуть в лабиринтах Навтлуги, неметь и глохнуть от голода и малярии под отвесными берегами Куры, еще не ведая, что где-то совсем рядом, в одиночке внутренней тюрьмы в эти же дни мечется в ожидании приговора его будущий поводырь по здешним местам Шура Цыбулевский, а у предстоящего друга, пока что студента Булата Окуджавы, складывается первая песня: «Неистов и упрям, гори, костер, гори. На смену декабрям приходят январь»...

«Он уходил, а там глубоко уже вещал ему закат к земле, оставленной далеко, его таинственный возврат»...

Холода погнали Влада дальше к солнцу — в Баку, где мимо пристаней и багировских застенков уже бегал в школу трогательный гигант Володя Левин, с которым впоследствии надолго сведет его газетная толчея. И затем — морем — в неостывающие пески Средней Азии.

На бакинском причале, в ожидании парохода, он продиктовал случайному попутчику письмо к матери:

«Уважаемая Федосья Савельевна, ваш сынок Владик Самсонов умер у меня на руках по дороге из Тбилиси в Баку от голода и лишений...»

Влад диктовал, и слезы жалости к самому себе сжимали ему горло. Ах, как он любил красивые слова!

Она еще и не грезилась ему, его Галилея, но, сам того не подозревая, он уже шел к ней, петляя по лабиринту российских дорог, через бродяжки малины и пересылки, под милицейский свист и конвойные окрики, сквозь песни этапов и сторо-

жевой лай. Он шел, оставляя за собой города и годы, колонии и детприемники, дактилоскопические отпечатки и подписки о выезде, встречи, обиды, разочарования. Нет, он затем не пожалеет о прошлом, каждый несет свой крест, но не раз, в минуты, когда нестерпимая мука обожжёт ему горло и небо покажется ему с овчинку, он возопиет, обращая глаза ввысь:

— За что?

В такие минуты что-то, он не поймет тогда еще, что именно, будет поднимать его с земли и вести дальше, вопреки тьме и отчаянью. Впоследствии, через много лет, он постигнет, что это и было ему наградой свыше, авансом в счет будущего, даром Любви и Прощения.

Сколько раз бесценный дар этот спасал его на долгих дорогах!

Помнится, в Кутаиси хмурой дождливой осенью, лежа с переломанными в облове ключицами на крыше городской уборной, среди собственных нечистот, заеденный вшами и голодом, он уже было поставит на себе крест и отчаётся, и слабые губы ему сведет проклятьё, и пальцы его ожесточенно сожмутся в кулак, но угрожающе поднять руку он так и не успеет. В последнее мгновенье в проеме фронтона появится перед ним скуластое лицо заезжего карманника Миши Мишадибекова: два глаза-буравчика под новенькой малокозыркой.

— Загибаешься? — спросит гость и перекинет свое маленькое ловкое тело вовнутрь его логова.
— Ну, ну...

Сил ответить у него уже не останется.

Много дней и ночей отдежурит неприкаянный татарин около Влада, прежде чем тот поднимется и осознает, что выжил. Кто, какая сила, чья воля заставит или обяжет обойденного судьбой вора

нянчиться со случайным бродяжкой, доставать ему пропитание и менять под ним тряпье? Когда-нибудь он задаст себе этот вопрос и, сам ответив на него, мысленно отнесется в прошлое:

«Мне больше нечем отблагодарить тебя, Миша, кроме этих нескольких слов о тебе. Я был бы действительно счастлив, если бы ты услышал их. Нет, я не тешу себя надеждой уплатить ими свой долг тебе — этому нет цены, но мне стало бы много проще жить на земле и легче нести мою ношу».

Так, по каплям, по крохам станет собирать он свою потерянную когда-то Веру, с тем, чтобы однажды, ощутив Ее зов, попробовать всё снова, с чистого листа, от нулевой отметки. Но это будет потом. А пока...

Прости меня, парень, но это только начало, только начало, не более того, главное у тебя впереди!

Пойдем же дальше.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

«Здравствя дорогой мои Владик письмо твае я получила большое тибя спасибо ты ниможиш сибя представить как я была рада вместе стваим получила от тани ието было тожи боьшой радостью пока читала лецо смочила слизами очинь скучаю и много плачу все для мния чужое ничего нет роднова бываит такая таска низнау куда сибя деть что делать нимагу сабой справитса здравя моя ниважная часто балит печинь дорогой Владик ты замине нибеспокоиси как нибудь может все проидет буду тирпеть пока подростут дети очинь часто спрашивают алеша как только утром встает то спрашивает как сичас в Москве как мои дядя Вова говорит вырасту и поеду книму иногда дажи доходит дослез хачу вмаскву ира никогда ниоком ниспоминает а вся вбабушку никем особено нитирисуется будит наверно очинь жистокая даладно посмотрим дорогой Владик ты обмине ниочинь беспокоися надеись набога можит он нам поможет стабои встретитса ты харашо знаишь маю жизнью я прожила всю вслизах нибыло уминя неодного отрадного дня радости нечиги делать знать мая такая судьба буду тирпеть этам будит видно пока все досвидания дорогой Владик цылую крепко жду ответ»...

Господи, Господи, Господи! Куда я денусь от этого голоса и от этой мольбы? Прости меня, тетка моя, Мария Михайловна, еще раз прости! Мой грех

— благословить тебя в Синайскую чужбину — и на том каюсь...

«Здравствуй, родной мой! Давно тебе не писала, но и от тебя тоже очень давно нет писем. Спасает телефон — либо Юра с тобой говорит, либо с кем-либо из своих ребят, которые всегда о тебе рассказывают. Я понимаю, что тебе очень трудно писать, но я надеюсь, что ты нас не забываешь. В конце июля — начале августа я была безумно занята: сдавала экзамен, чтобы Министерство воспитания и культуры выдало мне разрешение работать в школе. Ощущение от экзаменов и настроение было отвратительным; ты же понимаешь, что в августе я размениваю четвертый десяток, уже было в жизни, в работе какое-то устойчивое положение и даже вес, а здесь чувствуешь себя, как маленький ребенок, с трудом лепечешь что-то на иврите, а они снисходительно улыбаются. Сейчас я уже немножко отошла. Видимо, между пятнадцатым и двадцатым августа мы переедем в Хайфу. Много надежд питаю я на этот переезд, особенно связанных с Марией Михайловной. Ничего я не хочу, ничего мне не нужно — пусть только придет к ней выздоровление. Мне кажется, что она себя уже довела до точки. Ужасно тягостная атмосфера в доме. И она сама это понимает, но ничего-ничего не может с собой поделать. Меня особенно тревожит ее озлобление. Она никогда такой не была. Тебе уже, наверное, надоело, что я всё пишу об этом, но ты пойми — я буду самым счастливым человеком, когда мне уже не придется тебе жаловаться. Может быть, ты ее попросишь, чтобы она тебе написала откровенно всё, что ей не нравится, может быть, мы или я как-то не так себя ведем, что-то не так делаем.

А в остальном вроде бы пока нормально. Ребята чувствуют себя хорошо, бегают. Ирка с первого августа ходит учить иврит, Лёша еще в детском саду. День его рождения прошел очень хорошо. Мы ему купили много игрушек — от дяди Вовы, бабушки, дедушки и от всех нас. Он был доволен. Он вырос, загорел, лазает по стенкам и по шестам, как обезьянка, на одних руках. И очень смешной он и ласковый, но баловник ужасный. Все американские и местные наши тетушки и дядюшки от него в восторге. Про Ирку говорят, что она стала очень серьезная и самостоятельная, раскованная. Она уже хорошо говорит на иврите, Алёшка уже почти всё понимает, хотя говорит мало, но у него всё впереди. Скоро должно быть готово много фотографий. Обязательно пришлем. Юрины родственники из Штатов очень нам помогли — дали денег на первый взнос за квартиру. Наконец-то я видела эту квартиру — знаешь, по сравнению с тем, что мы имели всегда, это прекрасно. Очень хороший, красивый район на горе, видно город внизу и море. И там не так жарко, как внизу, но довольно влажно — из-за моря. Когда переедем, то я сфотографирую и самый дом и квартиру и пришлю тебе.

Вот, пожалуй, и всё. Я тебя очень прошу, позванивай изредка Юриным родителям. К ним совсем никто не приходит и не звонит. А они старые, большие и одинокие. Хоть иногда, пожалуйста.

Я много о тебе думаю, мне очень тебя не хватает, я не говорю, что я всегда понимала тебя, но то, что ты всегда понимал меня и даже без лишних слов — это точно. Нелегко мне здесь, очень нелегко, но, поверь, я стараюсь держаться — о том, что нелегко, я говорю только тебе, ибо Юре это не нужно знать, он не должен чувствовать себя ни в чем виноватым.

Ну ладно, будь здоров, береги себя и не забывай нас.

Обнимаю и целую тебя крепко. Катька»...

Где же мне забыть вас, плоть и кровь моя? Это всё равно, что забыть себя...

Влад закрыл глаза и попытался представить себе и эту землю, и этот небосвод, и это море, над которым повис среди обжигающего зноя и пологих холмов белый, словно бурнус кочевника, город. Он мог бы поклясться сейчас, что когда-то ему уже доводилось видеть нечто подобное. Да, да — только нечто подобное: жалкий слепок с оригинала, любительский негатив так и не проявленного снимка, халтурную копию с великолепного макета в натуральную величину.

Но когда, где, при каких обстоятельствах?

Стоп!..

2

Белое, чуть подсиненное море, желтое безлесое взгорье, скопление серых коробок вокруг убогого вокзала — Красноводск. И зной, зной, зной. Зной, пропахший тюремным запахом вара и карболки. Зной, от которого, кажется, высыхают мозги и в жилах сгущается кровь. И песок на зубах, с которым ты, минуя расстояние, равное чуть не четверти земной окружности, уже не расстанешься до самого Оренбурга.

Когда Влад в пестрой толпе прибывших поднялся в город, провальное небо показалось ему с овчинку. Оттуда, из-за низкорослых взгорий веяло потаенной жизнью дремучих песков. Ему казалось, что в их раскаленном дыхании он явственно различает безостановочную работу несметного множе-

ства тварей, ткущих вечную паутину своего подспудного мира. Змеи и ящерицы, фаланги и скорпионы, мыши, мангусты, шакалы, яростно пожирая друг друга, а иные и самих себя, оплодотворяли песчаную сушь своим прахом и новым семенем. Грозные Каракумы обступали город многофигурными легионами магических миражей, и он — этот город — жался к морю, отчаянно цепляясь за самый краешек спасительного плоскогорья.

От пристани дорога брала вверх, и по ней, растекаясь затем в разные стороны, тянулась, словно похоронная процессия, палубная рвань голодного сорок шестого года. Она высаживалась здесь каждое утро и с первым же поездом пускалась через пески к благодатной земле зеленых долин Средней Азии в поисках тепла и хлеба. Кого только здесь не было! Отощавшие молдаване, выделявшиеся среди прочих бровастыми лицами загнанных конокрадов, в латаных и перелатанных обносках, хохлы с дежурной готовностью в голодных глазах, целые кланы татар, обалдевшие от собственного крика, и русские, русские, русские — всех возрастов и обличий, вечные перекаати-поле, бездумные странники, искатели кисельных берегов, словно от рождения клейменные тоской и одиночеством. Пустыня втягивала их всех в свое огнедышащее жерло, чтобы вскоре отрыгнуть то, что от них останется, на другом краю континента, где-нибудь под Оршей или Акюбинском.

Когда общий поток вынес Влада в город и, растекшись по улицам и переулкам, оставил его наедине с дорогой, он неожиданно услышал позади себя торопливые шаги.

— Тормози, пацан, разговор есть. — Хриплый, с частыми придыханиями голос возник наконец у его плеча. — Тебе говорю.

И тут же бок о бок с ним обозначился тощий, целой головой выше его парень в заношенной путевой шинельке с чужого плеча и путевой фуражке на коротко стриженной голове. Идя рядом, тот оценивающе косил в сторону Влада слегка прищуренным совиным глазом и всё старался приноровить свою размашистую рысь к его неторопливому покачиванию.

— Ну? — сказал Влад. Неожиданное соседство не вызывало в нем большого восторга. Горький опыт бродяжьей жизни давно отбил у него охоту к скоропалительным знакомствам. — Чего тебе?

— Давно бегаешь? Куда канаешь? Откуда сам? — Тот спрашивал, не ожидая ответа. Желваки под его пергаментной кожей сурово поигрывали, острый подбородок вопросительно кружил над Владом. — Я еще на пароходе тебя приметил. Чую, малый битый. Мне партнер теперь позарез Сквозим на базар. Отвод сумеешь дать?

После той, батумской истории Влад навсегда зарекся ввязываться в авантюры, подпадающие под какую-либо статью уголовного кодекса, но голод уже давал себя знать, да и роль, отведенная ему напарником в предстоящей операции, ограничивалась минимальным риском.

— Ладно, — поддаваясь искушению, деловито кивнул он, — в случае чего — ты меня не знаешь, я тебя не знаю.

— Учи ученого...

Жиденский базар мало способствовал их предприятю. Редкий, как видно, здесь покупатель к полудню и совсем улетучился, оставив своего туземного продавца на попечение жары и мухам. На скупо затененных прилавках жухла и плавилась неказистая снедь — мокрый творог на застиранной марле, кислое молоко в разнокалиберных банках,

скупые горки изюма, изреженная россыпь сушёных абрикосов и кое-где среди этой сиротской пестроты, наподобие сторожевых курганов, — матово лоснящиеся бурдюки, залитые бараньим мясом в сале. И над всем этим, вровень с прилавками, зорко бдели слезящиеся от трахомы и зноя глаза хозяев, устремленные перед собой из-под паранджи или халата: нас не тронешь — мы не тронем!

Время от времени на пороге входной будки появлялся милицейский сержант в надвинутой на самые глаза фуражке, сонно потягивался, окидывая вверенную ему базарную территорию, и, видно, вполне удовлетворенный осмотром, снова исчезал в спасительной полутьме сторожевого помещения.

— Вон видишь: с самого краю божья коровка в бусах. — Жертва была выбрана, оставалось ждать, когда спадет жара и базарная суета облегчит им поставленную задачу. — Гляди за ней в оба, а пока перекурим в тенечке.

— Я не курю.

— Я тоже, — угрюмо ухмыльнулся тот, опускаясь под прилавок пустующего ряда. — Сушь поубавится, разбудишь... Старуху не прозевай смотри...

Не спуская глаз со злополучной старухи, Влад кружил по рыночному пятаку в ожидании торгового пика, и немилосердное солнце то и дело взрывалось у него в глазах радужными фейерверками. Пронзительный звон распирал голову, отдаваясь в висках гулкой ломотой. Колючая пыль першила горло, жгла подошвы, проникала в каждую пору кожи. Теплая и, как во сне, неосязаемая вода из колонки, не утоляя жажды, лишь собиралась в подреберье тошнотворно тяжким комком.

К тому времени, когда порядком обливнявший диск солнца нехотя коснулся наконец гор, Влад

уже люто ненавидел ее — эту старуху. Закинув паранджу за спину, она была вшей в складках халата... Она была их с таким самозабвением и остервенелостью, словно в этом занятии заключался для нее какой-то высший и доступный только ей смысл. Подслеповатые гноящиеся глазки ее изредка вскидывались, затуманенно вперяясь в пространство перед собой, и тут же вновь соскальзывали вниз, к своему безостановочному поиску. Казалось, было слышно, как позвякивают в такт каждому движению монисты на ее халате.

Базар ожил сразу, едва спала жара и первые тени коснулись стен и прилавков. Изю всех щелей и укрытий на базарную площадь потянулась пестрая нищета всеобщей разрухи: безногие пехотинцы и слепые во флотских бушлатах, беспаспортные бродяги из недавних мастеровых, обветшавшие в долгой эвакуации косяки сотворгслужащих, беспризорники послевоенного призыва, пенсионеры и залетные воры, вчерашние фронтовики и местные кочевники, барыги, менялы, филера. Человечество хотело есть, но спрос явно превышал предложение, и поэтому надо было спешить.

С облегчением сворачивая под навес, Влад тихонько толкнул напарника:

— Пора вроде.

Тот будто и не спал совсем, мгновенно скосил в его сторону круглый, с горячечной искрой внутри глаз, деловито осведомился:

— Старуха на месте?

— Куда она денется.

— Не напортачишь?

— Делов куча — «отвод» дать!

— Ну, ну, — примирительно осклабился тот, подаваясь в толпу, — пикируй с умом, а то сцапают. Дуй потом на опресниловку, я там буду...

Задача перед Владом стояла нехитрая: отвлечь внимание старухи на себя, пока напарник будет шарить под ее прилавком. Чуть потерявшись в базарной толчее, он стал медленно выкруливать к цели. Резкое, обрамленное полосатой накидкой лицо туркменки пергаментным пятном возвышалось теперь над рассыпчатыми срезами курдюков, и трахомные глазки ее подслеповато щурились. Точь-в-точь сказочный Кащей, чахнувший над своим златом.

Всё разыгрывалось, словно по нотам. Стоило Владу, изображая из себя заправского покупателя, протянуть руку к товару бабки, как та моментально преобразилась. И куда только девалась сразу ее старческая апатия и сонливость! Разгневанно встрепенувшись, она, будто внезапно потревоженная клушка, захлопала пестрыми крыльями своего халата и зашлась, закудахтала на единственно понятном для них обоих языке:

— Кьшь... Кьшь! — Казалось даже, что она вот-вот взлетит. — Кьшь, шолтай-болтай!.. Кьшь!..

Потешаясь, Влад еще поиграл с ней, подразнил старуху, правда, ровно столько времени, сколько понадобилось напарнику, чтобы слегка облегчить ее запасы под прилавком. Но едва тот с увесистым курдюком под мышкой канул в окружающей толчее, он сразу потерял к ней всякий интерес, повернул прочь, и лишь у самых ворот его настиг истошный вопль незадачливой торговки. «Кричи теперь, — мысленно позлорадствовал Влад, направляясь в сторону моря, — может, полегчает».

Партнер не подвел Влада. Когда после недолгих поисков он выбрался на пологий берег за опреснительным заводом, тот уже поджидал его

у наскоро раздутого костерка, орудуя перочинным ножом над их общей добычей.

— Садись, хавай. — Горка ребристых, отливающих стылъм жиром кусков росла под его рукой на аккуратно расстеленной рядом с огнем газете. — Тебя как зовут?

— Влад, — сглатывая голодную слюну, выдавил он. — «Боксер» кличка.

— Смотри! — Тот поднял на него насмешливые глаза. — В чем душа держится, а туда же — в люди. — Но тут же и подобрел: — Ладно, ладно, в дерьмо не лезь, наваливайся лучше, набьешь пузо — отойдешь... Зови меня «Серый», а если проще, то Серёгой. Лады?

— Угу, — благодарно промычал Влад, целиком занятый едой. — Угу...

Надолго запомнится Владу тогдашняя трапеза. Пройдет много лет, а ему будет сниться и сниться эта голодная оргия на пустынном берегу Каспия. Гора мяса таяла у них на глазах. Они глотали его, почти не пережевывая. Рассыпчатый жир вязкой пеленой обтягивал им дёсны, мясные волокна забивали прощелины зубов, нёбо ныло от напряжения. Глаза уже не смотрели на еду, но челюсти всё двигались и двигались, пока их собственные животы не отказали им, и лишь тогда они разом отвалились на спину и впервые по-настоящему увидели море и берег, и вечернюю высь над головой.

Блаженная истома сморила Влада. Алыый закат дотлевал над горизонтом, вода кротко поплескивалась чуть не у самых ног, потаенно гудели неподалеку установки опреснительного завода. Заполняясь глубиной и умиротворенностью окружающего, он, словно перенасыщенная губка, бездумно впитывал в себя неторопливую, с долгими паузами речь напарника:

— Держись за меня, мальй, не пропадешь. Я, брат, с двенадцати лет бегаю, одних судимостей пять штук собрал и все по делу. Что-что, а кусок хлеба достать сумею, век свободы не видать. А сюда, в Азию, уже по третьему кругу захожу, в первый раз еще до войны был, место хлебное, фраеров — хоть отбавляй, жить можно. Потом в войну с госпиталем на том же «Багирове» привозили, после ранения отлеживался...

— А ты и воевал, значит?

— Воевал! Скажешь тоже. Два раза навывлет прошило. Один раз винтовочной, другой раз разрывной. И в плену тоже коптел, недолго только, в побег ушел, под Прагой довоевывал. Меня потом учиться посылали, только мне это дело без пользы. Я вольный казак, свободу люблю. Пускай Сталин думает — у него голова большая, а мне и неучёному хорошо. Вот только с прошлого года грудью слабеть стал, кашель заедает — сил нет. Говорят, здесь вода недалеко есть, лечит. Верная братва адресок дала, поеду попробую. Попытка — не убыток. — По ту сторону города возник, нарастая, протяжный паровозный гудок. — Ашхабадский-скорый карячится, через три часа обратным ходом пойдет. Устроим-ка дежурный перекур с дремотой и айда на вокзал...

Поздним вечером Ашхабадский-скорый уносил их сквозь остывшие пески в заманчивую неизвестность долгой пустыни. Лежа внизу, на «собачьем» ящике, Влад засыпал, насквозь пронизанный обезвоженным ветром ночных Каракумов, под ликующую песню вагонных колес: «Лежи и спи, лежи и спи, лежи и спи...»

Здравствуй, Азия, летящие сквозь ночь приветствуют тебя!..

Серый, Серёга, Сергей! Его связь с тобой отныне и навсегда сделалась нерасторжимой. Может быть, теперь, в третьей части жизни, эти стремительные два года и покажутся ему порой лишь кратким сполохом, далекой зарницей, резким росчерком падушей звезды в будничной мгле позади, но всякий раз, едва он вспомнит о них, сердце в нем упоенно зайдет, распахиваясь прошлому. И он отчетливо представит себе каждый день, каждый час, каждую минуту этих быстрых лет от той трапезы в Красноводске до того знойного полдня в подвале Таганской тюрьмы, когда хмурый конвой развел вас по разным этапам, которые уже не пересеклись.

Но, надо думать, предназначенное расставанье обещает встречу впереди! Надо думать.

3

Четыре глинобитные, в остриях битого стекла по верху стены колонии почти на целый человеческий рост возвышались над остальной частью города, и поэтому казалось, что за ними ничего нет — сквозная пустота, песок и небо. И только дневной гомон на расположенном вблизи зоны саксальном складе да похоронные всплески сопредельного с ним кладбища напоминали о не замирающей за оградой жизни провинциальной столицы.

Прежде чем попасть сюда, Влад до глубокой осени еще покружил, поотирался по «банам»* и «шанхаям»** сонных городишек, прозябавших в песках между Ашхабадом и Чарджоу, помогая

* Бан — вокзал (жарг.).

** «Шанхай» — стихийно возникший пригород (жарг.).

Серёге, а порою пробавляясь самостоятельно. Тот большую часть времени держал его рядом, лишь изредка позволяя ему действовать на свой страх и риск. Незаметно для себя Влад и сам вскоре привязался к чахоточному бродяге из недавних фронтовиков. Было в Серёге что-то такое, что заставляло окружающих проникаться к нему почти безотчетным доверием. Сквозь личину насмешливой угрюмости в нем пробивалась неистребимая жажда взаимопонимания. Он не любил одиночества, даже тяготился им, всем «малинам» и «хатам» предпочитая кирпичный завод, где под крышей, «на толке» гофманской печи ночлежничала чуть не вся заезжая шантрапа. Здесь Серёга чувствовал себя как рыба в воде. Ему заметно льстило почтение, каким окружала его как законного вора нищая братия, но при этом он не зверел, не заносился, стараясь сделать свое присутствие среди нее по возможности менее обременительным и заметным. Он щедро делил остатки дневной добычи поровну между всеми и, главенствуя за полночь на этой сиротской трапезе, беззлобно посмеивался:

— Налетай, сохачи! Давай-давай, подешевело, расхватали — не берут! Зря только по дворам ходите, нынче у здешних фраеров не то что хлеба, матерного слова не выпросишь. Потроши их, мать их в корень, грабь награбленное! Сидели тут по тылам, отъедались, теперь наша очередь... Рубай, Владька, завтра еще достанем.

Эта его общительность и подвела их. Кирпичный завод был идеальным объектом для облав. И хотя обычно близкие к горотделу люди предупреждали Серёгу о предстоящем милицейском налете, однажды обратная связь не сработала и им не удалось избежать общей участи. Во дворе горотдела задержанных рассортировали: Серёгу в компании взрослых отвели к дежурному, где его

ожидала очередная подписка, а Влада с группой малолеток направили в детприемник, откуда он как злостный правонарушитель попал в колонию.

Жизнь здесь оказалась немногим посытнее вольной, но зато, после долгого перерыва, Влад снова дорвался до книг. Их спасительный дурман облегчал ему его существование среди самодетельного ада а ля Макаренко.

Какой поистине садистской болезненной фантазией нужно обладать, чтобы выдумать эдакое подобие казармы с тою лишь разницей, что власть в этой казарме принадлежит подросткам из наиболее отъявленных, не ограниченных к тому же ни опытом возраста, ни законом.

Поощряемые сверху, маленькие изуверы с командирскими нашивками на рукавах упоенно соревновались в заплечной изобретательности. Били всех и всякого по поводу и без повода, в счет будущего, авансом, для остротки. Побои даже не воспринимались всерьез, до того они были привычными.

Малейшее неповиновение каралось куда более строго и беспощаднее. Этой цели служил целый набор всевозможных экзекуций. Самой легкой из них считалась «чайка»: провинившегося по нескольку раз подбрасывали на опрокинутые вверх ножками и сдвинутые вместе табуретки. Затем по разряду следовала «припарочная». От пяти до пятнадцати ударов чулками, туго набитыми песком. Не оставляя следов, они надолго отбивали внутренности. Высшей же мерой считалась «пирамида»: с увесистым поленом в вытянутых над собою руках жертву ставили на самом солнцепеке, предварительно насыпав ей соли под коленные чашечки, и в этом состоянии выдерживали до полного ее беспометства.

Вкус власти над ближним кружил остриженные под нулевку головы, раздувая хрупкие ноздри пороком и похотью. Юные педерасты с ухватками капризных содержанок косяками бродили по зоне, источая вокруг себя смрад и зависть. Голодные стукачи печально слонялись из барака в барак в поисках неосторожного слова и опасного замысла. Игра и торговля своим молодецким размахом достигали временами высот сказочного Багдада эпохи процветания. И неизвестно было, над чем чуть ли не с каждой плоскости внутри зоны посмеивался в прокуренные усы бывший Горийский правонарушитель, которому, родись он полвека позже, наверное, одному из первых пришлось бы испытать на себе все красоты и прелести этой «педагогической поэмы».

Активисты попробовали обломать Влада в карантине. Препровожденная с ним бродяжья подорожная вызвала у них невольное уважение: пять детприемников в пяти городах по пяти фамилиям разыскивали беглеца, борясь за его первородство. К нему подступились с угрозами, он отмалчивался. Его попытались вытащить из общего изолятора в дежурку для особой обработки, он пригрозил повеситься. Тогда на него махнули рукой (мол, чокнутый) и оставили в покое. Репутация тронутого, смурного, ненормального прочно закрепилась за ним, освобождая его от назойливости воспитателей и опеки стукачей.

В ремонтном отряде, куда Влада в конце концов определили, он продолжал держаться особняком, чураясь случайных знакомств и сближений. Его заметно побаивались: новичок, устоявший против соблазнов и экзекуций карантина, вызывал здесь невольное уважение, смешанное со страхом. Даже мастер — скуластое, туго обтянутое розовой кожей лицо с вытатуированной «мушкой» на впа-

лой щеке — из бывших колониальных же активистов, глядя на него, насмешливо хмыкал:

— Посмотришь, вроде соплей перешибить можно, а, видать, двужильный. Побачим, надолго ли тебя хватит?

Но глаз с него не спускал, при каждом удобном случае стараясь отравить ему существование. Укрощенное самолюбие недавнего «пахана» ревновало к упрямой гордыне залётного шкета. Он преследовал Влада с упорным злорадством человека, глубоко уязвленного в своем понимании человечества. О, бедное человечество! Заставая Влада врасплох за куревом или бездельем, мастер сжимал ему подбородок цепкими пальцами старого картежника и медленно поводил им из стороны в сторону:

— В законе, значит, ходишь? Где нам в лаптях до вас в калошах, значит? Гусь свинье не товарищ, говоришь? Гляжу, совет командиров по тебе соскучился. Может, сходишь, потолкуешь с пацанами. Или еще бока после карантина не отошли? Иди, в следующий раз накрою — пощады не проси, век мне свободы не видать...

Влад жил, словно скрученная до отказа пружина, готовый в любую минуту расправиться для удара. Вражда окружала его со всех сторон: круговая порука не терпела исключения из правил. Воительное упрямство могло обойтись ему более чем дорого. Он находился в постоянном ожидании подвоха. Словом «тёмная», казалось, был напоен самый воздух вокруг него. Даже ложась спать, Влад не расставался с чугунным прутом, запасённым им на случай вынужденной драки. Но когда напряжение достигло предела и неминуемое должно было вот-вот совершиться, обстоятельства внезапно переменялись.

Как-то после развода мастер задержал его и, отводя глаза в сторону, сунул ему в руки записку:

— Держи... От Серёги... Что ж ты не сказал, что с «Серым» бегаешь, темнил на свою голову. — Жёсткие губы его жалобно скривились. — Чуть я греха на душу не взял, до смерти потом не расклебал бы... Я тебя вечером в клубе ждать буду, прикинем, что к чему.

Влад сразу узнал размашистые каракули напарника: «Рви когти. Этот чмур тебе поможет. Сергей». Он чуть не заплакал от нахлынувшей на него благодарной нежности: «Не забыл пахан, выручил». Снова и снова перечитывал он записку. «Век не забуду!».

Вечером в темном углу клубных сеней мастер изложил Владу свой план побега:

— Пойдешь ночью в воскресенье прямо через ограду, так вернее, лаз в «запретке» я тебе обеспечу. С пацанами я тоже договорюсь, подымут «бузу», дадут отвод. Дувал здесь с битым стеклом поверху, матрасом подстрахуешь себя для верности. Доска тебя в «запретке» ждать будет, лучше всякой лестницы. Годится?

— Попробую...

— Скажи Серому, что я тебя не трогал, лады? — Страх в нем был сильнее самолюбия, он почти заискивал перед Владом. — Скажешь, да? Ты же сам виноватый, признался бы сразу, а то темнил. Будь человеком, за мной не останется... Он же меня со свету сживет, а у меня семья в городе. Скажешь, да?

Предательский соблазн отыгаться сразу за всё здесь пережитое на мгновение поманил Влада, но мастер смотрел на него с такой надеждой и такая при этом собачья просительность сквозила в облинявших его глазах, что он не выдержал, переборол искушение:

— Ладно, скажу...

В дни, оставшиеся до условленного срока, Влад, пользуясь попустительством мастера, с утра до вечера пролеживал на крыше аварийного барака над очередной книжкой из небогатой здешней библиотеки. Именно там, у разошедшегося шкафа, набитого беспорядочным книжным хламом, судьба сыграла с ним злую шутку, подсунув ему следом за неприятзательным Львом Шейниным «Происхождение видов» Дарвина. Путаясь в именах собственных и мудрёной терминологии, Влад торопился уяснить себе смысл и логику авторских рассуждений, а когда уяснил, всё в нем сдвинулось и запротестовало: он не хотел, не имел никакого желания вести свою родословную от обезьяны! Ему стоило только представить этих тварей — неудачную издёвку природы над собой — в спутанной шерсти и струпьях на сидячих местах, чтобы тут же содрогнуться в омерзении и тошноте.

В воскресенье мастер, словно бы прогуливаясь, повел его вдоль забора.

— Вот здесь, — показал он глазами на укороченный столб «запретки» между туалетом и столовой. — Проволока тут на соплях держится, ребятня постаралась. Доска за сортиром лежит, поставишь и — коротким разбегом вверх. Возьми лучше одеяло, с матрасом возни много. Сложишь вдвое, лучшей подставки не надо, стекло здесь мелкое, байку вдвое не пробьет...

— А отвод?

— Пацаны начнут сразу после отбоя. Всё будет в лучшем виде. Как только запоют и надзор-служба хай подымет, рви смело, до утра не рхнутя.

— Гора с горой. — Мастер отвернулся, и глухой голос его надломленно дрогнул. — Не держи на меня зла... не я — первый, не я — последний.

Сам знаешь, жизнь такая: кто — кого, дави крайнего.

И прошел вперед мешковато и торопливо, словно постарев сразу на десяток лет.

Вязкие южные сумерки, медленно сгущаясь, обволакивали окрест. Душная ночь стягивала к зениту свой плотный, точно пробитый острыми звездами полог. За высокой глинобитной оградой затихал разомлевший от зноя город. Была бы только ночка, да ночка потемней!

Выскользнув после отбоя в зону, Влад с одеялом под мышкой затаился в углу уборной в ожидании обещанного сигнала. Тревожный азарт перехватывал ему горло, кровь стучала в висках, перед глазами плавали радужные круги, и даже запах, источавшийся вокруг него, казался ему сейчас бесподобным. Поистине всякая свобода стоит своей воню!

Ребята не подвели. Не прошло и получаса, как над противоположной частью зоны взметнулся дразнящий манок песни: «Наверх вы, товарищи, все по местам, последний парад наступает...» Хор был не слишком строен, зато голосист выше всякой меры: братва старалась на совесть. С минуту зона, словно прислушиваясь, не почудилось ли? — молчаливо таилась. Первой залившимся свистком откликнулась вахта. И сразу же пошло, поехало! От барака к бараку, будто по растревоженным ульям, прокатился одобрительный гул. Собачий лай густо перемешался с топотом кованых сапог. Заваривалась классическая лагерная «буза». Путь оказался свободен, теперь никому не было до беглеца никакого дела.

Остальное Влад проделывал, словно во сне: зыбко, но целеустремленно. Забросил в «запретку» одеяло и доску. Нащупал лаз. Продрался сквозь него. Перекинул одеяло через торец стены. При-

ставил к ней под пологим углом доску. Разбежался. Повис на торце. Подтянувшись, лег грудью на спасительную байку и последним усилием всего тела перелетел по ту сторону забора: свободен!

При падении Влад больно ударился локтем о камень и завалился было на бок, но тут же вскочил и, уже не чувствуя боли, бросился в сторону черной вязи саксаульного склада, затем, чуть правее, к туркменскому кладбищу. Лавируя между могильников, он углублялся во тьму, а из зоны, вслед ему, как клич и напутствие, под ругань и топот выплеснуло яростное ребячье торжество: «Врагу не сдается наш гордый «Варяг», пощады никто не желает...»

И когда уже не оставалось дыхания и земля уходила из-под отяжелевших ног, в чернильной темноте возник и поплыл к нему знакомый до слез голос:

— Владька!

— Серёга!..

И в этом благодарном выдохе выразилась вся мера его преклонения и признательности.

В эту же ночь попутный товарняк унес их вглубь Азии, навстречу ее сумасшедшей весне.

Прощай, Каракумы!

4

Воспоминание о Средней Азии отложилось в его памяти одним цветовым пятном: нежно-зеленое на голубом с ослепительными вкраплениями белого. И все города рифмуются: Коканд-Самарканд, Андижан-Наманган, Ташкент-Чимкент, а в них — устремленные ввысь минареты и башни над убогой бескрылостью плоских кровель, а за ними — ровная, как стол, земля, сплошь в сухожилиях

жаждущих арыков. И всё это залито прозрачным и вязким, словно желе, зноем, от которого до обморочности сладко кружится голова. Поистине чудеса с Аладином могли происходить только здесь.

Бухара! Глинобитный термитник в редких блёстках дворцовой глазури нестерпимо синего цвета. Гостеприимное вместилище самых непостижимых болезней. Райские кущи для блох и скорпионов. Даже как-то не верилось, что именно в этом городе слагались сладчайшие газели Востока и волшебные пери сводили с ума царственных отроков. Слова «шербет», «кумыс», «мускат», звучавшие когда-то маняще и загадочно, вдруг обнажили свою незамысловатую суть. Шербет оказался тепловатой, на вкус подслащенной водицей, кумыс отдавал затхлой кислятиной, а от муската, с его приторной горечью, сводило скулы. В пыльных лабиринтах запутанных улочек наглухо замурованные от посторонних глаз жилища источались зловонными подтеками, и резкий запах их смешивался с тленом неубранной падали. Крикливая нищета лезла тут изо всех щелей, хвастливо выставлялась своими пестрыми рубищами, утверждала себя открыто, радостно, напоказ. В ней, в этой нищете, сквозило что-то вызывающе обнаженное. Казалось, само Всесветное Нищенство выкинуло здесь свой ветхий, но радужный флаг, заявляя право на признание и суверенность. Поэтому особенно нелепо выглядели на фоне обшарпанной обмазки домов блистающие стеклом вывески: «ГАПУ», «КРАСНЫЙ КРЕСТ», «ГОРТОРГ», «САНЭПИДЕМСТАНЦИЯ». Каждый украшает себя как может. Нас, извините, возвышающий обман.

После утомительного блуждания среди приземистого жилья город вознаграждал путника гулким гостеприимством базара. О, этот бухарский

базар! В голубом чаду кузнечных мехов и поварских жаровен плыла, взмывала, кружилась несметная стая тюрбанов и тюбетеек, папах и платков, фуражек и шляп. Запах сена, сырости и пота, настоящий на кизячном дыме, шибал в нос, надолго отбивая обоняние. И над всем этим, продираясь сквозь звуковую какофонию, тек надсадный мужской речитатив под баян: «Напрасно старушка ждет сына домой, ей скажут — она зарыдает...»

Серёга, не раздумывая, потянул Влада прямо туда — на этот голос: бродяжий инстинкт сработал лучше всякого компаса, указывая направление к желанному маяку.

Голос принадлежал слепому матросу с тремя желтыми нашивками тяжелых ранений на бушлате, окруженному изрядной толпой явно эвакуированной оснастки. Когда они подошли, тот уже отставил баян в сторону и, разложив на коленях пухлый фолиант системы Брайля, водил по раскрытой странице заскорузлым пальцем:

— ...Придет он к Татьяне в сентябре... Тебя ведь Татьяной зовут? И сам он у тебя блондин, под самым ухом родинка, отроду тридцать лет. Правильно?.. Петром зовут?.. Вот видишь, книга моя никогда не сохнет, в ней вся судьба твоя до точки записана. Клади полсотни, не жалея для такого дела!.. Ранетый он легко, без особого себе ущерба, мушинской марки не уронит. Так что жди, молодичка, к осени будет... Книга эта не сохнет, она мне от фронтового товарища досталась, перед смертью мне передал, а ему еще дед со старого времени оставил, ей цены нет. Полсотни — не деньги, подходи, кто хочет...

Женщина, стоявшая перед ним, краснела и бледнела, изо всех сил стараясь вникнуть в смысл его прорицаний, и на изможденном, цвета талого

снега лице ее надежда сменялась сомнением и вновь вспыхивала надежда.

Толпа вокруг заинтересованно гудела:

— Как в воду глядит!

— Я Петьку с малолетства знаю, рыжий он и родинка под самым ухом, вот те крест...

— Слепец сердцем видит.

— Это у него после контузии дар такой.

— Повезло бабе.

— Чему быть — того не миновать!

— Риск — благородное дело...

Серёга только слегка коснулся плеча матроса, только коснулся, но и одного этого прикосновения оказалось достаточно, чтобы тот принялся деловито складывать орудия производства: захлопнул книгу, поднялся, подхватил баян и, равнодушно пренебрегая возникшим вокруг него недовольством, бесцеремонно растолкал толпу.

— Хиляй за мной, — походя кивнул он Серёге и подался с базара. — Здесь близко.

По дороге слепец небрежно сунул Владу в руки свою волшебную книгу, а сам, доверительно подхватив Серёгу под локоть, бодро зашагал вниз по извилистой улочке. Поспешая вслед за маячившей впереди бескозыркой, Влад искоса рассматривал увесистый том, водил пальцем по шершавой поверхности страниц, пытаясь хоть смутно, хоть приблизительно разгадать ее тайну. Книга молчала, и он было уже захлопнул ее, но в последнюю минуту на внутренней стороне обложки ему бросилось в глаза набранное мелким шрифтом клише выходных данных: «Николай Островский. 'Как закалялась сталь'. Москва. Издательство 'Просвещение'. 1942 год». Скажи мне, кудесник, любимец богов, что сбудется в жизни со мною?

Коленообразная улочка, в которую они свернули, вывела их в глухой тупичок с единственным

дверным проемом в саманной стене. Матрос трижды тихонько свистнул, и калитка тут же, словно по волшебству, отворилась, впуская их вовнутрь.

— Заваливайся. — Пропуская гостей мимо себя, матрос сдернул очки и, ослабившись, общнически подмигнул Владу веселым глазом. — От солнца ношу, врачи прописали.

Перед ними открылся довольно просторный двор с высохшим и поросшим сухой плесенью бассейном посредине. Галерейка, сверху донизу затянутая виноградной лозой, опоясывала всю внутреннюю сторону дома. Мощённая кирпичом дорожка вела в глубину двора, к порогу, где в тени навеса зиял, словно отверстие в преисподнюю, дверной провал. Оставь надежду всяк сюда входящий!

Впустившая их женщина в чадре знаком указала им куда-то в сторону боковой части галерейки. Матрос понимающе кивнул и подался вслед ее движению, в темь виноградника, приглашая гостей следовать за ним.

После резкого свечения улицы полумрак под навесом показался Владу почти непроницаемым, и только немного попривыкнув, он разглядел расprostертого здесь на горке ватных одеял одутловатого, с лысиной в полголовы человека в одном исподнем, смотревшего на них из-под отечно припухших век.

— Кого привел? — едва шевеля спекшимися губами, спросил тот. — Опять чернушники?

— Серый это, — засутился, засучил ногами матрос. — Ты что же, Васюта, своих не признал?

Тот слегка оживился и даже попробовал приподняться, но тут же снова откинулся навзничь:

— А-а... Давай, корещ, приземляйся, кирять будем. Я тут один совсем очумел... Вот вторую неделю не просыхаю... От этой жары мозги совсем высохли. — Он повелительно повел тяжелым ве-

ком в сторону матроса. — Ну-ка брысь, скажи-ка там Фатиме...

Матрос мгновенно слинял, и вскоре та же в чадре женщина бесшумно и споро обставила их пиалами, принесла и разложила перед ними лепешки, сушёный урюк, крынку с мацони и сразу после этого исчезла, не проронив ни слова.

Пили и закусывали молча. Первым заговорил хозяин:

— Дела здесь вшивые, кирюха, народ копейный, только по заплаткам первое место держут, всех на свете обставили. — Он словно протрезвел от выпитого, речь его обрела осмысленную жесткость, глаза округлились, испуская на собеседника сухой блеск. — Так скушно, так скушно, Серый, что в пору чернушником заделаться, в три листика заезжих фраеров обирать.

— Дела теперь везде одинаковые. — Серёга по обыкновению не пьянел, только наливался бледностью и злостью. — Голодуха кругом, скоро красть будет нечего.

— Что говорить, дожила Россия, хлеба и того нет.

— Засуха.

— Хреновому танцору ноги завсегда мешают. Я, брат, сам из деревни, хорошему хозяину засуха не помеха. Только теперь у нас заместо хозяина большой ученый сидит, ему не хлеба — ему крови подавай, людскую убоину уважает. Сел и погоняет страну овчарками.

— У него не две головы, помрет когда-нибудь.

— Во-во! На вашей бы холке воду возить, не люди — тягло, только наваливай. Хошь с кашей ешь, хошь раком ставь. Нагляделся я на вашего брата по командировкам, с души воротит...

Тишине, возникшей вслед за этим, казалось, не будет конца. Вечернее солнце струилось сквозь

виноградную лившу, пятная золотом лица и предметы. В недвижном воздухе гулко роились голоса и звуки очнувшегося от дневной спячки города. От земли, от досчатого пола, от корней кручёных лоз тянуло слабым подобием прохлады. Хотелось сидеть вот так и не двигаться, бездумно всматриваясь в надвигающиеся изо всех углов сумерки.

— Пей, кирюха, всё равно нехорошо. — Васюта потянулся к бутылке, луч света скользнул по его лицу, и оно оказалось куда моложе и мягче, чем это увиделось с первого взгляда. — Вдвох нам с тобой веселей будет, одна голова хорошо, а две — лучше. — Опрокинув пиалу, он пристально, словно впервые увидев, уставился в сторону Влада. — А это кто у тебя?

— Малолетка... Со мной бегают. Владом зовут.

— Приспособил, что ли, — откровенно хохотнул тот, — балуешься свежатинкой?

Кровь бросилась Владу в голову: так вот, значит, за кого его принимают рядом с Серёгой! Горький комок обиды, свернувшись в горле, удушливо раскалялся. Постыдный смысл сказанного беспощадно обнажил перед ним двусмысленность и непрочность его положения. Ему и раньше приходилось ловить на себе брезгливые и насмешливые взгляды окружающей братии, но он до поры не придавал им значения. Только теперь, застигнутый врасплох откровенностью Васюты, Влад впервые осознал, риску какой славы он постоянно подвергался. И слезы ожесточения подступили к его глазам: нет, нет, никогда, только не это, лучше быть одному, всегда и всюду одному, чем прослыть таким, от этого уже не отскребешься ни в жизнь!

Его состояние, видно, передалось Серёге. Тот в темноте молча и ободряюще толкнул Влада локтем, а вслух сказал:

— Не любитель, баб хватает. — И тут же перевел разговор на другое. — Значит, считаешь, сквозить отсюда надо?

Сумерки вяло отозвались:

— В Ташкент махнем... Там у меня есть кой-чего на примете. Если выгорит, гульнем тогда по буфету... Бери-ка вот одеялку из-под меня и... И пацану тоже... Ишь, сопит! Обиделся, видно, малолетка... Я ведь так, не со зла... Язык без костей, вот и мелю... Ложись, братва, с утра виднее будет...

«Ташкент»! С этой мыслью Влад и уснул, а когда проснулся, во дворе занималось раннее утро, сулившее дальнюю дорогу и новые события.

Бухара, Бухара, Бухара!

5

Ташкент — город хлебный встретил их совсем неласково. По городу густо бродила разноплеменная рвань, и узбекская речь тонула в звучном смешении тарабарского жаргона. Наступал самый разгар долгой голодухи сорок шестого года. Всё, что можно было украсть, было украдено до них. Везде, где они пытались укрыться, держали круговую оборону свои замкнутые кодлы. Нас не тронешь, мы не тронем, а затронешь, спуска не дадим. Стреляем, как говорится, без предупреждения.

После долгих поисков вездесущий Васюта нашел-таки хату в старом городе, но она оказалась так убога и ненадежна, что затевать отсюда какое-нибудь предприятие было делом абсолютно безнадежным.

— Да, — сокрушенно вздохнул Васюта на первом совете, — попали в непонятную, локшовой не придумаешь.

Но на ночь глядя он всё же подался в разведку.

Лежа в темноте на каких-то бодылях и чувствуя рядом с собою трудное дыхание Сергея, Влад с каждым новым воспоминанием, постепенно заполнявшим душу, проникался к другу благодарным сочувствием и наконец не выдержал, излил себя:

— Знаешь, Серёга, раньше я один любил... Одному лучше, никто права тебе не качает... А с тобой сошелся, теперь не могу... Без тебя мне хана... Нету жизни... Ты не как все, не глотничаешь и вообще справедливый...

Тот засопел рядом насмешливо, но добро:

— Давай, давай, малолетка, раскальвайся до задницы, чтоб я в полный кайф вошел. — Легонько толкнул плечом. — Лады, пацан, замётано. О любви не говори, о ней всё сказано.

— Ей-Богу, Серёга!

— Ну-ну...

На этом и закончилось в ту ночь их объяснение, но слово было сказано, и оно — это слово — накрепко связало их до самого того знойного дня в подвале Таганской тюрьмы, когда конвой разделил их разом и навсегда...

Вернулся Васюта и, обдавая темь сивушным перегаром, победительно хохотнул:

— Подъем, паханы, работа будет! Особая!

Из-за его спины пьяненько хихикнул почти детский девичий голос:

— Гуляем, мальчики!

Сердце у Влада, казалось, подкатилось к самому горлу и взбухло там жгучим комком. То, о чем его однолетки, сходясь на ночлег, рассказывали друг другу с томительными придыханиями и захлебывающимся восторгом, вдруг подступило к нему вплотную, вызвав в нем душный, неведомый

дотоле жар. Тот давний и стыдный опыт в эвакуации только подогревал его воображение. В предчувствии неизбежного голова Влада легко и безвольно кружилась. Что-то там внутри у него еще чуть слышно сопротивлялось, но бунтующая плоть уже торжествовала в нем, властно заглушая едва пробившийся к свету хрупкий росточек стыда и целомудрия. Всю последующую жизнь эта разрушительная слабость будет подтачивать его, пока однажды, уже на излете, ему не откроется через женщину, которая придет к нему, чтобы остаться с ним навсегда, вся бездна падения, от какой он будет ею спасен. «О доблестях, о подвигах, о славе я забывал на горестной земле...»

Темнота вокруг Влада сделалась как бы ватной, до того стесненно стало ему дышать и двигаться.

— Я во двор пойду лягу, — выдавил он, поднимаясь. — Жарко здесь, как в бане.

— Огонь бы засветить, — уже выходя, услышал он голос Серёги, — не видно ни черта.

— Мимо рта не пронесешь, мимо губ не попадешь. — Васюта скабрезно хохотнул, и сразу вслед за этим послышалось бульканье разливаемой жидкости. — Ты, глазастый... Пей!

Тихий пьяненький смех госты жгучим дуновением провожал Влада в ночь...

У порога он бросил на землю свою телогрейку, лег и провально, с россыпью звездных туманностей небо вознеслось над ним, словно сказочный шлейф, и он отрешенно забылся под этой умиротворяющей бесконечностью. Феи воспоминаний закружились у его изголовья. Дух Сокольнической слободки воспарил в нем, уносясь вместе с ним в царство уличных тополей на родимой окраине. Где-то там, в их тесной комнате, в доме посреди неба мать укладывала сейчас его крохотную

сеструху — Катюку, а тётка ревниво следила за возней золовки со своего места на диване, и тонкие губы ее при этом беззвучно шевелились: неприязнь изводила тётку с утра до вечера.

Отсюда, с расстояния в тысячи километров, удвоенного тоской и безысходностью, мгновенный и обжигающий кадр этот казался ему почти идиллическим. Господи, как, какими судьбами оказался он здесь, под этим душным и необъятным небом, среди песков и арыков, в краю, где к насыпям великого Турксиба стекаются земли двух континентов? Если бы ему знать в ту ночь, какие горькие шутки еще выкинет с ним его судьба, он бы не сетовал понапрасну на свою тогдашнюю долю, а возблагодарил Бога за эдакую милость! Не зывай, сказано, к справедливости Господа, если бы Он был справедлив, ты был бы уже наказан! Молись, мой мальчик, молись!..

Скрипнула дверь, тень от сутулой фигуры Серёги изломанным пятном отложилась на ровной, как стол, поверхности двора и тут же, резко подломившись, свернулась около Влада.

— Спишь?

— Не.

— Спи, не слушай.

— А я и не слушаю.

— Говори, говори...

— Гад буду, не слушаю!

— Ну-ну...

— Говорю тебе...

— Ты, малолетка, к этому не привыкай. — Его рука, чуть подрагивая, легла Владу на голову. — Это только раз попробовать и — покатишься. После спирта первое дело — бабы, а где баба, там польнь, оскомина одна, еще дурную болячку схватить. Человек, брат, это звучит гордо, пока у него не провалится нос. Баба у человека должна быть

одна, так ему на роду написано. Сколько ни про-
буй, сколько ни меняй, только истратишься зря,
себя потеряешь. Первая и есть твоя, другой не
будет, это, брат, закон.

— А у тебя есть?

— У меня? — Ладонь его безвольно сосколь-
знула к плечу Влада. — У меня-то есть, да не
укусишь, далеко отсюда. — Голос Серёги страстно
пресекался и завибрировал. — Она у меня не жен-
щина — королева! Мне, доходяге, с нее только
пыль сдувать положено, а я туда со своими граб-
ками!* Нет, не по моему суконному рылу такой
подарок, не хочу я ей жизнь портить. Хоть я и
вор залётный, а совесть имею. Эх, Вера, Вера, на
какой это узкой дорожке схлестнулся я с тобой!

— Не вернешься к ней, значит?

— Нет, малолетка, не вернусь, у меня своя
дорога, у ней — своя, гусь свинье — не товарищ.

— А, может, она тебя ждет.

— Подождет, подождет — перестанет, жен-
ская душа, как вода, у первой запруды остано-
вится.

— Ты же ее любишь?

— Что ты в этом, малолетка, понимаешь! —
Он даже зубами скрипнул от досады. — Вот когда
тебя колесом по наждаку протащат до второго
мяса, тогда у тебя мозги на этот счет малость про-
чистятся... Спи давай...

— Я понимаю...

— Спи, говорю!

Влада подмывало сказать другу что-то такое,
от чего тот почувствовал бы всю меру его во всем
этом понимании и, может быть, подобрел бы, но в
это время на пороге выявился громоздкий силуэт
Васюты:

* Руками (жарг.).

— Иди, Серёга, твоя очередь. — Он постоял, покачался и, не получая ответа, склонился над ним. — Кимаришь, что ли?

Серёга даже не шелохнулся:

— Не хочу, Васюта. Без надобности.

— Боишься — отвалится? — пахнула тень винным перегаром. — Сдавай... на резину, двадцать копеек пуд... Может, малолетку побалуем, пускай приучается, дело стоящее.

— Не трожь, Васюта, спит он.

— Как же, растебай ширинку шире, спит! — Он легонько ткнул Влада кулаком под бок. — Знаю я эту мелюзгу... Давай, пацан, действуй, покажи шалаве, почему нынче на базаре пряники.

— Не трожь, говорю, Васюта, по-хорошему говорю.

— Чего! — Тот угрожающе выпрямился. — У тебя что: один глаз лишний или две головы? Это ты меня, Васюта, на понял берешь? У тебя что: мозга за мозгу зашла, авторитетного тянуть вздумал?

Серёга медленно, будто нехотя, поднялся, и Влад увидел, как две тени мгновенно слились в одну и двинулись вглубь двора. Затем она — эта тень — вдруг замерла, и он услышал почти шепотный, но на пределе ожесточения разговор:

— Хвост поднимаешь, порчак? — хрипел Васюта. — Жить надоело?

— Не пугай, Васюта. — В тоне Серёги сквозила снисходительная ленца, — я ведь пуганный, не боюсь.

— Тогда отдержись, падаль.

— На широкий лоб надеешься?

— Я тебя по закону бить буду, за порчу.

— Пытай счастья...

Удар был как шлепок по воде — упругий и хлесткий. Тень на какой-то миг разомкнулась,

чтобы тут же снова слиться в плотное, но резко изменчивое пятно. Надсадное сопение перемежалось треском раздираемой одежды, глухими ударами и скрипом подошв по песку. Но вскоре пятно стало слякотно отекать книзу и, помаячив еще некоторое время посреди двора, исчезло, выявив в едва уловимом свете далекого восхода два извивающихся в ожесточенном объятии тела. Васюта наседал, одолевая слабейшего Серёгу. Силы оказались явно неравными: схватка с таким противником была ему не под силу, болезнь дала-таки себя знать. Оседлав его окончательно, Васюта уже в полном исступлении молотил напарника, беспамятно при этом приговаривая:

— Отдержись, курва... Отдержись за порчу... Рога больно длинные выросли, я обломаю... Не таким обламывал... Век помнить будешь, как на Васюту хвост подымать...

До этого момента Влад наблюдал за происходящим как бы в забытьё, страстно веря в победу Серёги, но едва лишь тот очутился под Васютой, он, словно подброшенный вверх сорвавшейся с упора пружинной, кинулся в драку. Но стоило ему лишь коснуться Васюты, как отброшенный резким ударом локтя в живот он волчком закружился по двору, корчась от боли и тошнотворного головокружения.

— Эх вы, дерьмо-люди, — словно из-за стеклянной перегородки к нему пробился голос Васюты, и тут же, сквозь кровавые круги в глазах, он разглядел удаляющуюся к воротам всю тяжелую фигуру, — на своих кидаются... Не стало жизни честному вору, порча всё заела. — И откуда-то уже из-за ограды донеслось с надрывным всхлипом: — За что боролись!..

Первым поднялся Серёга.

— Ладно, вставай, двинули. — На его изможденном лице явственно проступали черные кровоподтеки. — Теперь его сила, придет время — посчитаемся... Иди собирай манатки.

Когда Влад с судорожно колотящимся сердцем открыл дверь, девчонка спала на единственной в их жилище койке, неловко подогнув локоть под голову. В первых бликах восхода полустертая краска на ее детском лице выглядела аляповато и невсамделишно. Казалось, это отдыхала школьница, классная заводила, егоза, после веселого карнавала или представления. Словно замороженный, боясь ее разбудить, стоял Влад над нею, и в его затихающем сердце робким цветком прорастала нежность. Его неодолимо подмывало желание укрыть ее, коснуться ее разметавшихся волос, сесть у ее изголовья; и он поддался бы искушению, если бы в последнее мгновение его не опаматовал голос Серёги из-за двери:

— Не копошись, малолетка, Московский прозеваем!

Прощай, пропащая Дюймовочка Ташкента! Его еще помотает по свету, посечет на семи земных ветрах, покружит в беличьем колесе повседневности, прежде чем он сядет за стол, чтобы вспомнить о тебе, но, едва вспомнив, ему уже не избыть тебя из своей памяти, из своей жизни, из своей судьбы. Отныне ты уже навсегда вошла в него, отстоявшись в нем томительным сожалением: а вдруг эта и была та первая и единственная, которая предназначалась ему в Книге Судеб?..

Этого броска в Москву Владу не забыть до гробовой доски. Скорчившись в три погибели, он лежал на собачьем ящике Московского-скорого, и все сквозняки Азии трубили ему в уши свои разбойные песни. На больших станциях их ссажива-

ли, били, гоняли вдоль составов, не давая садиться, но в последнюю минуту они каким-то чудом всё же цеплялись за поручни подножек и летели дальше, навстречу тихим лесам России. О пище не могло быть и речи. За все шесть суток пути они ели лишь однажды, когда какой-то кореец из спального-мягкого высыпал Владу в шапку целый пакет заплесневелого печенья. Правда, потом их долго и зло рвало, но иллюзия голодной передышки помогла им кое-как дотянуть до цели.

В конце концов, они, грязные и отощавшие, увидели ее — эту самую столицу, и, выйдя на Казанском вокзале, Влад впервые после такого долгого перерыва вдохнул дымный, но до слез сладостный воздух — Москва!

6

Днем они еще мыкались по городу, где-то искупались, где-то поели, а уже к вечеру Серёга нашел «хату» у одного стрелочника на Москве-Сортировочной. Стрелочник жил одиноко в едва приспособленном под жилье четырехосном пульмане, врытом в земляной фундамент. Одну половину вагона занимали трехъярусные, наверное, еще с войны нары, в другой размещалось его собственное нехитрое хозяйство: колченогий стол, кое-как застланный топчан и две табуретки. Был он высок, худ, походил на кавказца, хотя говор его не оставлял сомнений в его чисто русском происхождении. Выглядел этот стрелочник лет на шестьдесят, хотя выдавал себя за сорокалетнего. Принимая их, он без обиняков продиктовал свои условия:

— Жить тише воды, ниже травы, приходите домой затемно, песен не петь, громко не разгова-

ривать. Здесь кругом стрелки крутятся, накроют — с меня голову съмут, а вам подписка... Ясно?

— Да, папаша, — не удержался, съязвил Серёга, — выходит, шаг влево, шаг вправо считается побег, как на лагпункте.

— Не хочешь — не держу, — невозмутимо отозвался тот, — и так себе дороже...

Так началось их существование в жилом пульмане Москвы-Сортировочной. Не Бог весть какое, но впервые в их совместных скитаниях — стабильное. Днем они промышляли у трех вокзалов, на сносную жизнь добывать удавалось, порою им выпадало даже шикануть в какой-нибудь столовой с пивом для Серёги и фруктовой Владу на третье, а к ночи измотанные, но довольные друзья возвращались в свое четырехосное жилище, и там, в ночной тиши, прерываемой только стуком колес и гудками маневровых паровозов, между ними начинались бесконечные разговоры, что называется, за жизнь.

— Эх, Владька, мне бы хоть какую-то ксиву* законную заиметь, бросил бы я тогда всю эту собачью жизнь к чёртовой бабушке, так надоела, что в пору вешаться!

— Поехал бы тогда к ней? — ревниво подзадоривал его Влад. — К этой своей крале?

— Вылечился бы — поехал. — Тот сразу становился предельно серьезен, и даже в темноте Влад чувствовал, как твердеют чахоточные скулы друга. — Не может того быть, чтоб не приняла!

Покоренный страстью его убеждения, Влад великодушно сдавался:

— Тебя да не примет!.. Да кто она такая!

Друзья умолкали, сиюминутная страсть отлетала от них, и каждого брала его собственная

* Ксива — документ (жарг.).

мысль, уводя в свои, недоступные другому, пределы.

Всегда, в любую минуту, стоило Владу остаться наедине с собой, он думал о доме. До него — этого дома — было две остановки езды от тех самых трех вокзалов, где они с Серёгой крутились с утра до вечера. Всего две остановки на четвертом трамвае. Находилось и время, когда от безделья ему некуда было себя девать, но вопреки страстному, почти до головокружения, желанию, он всё никак не мог решиться, всё откладывал неизбежное на после, на потом.

Но однажды Влад всё же решился. Улучив минуту, когда Сергей встретил знакомого залётку из Ашхабада и оставил его одного, он сел на эту самую злополучную «четверку», и трамвай, скрежеща и позванивая, помчал его к родимому порогу. Красносельская. Гавриков переулок. Пивзавод. Мост. Салициловка. И вот она, вот обшарпанная, но знакомая до сердцебиения киношка «Молот». Поворот, за поворотом тополияная стрела Маленковки. Двадцать пятый магазин. Остановка.

Влад нашел в себе мужество, чтобы сойти, но преодолеть расстояние Старослободского переулочка, соединявшего эту улицу с родимой Митьковкой, он так и не смог. Он боялся себя, боялся, что не выдержит и предаст Серёгу, и свое прошлое, и свое будущее, каким видел это самое будущее в своих лучших снах. Прощай, Митьковка, прощай еще раз, ты еще дождешься меня с победой! С победой ли?

Только мимо Сокольников Влад пройти не захотел, это стало бы выше его душевных возможностей. Маленковская вывела Влада прямо к первому боковому входу, рядом с которым он и отыскал проделанный им же заветный лаз. Дальше Владу можно было бы завязывать глаза: вся сумасшед-

шая паутина здешних троп и тропинок отпечаталась в его памяти, наподобие крупномасштабной топографической карты.

Найти ли, предчувствие ли повело Влада в этот ранний час на шахматную станцию, но он вышел именно туда, и здесь, около занятого играющими столика, в одном из болельщиков узнал Юрку-шахматиста из двадцать седьмого дома, и лишь тут выдержка изменила ему.

— Юрка, — одними беззвучными губами позвал он. — Здравствуй... Не узнаешь?

Тот сначала непонимающе уставился на него, сиюсья угадать в подозрительном бродяжке хоть что-то знакомое, потом в задумчивом лице его появился ответ их общего детства: интеллигентный Юрка всегда преклонялся пред плебеем из соседнего дома, и он на слабых ногах двинулся к неожиданному гостю:

— Ты насовсем?

— Нет, не насовсем, Юрка.

— Домой зайдешь?

— Ты что!

— Ну да... Конечно... Я понимаю... Может, тебе принести что-нибудь? Поесть или что еще?

— Не надо. — Снисходительная благодарность переполнила Влада. — Как там мои?

— Живут... Катя в школу пошла.

— Не говори там, что встретил, мать по милициям побежит, одно для них расстройство.

— Как хочешь, Влад, как хочешь...

Они еще потоптались друг против друга, поерзали загнанно друг по другу глазами, потом Влад, будто захлопнув что-то в себе, повернулся и уже на ходу кивнул:

— Пока.

Откуда-то издалека, из детства, из другой, потусторонней жизни до него донеслось жалобное и как бы извиняющееся:

— До свидания, Влад!.. До свидания...

Впервые на Сортировочную Влад вернулся в одиночку и Серёгу дома не застал. В ответ на вопрос стрелочник только угрюмо хмыкнул:

— Надо думать, у министра, на заседании. Международное положение обсуждают...

Влад забрался на нары и после долгих и мучительных воспоминаний о недавней встрече и обо всем, связанном с этим, незаметно для себя уснул...

Очнувшись и краем глаза взглянув вниз, он похолодел: за столом стрелочника сидел сам хозяин, Серёга и незнакомый Владу стрелок железнодорожной охраны. «Попались!» Но бутылка, стоявшая посреди стола, несколько успокоила, а разговор внизу вовсе обескуражил. Говорил стрелок, сидевший к Владу спиной:

— Подумаешь, делов куча — вагон вскрыть! Машина у подъездных путей ждать будет...

— Четвертак за это дают, начальник, — насмешливо и хмельно щурился на свет Серёга, — четвертак. А ты хоть год сидел?

— Не ищи дурее себя, парень! — ярился стрелок. — Не пугай вдову... видела. Бздишь — других найдем, охотников много, навалом.

— Ищи, — спокойно отрезал тот. — У тебя время — мешок.

— То-то и оно. — Стрелок сбавил тон. — Стал бы я с тобой торговаться, а здесь горит товар.

Серёге, видно, надоело игратья, и он совсем по-деловому перевел разговор на условия:

— Товар на машине — десять кусков на руки, и мы — в разные стороны. Вы — туда, я — сюда. С этим чмуром, — он кивнул в сторону стрелоч-

ника, — сами рассчитаетесь. — Но вдруг насторожился. — А если там не товар, а туфта?

Стрелок даже обиделся:

— Что мы, накладных не знаем? Или нам мозги заложило? А парнишка у тебя зачем? Подсадим в люк, посмотрит. Но точно знаю: индито!

Серёга задумался, сверху было видно, как выпуклый лоб его усиленно морщится, решая почти непосильную для себя задачу. Затем он опустил голову и, будто про себя, сказал:

— Только в люк, и в сторону. — Сергей поднял на стрелка тяжелые глаза. — Вы мне за пассажира головой ответите, в случае чего — всех за собой потащу.

— Сказано — сделано, — заторопился стрелок. — Через час сцепщики подадут вагон на шестой путь. Я вас там встречу. — Уже выходя в ночь, он обернулся, и Влад увидел хищное лицо на низко посаженной шее и белые, как у старого гуся, глаза, или они ему такими показались в тусклом свете лампы. — На шестом, не перепутай...

Сергей поднялся к Владу на нары, молча полюбнял его и на ухо спросил:

— Слышал?

Вместо ответа Влад сел и стал одеваться. Потом они, один за другим, спустились с нар и вышли в звездно августовскую темь. Где-то там над ними гудело и взрывалось мироздание, гибли и возникали галактики, вокруг них рождались и умирали города, взбухали и таяли горы, и никому во всей этой вселенной не было никакого дела до двух бродяг, идущих сквозь темь Москвы-Сортировочной навстречу своей жалкой гибели. Господи, прости нас маленьких и нечестивых за нашу собственную обездоленность!

На шестом пути друзей уже ждали. Изредка посвечивая фонариком, стрелок увлекал их между

составами до тех пор, пока где-то в самом конце эшелона путь им не преградила чья-то фигура.

— Здесь.

Сначала всё шло, как было задумано: Влада подсадили, и он, с трудом раскрутив проволоку люка, открыл этот люк и скользнул в темноту вагона. Там в крошечной тьме Влад наощупь определил род товара. Всё сходилось с накладной, которую поминал стрелок: рулоны тонкого сукна, в этом не могло быть никакого сомнения.

Но стоило Владу только повернуться обратно в свободный квадрат ночи впереди, как там, внизу, за тонкой стеной пульмана грозно обрушилась тишина:

— Руки вверх! Ни с места!

Не помня себя, ногами вперед Влад ласточкой выбросил свое тело через люк и, наверное, разбился бы, но чьи-то цепкие руки внезапно подхватили его и кто-то злорадно прохрипел над ним:

— Допрыгался, голубчик!

Но Влад всё же вырвался и побежал. По пути он падал и поднимался, и снова падал, раздирая в кровь лицо, руки, ноги, бока и голову. Сзади топали сапоги, хлопали выстрелы, вспыхивали и гасли ракеты, но всё это только подгоняло его: вперед, вперед, вперед! Неизвестно куда, но вперед!

Но судьба, судьба оказалась сильнее его и его ног, и его легких, и его жажды свободы. Он еще долго петлял под составами, перескакивал через десятки тормозных площадок, кружился по стрелкам, но когда ему показалось, что главное позади и вот-вот он канет в ночи, как иголка в стогу сена, перед ним вдруг возникла из ничего неосвещенная стена станции, и дальше пути не было. И тогда он просто сел на землю и заплакал. И сдался в первые же руки без сопротивления. Прощай, свобода!..

Влад заканчивал в эту ночь еще один, далеко не самый главный кусок своей жизни. Впереди его ожидали тюрьмы и пересылки, этапы и лагеря. В судьбе человека это, пожалуй, главное испытание, и дай-то ему Бог выйти из этого испытания не растоптанным.

Была ночь, и предстояло идти сквозь нее.

7

Цыганка с картами, дорога дальняя,
Дорога дальняя в казенный дом,
Быть может, старая тюрьма центральная
Меня, несчастного, по-новой ждет...

Звонкий мальчишеский голос взвивался и падал откуда-то с высоты четвертого этажа. Влад попытался было поднять голову в сторону голоса, но конвой уже подталкивал его в спину:

— Давай, давай, не задерживайся, еще на-смотришься вдоволь, время будет!

Отработанный годами механизм дальнейшего действовал с завидной безотказностью: обыск, регистрация, описание физических изъянов и особых примет, фотография в фас и в профиль, общая стрижка, недолгое путешествие по предварительным боксам и наконец, как награда за все треволнения предыдущего, — камера.

Влада втолкнули в одну из них, четырехместную клетку на третьем этаже с окном без «намордника»* — неписаная привилегия малолеток. Трое будущих сожителей Влада лишь оценивающе скосили глаз в его сторону и тут же снова поверну-

* Намордник — козырек, полностью закрывающий окно от обзора (жарг.).

лись к чернявой масти худому парню на койке у окна справа, который, вроде бы бездумно глядя в потолок, выводил высоким фальцетом незнакомый Владу романс: «День и ночь роняет сердце ласку, день и ночь кружится голова...» Но в искренности его модуляций чувствовалась явная напряженность: намерения новичка заметно беспокоили сейчас хозяина камеры.

Когда же Влад со спокойной деловитостью принялся застилать пустующую у параша койку, тот моментально прояснился и допел свою песню облегченно и с известным даже блеском. Потом, после короткой паузы, долженствующей позволить окружающим оценить его исполнение по достоинству, спросил новичка вразтяжку:

— Откуда, пацан?

— Издалека, — уклончиво ответил Влад, как и полагалось по неписаным законам своего теперешнего мира. — Отсюда не видно.

— Кешарист?*

— Родней не обзавелся.

— Везет мне на вас, залётных, — в сердцах сплюнул тот. — Скоро совсем на пайку перейду. Это мне корпусной нарочно подкидывает, чтобы с голоду пух. Куришь?

— Нет.

— И то слава Богу, хоть маленькая польза от тебя, на затычку больше останется.

Владу страшно хотелось спать, и, чтобы закончить разговор, он миролюбиво согласился:

— Об чем говорить!

В обнаженное окно рвалась душная ночь в крупную клетку, город еще жил своей обычной вечерней жизнью: звенели невдалеке трамваи,

* Кешарист — заключенный, получающий передачи (жарг.).

где-то совсем рядом, наверное, в соседнем доме, надрывался патефон: «Мой костер в тумане светит...»; покрикивали гудки пароходов на близкой Москве-реке. Существование для него разделилось теперь на «здесь» и «там», и это угнетало его сейчас более всего. Согревало только близкое соседство Серёги, обосновавшегося, как ему уже успели передать еще в боксе, этажом ниже. У него и в мыслях не было в чем-то винить друга. Наоборот, ему казалось, что промашку допустил он, Влад, не затаившись на месте во время тревоги, и тем самым отяготил Сергея еще одной статьей: за вовлечение несовершеннолетних. «Сидеть надо было, — засыпая, казнил себя он, — не трепыхаться!»

В новый для себя быт Влад всегда вращался быстро и безболезненно. С сокамерниками он сошелся, как говорится, без долгой приглядки, а они в свою очередь признали в нем своего и обходились с ним накоротке. Даже единственный блатной среди них — Валера, по кличке «Певец» — снисходил к нему как к равному.

Кроме «Певца», в камере напротив Влада лежал флегматичный башкир, который именно лежал, изредка ворочаясь с боку на бок и поднимаясь только за тем, чтобы поесть и оправиться или проделать всё то же самое, лишь в обратном порядке.

Вторым был «фабзяц» из Москвы со странным для его рязанского происхождения именем Лассаль, чем, видно, он остался обязан своему ушибленному идейностью родителю. Лассаль вечно хотел есть, но, не получая передач, он всё же выходил из положения: разбавлял кашу водой из бачка, что создавало ему, при его курином воображении, иллюзию полного изобилия.

Цельными днями «Певец» с Лассалем резались в карты, склеенные из слоеной газеты и клей-

меньше от руки, башкир спал, а Влад читал всё подряд, взятое из библиотеки на четверых, благо остальные никакой печатной продукцией не интересовались.

Серёга уже объявил через окно на всю тюрьму, что Влад-«Интеллигент» — его поделщик, со всеми вытекающими отсюда для его — Владова — авторитета последствиями, после чего «Певец» тут же перевел Лассалья к параше, а новичку предложил место около окна. Отказ Влада он воспринял как угрозу и, не стесняясь сокамерников, просто-напросто взмолился:

— Поимей совесть, «Интеллигент», «Серый» из меня клоуна делать будет, если узнает, что ты у параша спал! Будь человеком, Вовчик, не губи своего!

Владу ничего не оставалось, как перебраться к окну. Лассаль чуть поломался, но был быстро укрощен. Жизнь в камере потекла заведенным порядком. Так, наверное, бывает всегда при смене любой власти: сначала взрыв страстей-мордастей, потом короткое приспособление к новым обстоятельствам и, наконец, снова всё тот же, набивший за тысячелетия оскомину, быт. Всё суета сует и всяческая суета. Всё возвращается на круги своя. Урок, так, к сожалению, и не усвоенный политиками.

Главным развлечением в этом монотонном существовании была баня, которая, как говорится, имела место каждые десять дней. В бане камеры смешивались, и начиналась мена и сведение счетов. Надзиратели в синих халатах метались в этом крошечном бедламе, но порядку от их крика становилось еще меньше: голый человек почему-то делается окончательно бесцеремонным. Не участвуя в общем круговороте, Влад любил следить

за всей этой яростной суетой. Чего только здесь можно было ни увидеть!

Однажды среди пара и гомона он заметил парня лет шестнадцати, стоявшего под душем в трусах и в майке. «Чего это он? — подумалось Владу. — Больной, что ли?» И лишь подойдя поближе, Влад пригляделся и ознобливо вздрогнул: тот сплошь был заколот тушью в два цвета: майка зеленая, а трусы синие, с почти черным отливом. Много с той поры ему приходилось видеть татуировок, он и сам, слава Богу, не без греха, но той, что он встретил тогда в бане Таганской тюрьмы, ему уже открывать не доводилось!

Вскоре от Серёги ему доставили крохотную, с квадрат спичечного коробка, записку: «Владька, прошу, вали всё на меня, мне всё равно четвертак карячиться. Христом Богом прошу, тебе жить надо». Горькая обида захлестнула Влада: «Эх, Серёга, Серёга, друг называется, за кого меня принимает!»

Но через несколько дней Влада вызвал к себе корпусной. Громадного роста капитан (ёжик коротко стриженных седых волос, орденская планка и три нашивки ранения на выпирающей из гимнастерки груди) насмешливо оглядел Влада с головы до ног, хмыкнул:

— А я-то думал, матёрый, железнодорожный грабеж по делу, а ты от горшка два вершка! Ладно, не стой, сядь-ка вон туда подальше, разговор у меня к тебе. Мать есть?

— Нету, — взял Влад грех на душу.

— Отец?

— Убитьтй.

— Где?

— Где-где — на фронте!

У капитана чуть сморщилось лицо, как бы от какой-то горечи, но тут же задубленная медальность снова вернулась к нему:

— Эх ты! Отец на фронте, а сын! — Он безнадежно махнул рукой. — Я еще с тобой поговорю... А теперь по делу. Вот тут подельник твой в Верховный совет пишет, снисхождения к тебе просит, всё на себя берет. Давно его знаешь?

— Давно.

— Сколько?

— Давно, — утвердил Влад.

— Что за человек?

— Все бы такие — давно бы коммунизм построили.

— Хорош гусь! Много мы с вами, грабителями, понастроим, дай вам волю — всё бы разворовали.

— Он воевал, он больной, ему лечиться надо.

— Воевал, воевал! — снова посмурнел корпусной. — Воевал, так, значит, всё можно? Я тоже воевал, а вот не ворую.

— У него паспорта нет, куда он пойдет?

— Сговорились, гуси. — У корпусного, видно, отпала охота к разговору. — Ладно, иди. Бумаге его мы, как положено, дадим ход, только заранее предупреждаю, толку не ждите. Суд решать будет. Иди...

Ежик капитана нагнулся, и непонятно было, то ли капитан задумался, то ли рассматривает что-то перед собой на столе...

Выйдя из кабинета корпусного и сопровождаемый надзирателем, Влад, пожалуй, впервые увидел тюрьму по-настоящему в полном ее объеме: все ее четыре этажа, окруженные галереями, с натянутой между ними сеткой. Словно громадный улей, она мерно гудела сотнями голосов, заключенных в ячейки бесчисленных камер, в каждой из

которых напряженно вибрировала беда, отдаваясь своим чуть слышным звуком в самых отдаленных уголках России. Как это ни странно, но Влад впервые почувствовал, что он не одинок, что рядом с ним живет и страдает множество соучастников его маленького и, как ему казалось, никому не интересного несчастья. Каждый утешает себя, как может!

Узнав о причине вызова, «Певец» прямо-таки зашелся:

— Ну, Серый, ну, даёт! — Его распирало от восхищения и восторга. — С Серым я бы в огонь и в воду и в медные трубы! Теперь таких паханов раз-два и обчелся. Тебе ему ноги мыть и юшку пить, Владька, одно слово — справедляк!

Лассаль добавил и от себя:

— Сила.

Даже башкир оживился, сел, свесил ноги с койки, поморгал раскосыми глазами, с трудом сложил:

— Какой чалавек бывает!

На суд Влада провожали так, словно он отправлялся на собственные именины. «Певец» ему даже кепочку «малокозырку» свою подарил, которой, между прочим, дорожил, и очень.

— Увидишь, условно дадут. Я, брат, третий раз чалюсь, всю эту их еврейскую механику как свои пять знаю. Раз взрослый на себя берет, твое дело сопеть в две дырочки и слезу давить. Ты, главное, молчи побольше да кайся. Вот увидишь — условное, передача с тебя. Курева побольше...

Процедура выхода походила на игру «кто быстрее», только замочки за ним щёлкали: трак — щёлк, трак — щёлк, трак — щёлк. И надзиратели не выглядели такими угрюмыми, как в день приезда. Один даже — из стариков, эдакий с индюшачьей шеей — лениво обнадёжил:

— Глядишь, пацан, уже не вернешься сюда, бывает.

После серого света тюрьмы август показался еще ослепительнее, чем сквозь окно или на прогулке. Но путь Влада по летней земле был короток, не более трех шагов, которые отделяли его от ступенек воронка. Через минуту жестяная дверца с окошком на уровне лица резко захлопнулась за ним. Влада повезли в суд.

Тюрьма осталась позади.

Когда-нибудь он поймет, что суд этот — маленькая комедия с печальным концом, которую люди разыгрывают, чтобы почувствовать себя справедливыми, — не имеет ничего общего ни с милостью, ни с наказанием. Грянет час, и каждый, а в том числе и он, узнают, если им это будет дано узнать, что есть другой Суд, и у того Суда нет обвинителей или защитников. Человек начинает судить себя сам по Закону, дарованному ему от рождения, закону Совести.

Дай же ему, Господи, вынести тот Суд!

8

Процедура суда несколько обескуражила Влада. Он ожидал увидеть торжественный зал, битком набитый зрителями, а оказался в заплеванной комнатке с несколькими скамейками и столом под зеленым покрывалом на крохотном возвышении, наподобие школьной сценки. В зальце дремало несколько старух-завсегдатаек да двое пьяных, забредших сюда переждать жару. Скучно и жарко было всем: редким зрителям, седенькому старичку-судье, не по возрасту брюхатому прокурору, молоденькой защитнице, которая то и дело испуганно оглядывалась на подсудимых.

Главным свидетелем обвинения выступил тот самый стрелочник, у которого они жили и который степенно и обстоятельно топил их в течение битого часа. Затем пошел свидетель помельче, случайнее: путевой мастер, два милиционера из железнодорожного отдела и, наконец, стационарный весовщик, взявший у вокзальной стены плачущего Влада.

Судья задавал нелепые вопросы, важно при этом наклоняясь к осоловелым от жары заседателям — старушке-учительнице и усачу из кадровых рабочих, и те в ответ понимающе кивали головами.

Прокурор лишь тяжело дышал, наваливаясь животом на стол, и всё пытался изображать заинтересованное глубокомыслие, но получалось это у него весьма ненатурально, потому что жара опять же брала свое, и он лишь часто открывал рот, как рыба, выброшенная на песок.

И лишь молоденькая девушка — секретарь суда, черная чёлочка над узеньким лбом, искренне переживала все перипетии процесса, открыто болея за Влада: он, видно, казался ей совсем мальчишкой, случайно совращенным великовозрастным бандитом.

Первым в прениях сторон выступил, естественно, прокурор. Одышка предрасполагала его к краткости. Бегло обрисовав обстоятельства преступления и присовокупив к оным политическую окраску такового, он почел себя вправе (о, эта жара!) потребовать для обоих обвиняемых максимальный срок наказания по инкриминируемому им Указу от четвертого июня тысяча девятьсот сорок седьмого года, то есть старшему двадцать пять лет с последующим поражением в правах сроком на пять лет, несовершеннолетнему же, учитывая возраст и подверженность влиянию, десять лет без

поражения. Он тяжело опустился на стул, довольный удачно закругленным заключительным пассажем.

Речь юной защитницы мало чем отличалась от прокурорской. Она скорее даже не защищала, а доказывала свою прекрасную осведомленность в doskonaльном знакомстве с последними решениями партии и правительства по вопросам борьбы с расхитителями социалистической собственности. Но, видно, в конце концов чисто девичья стыдливость заставила ее в заключение напомнить суду о боевых заслугах одного и малолетстве другого из ее подзащитных.

В последнем слове Серёга произнес только несколько слов, от которых юный секретарь суда даже зарделась:

— Прошу суд проявить снисхождение к вовлеченному мной в преступную жизнь моему подельнику.

Влад от последнего слова отказался.

В перерыве конвойный милиционер, морщинистый старшина с «Красной звездой» на гимнастерке, протягивая Сергею «Прибой» сквозь окошечко бокса, сочувственно вздохнул:

— Наш брат фронтовик в дело пошел, скоро всех промелют. Кури, пехота, там не дадут.

Сергей хмуро отшутился:

— Отыдем.

Старшина не отстал:

— Малолетку только зачем втягивал, сопляк еще совсем, ему бы в школу ходить.

— Мой грех, папаша. — Сергей переговаривался с ним, стоя у самого окошка, и Влад, сидевший по соседству, слышал всё до единого слова. — Я и отвечаю.

— Ну-ну, — примирительно согласился тот и отошел, — только за это тоже прибавят.

— Семь бед...

Слышно было, как на лестнице деловито и со знанием предмета переговаривались старухи-завсегдайки.

— За милую душу впаяют!

— Шутка ли — грабеж?

— Мальчонку жалко.

— Они, эти мальчонки, и есть самые опасные.

Намедни вот...

Она не договорила — призывно задребезжал звонок. Друзья давно смирились со своей участью и потому шли наверх в сопровождении конвоя совершенно спокойно. Только Серёга не утерпел-таки, ободряюще подмигнул Владу по дороге:

— Не робей.

Зал встретил выходящую из совещательной комнаты троицу как и положено: стоя. Седенький судья, протерев вспотевшие очки, нацепил их и, опустив подслеповатые глазки, затянул заученным речитативом:

— Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики...

Требование прокурора было полностью удовлетворено. Конвой протрубил поход. Осужденные повернулись к выходу. Последнее, что увидел Влад, выходя в боковую дверь зальца, были наполненные слезами глаза юной секретарши суда.

Но для него наступила новая жизнь, и в ней, в этой жизни, уже не оставалось места для ответной благодарности.

После суда Влада везли отдельно, в боксе воронка, во избежание, как полагалось по инструкции, общения со взрослыми. Сидя в раскаленной

клетушке, он что есть силы прижимался лицом к решётке в надежде узнать мелькающие в дверном окошке дома и улицы. И действительно схватывал то угол Суцевского вала и Новослободской, то кинотеатр на Таганской площади, где неподалеку, на Больших Каменщиках, жила его дальняя тетка, у которой он иногда бывал вместе с матерью, то булочную на Краснохолмской набережной. Вот и всё, что ему довелось увидеть, прежде чем ворота тюрьмы снова задвинулись за ним.

Тон процедуры опять-таки отличался от двух предыдущих. Теперь уже с ним и вовсе не церемонились: первый же, к кому попало в руки его дело, презрительно поморщился:

— Червонец. В лагере и сгинет. — И брезгливо отодвинул от себя папку, словно это было по крайней мере сухое дерьмо. — Туда стервецу и дорога. Воздух чище будет.

Дальше — больше. Его пинали, подталкивали почему-то обязательно взащей, если разговаривали, то непременно матом. Он словно миновал какой-то незримый водораздел, за которым вообще перестал быть человеком. «Вот оно, — с горечью заключил он, — где начинается настоящее-то, раньше цветики, видно, были».

Ночью, когда его вели по подвальному коридору, он вдруг заметилдвигающегося ему навстречу в сопровождении надзирателя Сергея. Влад рванулся было окликнуть его, но в это время сзади последовал резкий окрик:

— К стене!

Влад уткнулся в стену, но в последнее мгновение всё же приветливо скосил глаз в сторону проходящего друга, и тут же нос его с размаху вплющился в стену:

— Не оборачиваться, сука!

Кровь залила Владу лицо, переносицу взломила боль, он закричал, и крик его в ту же минуту слился с бешеным ревом Серёги:

— Не трожь малолетку, мразь! Я тебя, пацаль Таганскую, на краю света найду! За что бьешь пацана? Курва, курва, курва драная, мне бы тебя, подлюку, на фронте встретить!

Влад слышал, как они крутили его, как били сапогами, как тащили по цементу, а тот всё кричал, всё кричал:

— Суки, суки, суки! Рот я ваш мотал, на пацанах отыгрываетесь?.. Влад, Владик, Владька, не забывай, ничего не забывай! Слышишь, прошу тебя, всё помни, за всё посчитаемся, будет наше время! Не забывай, Владька, у меня никого, кроме тебя, нету!..

И голос его канул, оборвался, стих, смятый надзирательским кляпом...

Ты слышишь, Серёга, он ничего не забыл и уже никогда не забудет, но за себя он простил им всё.

Ему не забыть, как стоял он на залитой светом сцене с чугунной от недельной пьянки головой, бессмысленно и жалко улыбаясь в заполненный премьерным сбродом зал и беззвучно плакал о своем прошлом, которое только что повторилось здесь, смонтированное памятью в короткое трехчасовое действие о тебе, Серёга, о твоей судьбе, какой он представил ее себе после вашего горького расставания в подвале Таганки.

Он назвал это действие «Жив человек», и чужие ему люди более или менее сносно разыграли его в небольшом театре, что на Малой Бронной. Но сколько бы убогим ни было случившееся зрелище в сравнении с твоей подлинной жизнью, оно всё же благодарно свидетельствовало о том, как

сквозь тьму и скверну бытия ты нес в своей душе, не извращая и не расплескивая, Божественный Дар Совесть.

Он почел бы себя навеки счастливым, если бы однажды, выходя на очередной поклон, среди сотен безмяннных лиц увидел твое памятное для него лицо и в безголосом реве услышал твой глуховатый, с болезненной хрипотцой голос:

— Лады, малолетка, выходит, мы тоже — не последние...

Но коли всё же, сам того не ведая, он мысленно прозрел твой конец и ты пал по приговору за отягощенный кровью побег, да упокоит Господь твою душу и да будет земля тебе пухом, а все неискупленные грехи твои он берет на себя.

Я сказал.

Владу определили пять суток строгого: четыреста граммов хлеба, раз в день баланда. Целыми днями до полного изнеможения ходил он из угла в угол и думал, думал, думал. Впервые оставшись наедине с собой, он как бы заново переживал всё уже ранее им пережитое. Что там ни говори, а ему было что вспомнить. Вариант каждого события он переигрывал по множеству раз, но всегда выходило, что самый первый и оказывался в конечном счете самым единственным. Четыре шага туда, четыре обратно — сколько же прошел он вот так хотя бы за первые трое суток? Влад испытывал голод и жажду, страх и отчаянье, боль и страдание, но ни разу, насколько он помнит сейчас, ему не пришлось испытать нужду в собеседнике. С тех пор Влад усвоил для себя одну сокровенную истину: человек, которому наедине с собой скучно, не имеет права называться человеком, значит, такой человек пуст и ничтожен и не такому дано вещее имя сосуда Божьего.

На четвертые сутки в камеру к Владу зашел уже знакомый ему корпусной.

— Не надоело?

— Что?

— Сидеть в карцере.

— Терпимо.

— Гордый. — В тоне капитана прослушивалась одобрительность. — Но порядок, брат, есть порядок: провинился — получай.

— Меня же избили и я же виноват.

— Ну уж избили! — Он отвел глаза. — Стукнули разок для порядка, здесь ведь, брат, не санаторий. На этап хочешь?

— Скорей бы уж!

— Слушай сюда, Самсонов. — Корпусной присел на краешек нар. — На этап я тебя отправлю завтра же. На хороший этап, в одну из лучших колоний, только напоследок хочу сказать тебе: бросай эту канитель, берись за ум, начинай учиться. Голова у тебя на плечах есть, я твой формуляр библиотечный смотрел да и так за тобой приглядывал. Из тебя большой человек получиться может, только руки и душу приложить треба. У меня у самого двое таких, задень меня шальная, может, на твоём месте были бы. Вот тебе мое последнее слово. А этому артисту, — он выразительно взглянул в сторону двери, — я мозги вправлю, как над мальцами силу показывать. — Корпусной встал. — Готовься, ночью этап. — И уже с порога: — Будь здоров...

Через минуту Влад уже слышал, как тот распекал «крестившего» Влада надзирателя:

— На мальчишку рука поднялась? У самого, видно, нету. Совесть, сержант, иметь надо!

— Мальчишка, мальчишка, а обзывается хуже взрослого. А я, между прочим, тоже человек!..

Разговор затих в конце коридора, а я вспомнил последние слова сержанта, читая через много лет рукописный рассказец веселого московского забулдыги Валеры Левятова, который я запомнил, а затем, после нескольких пересказов, и выгучил наизусть.

ДЕЙСТВИЕ РАВНО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ

— Рядовой Бокарев!

— Я!

— Ко мне!

— Есть!.. Товарищ старший лейтенант, рядовой...

— Отставить... Рядовой Бокарев!

— Я!

— Ко мне!

— Есть!.. Товарищ старший лейтенант! Рядовой Бокарев по вашему приказанию прибыл!

— Кругом! На месте шаг-ом марш! Рядовой Бокарев!

— Я!

— Встать!

— Есть!

— Сесть! Встать! Сесть! Встать! Сесть! Встать! Живее! Сесть! Встать! Сесть! Встать! Сесть! Встать! Сесть! Встать! Живее! Сесть! Встать! Рядовой Бокарев!..

А ночью солдат плакал, тихонько, чтобы никто не услышал. «Это жестоко! Я человек!» — шептали губы.

У офицера была жена. «Миша, сходи в магазин», — говорила она. И он шел. «Миша, у меня голова болит», — и он мыл посуду. «Миша, ты глуп, как пробка», — и он съезжился и делался похожим на побитую собачонку.

Жена часто уходила из дому. Офицер оставался один. Ему становилось жалко себя, и он бормотал, всхлиывая: «Это жестоко! Я человек!»

Его жена уходила не в театр. Его жена уходила к солдату Бокареву.

Солдат сосал из его жены деньги. Солдат обзывал его жену шлюхой. С солдатом его гордая жена становилась дворняжкой.

А когда, опустив голову, вся униженная и оплеванная, она плелась домой, ей хотелось плакать, губы ее вздрагивали, и она шептала: «Ах, как это все-таки жестоко! Я ведь тоже человек!»

А сверху смотрел на них Бог. И плакал.

Задал ты человечеству задачу, веселый московский забулдыга Валера Левятов!..

Среди ночи загремели ключи в дверном запоре и гнусный голос знакомого сержанта коротко выкрикнул:

— Самсонов, на выход, с вещами!

Тюрьма собирала очередной этап.

10

Малолеток в «стольпине» поместили отдельно и посвободнее: всего лишь по двое на полке. У взрослых же в соседних клетках творилось что-то неопишное: крик, стоны, мат. Всё это сопровождала вялая ругань конвоя. Лишь к вечеру, когда жара спала и вагон на перроне Ярославского вокзала подцепили к какому-то пассажирскому, народ немного угомонился. Гибка природа человеческая: ко всему приноравливается.

Примостившись на самой верхотуре бок о бок со щуплым и вдобавок абсолютно молчаливым узбечонком, Влад через крошечное и мелко обрешеченное оконце рассмотрел кусок асфальтового перрона с какой-то древней бабкой, восседающей на мешках. Вокруг бабки весело вертелась льняная девчонка лет пяти в линиялом ситчике с разноцветным мячиком в загорелых ручонках. Мячик

то и дело выскакивал из ее объятий и катился вдоль по асфальту, и тогда старуха принималась жалобно ерзать на мешках, но с места не сходила, явно опасаясь за свою кладь более, чем за льняную баловницу, и только плаксиво повизгивала на нее:

— Угомонись, Надёк, ой угомонись, вот счас матка придет, так заругает, так заругает...

Влад следил за этой немудрящей игрой, а сам неотступно думал о том, что где-то совсем рядом, в двух остановках, существует в этот момент его семья, и мать уже пришла с работы, а тетка хлопочет вокруг своей ненаглядной племянницы, и ни у кого из них не возникает и мысли о его с ними таком близком, но довольно скорбном соседстве. Какая ворожея могла бы наворожить им об этом? Нет такой ворожеи!

Рыжая голова с конопатым, к тому же вроде запятой, носом, точь-в-точь крохотное солнышко, возникла перед ним над кромкой полки:

— Как думаешь, корешок, рвануть оттуда можно? Я слышал: уходили и с концами...

Не ожидая ответа, голова исчезла, и голос ее уже слышался где-то внизу:

— Слышал, корешок, с Севера целый лагпункт рванул, в Америке теперь по радио выступают...

В ответ ему слышались или смех или ругань, но голос рыжего возникал снова и снова, пока первое постукивание колес не возвестило истомившимся в жаре и ожидании экам, что они наконец тронулись. И вместе с облегчением наступила апатия, которую не расшевелила даже раздача пайки с обязательным куском селедки и кружкой пахнувшей хлоркой воды.

Лишь в соседней клетке у взрослых кто-то басовито устоявшимся речитативом дотравливал соседям начатую, видно, еще на стоянке байку:

...Жизнь у вора, братишка, сам знаешь, какая: мечи — не мечи, три сбоку, ваших нет. С тридцатого, считай, года по тюрьмам и каталажкам путешествую, остановиться не могу. Мало мне лет тогда было, а всё как сейчас помню, будто вчера случилось. Сам я из деревни Торбеево, от Тулы недалеко, можно сказать, рядом почти, километров сорок, не больше. Семья у нас была добрая — не считая меня, одних ребят пятеро, да бабка, да родители сами. Девять рыл, как одна копейка. Но батя мой мужик был хозяйственный, на все руки мастер: хоть веники, хоть ложки — всё умел и двух лошадей держал к тому же. Короче, по миру не ходили, с мякины на воду не перебивались, пустых щей не хлёбывали. Не то, что у иных — придет тятя домой, выложит... на стол, а ребятня его ложками, ложками; смеху полны штаны. Только зачесалась у кого-то наверху задница, втемяшилось — из дерьма пироги делать, ну, и пошла писать губерния: даешь колхозы! Взяли и тятю моего за грудки: пишишь и всё тут! Но папеньку моего «на бога» не возьмешь, у самого глотка лужёная, послал агитаторов к ядрёне бабушке и пошел себе гоголем по деревне. Только они таких говорков сшибали, как говорится, с бугорков. Подогнали в одночасье несмазанную телегу ко двору. «Собирай, говорят, Гаврюшкин, свою кулацкую поросль в чем есть, бери, разрешают, краюху хлеба да щепоть соли на дорогу и айда с конвоем в северном направлении!» Матуха с бабкой — в голос, пацанки в слезы, а батя только с лица спал, потемнел весь. «За что же это вы меня так, говорит, за какие-такие провинности, али я против власти шел, али налогов не платил?» И вот, как сейчас помню, секи мою мысль, братишка, подступает тут к тятюке корявенький такой хмырь из района с наганом на боку и в очках, но-

сик уточкой, ушки лопушками. «Диктатуру пролетариата знаешь? — говорит. — По закону классового самосознания как кулацкий элемент ты, Гаврюшкин, подлежишь выселению в места отдаленные». И берет папеньку моего за грудки. Только Иван Карпыч, батя мой, здравствие, как говорится, ему небесное, страсть как грубости не терпел, подковы кренделями гнул, любил душевное обхождение, врезал ему ласково и кротко промеж рог, ну и, сам понимаешь — очки отдельно, уши отдельно, еле собрали потом. Опять же, сила солону ломит: повязали моего родимого и на особой подводе в район отвезли за покушение на власть при исполнении. Больше мы его и не видели. А нас той же дорогой, только на пять тыщ верст дальше. Бабка и до пути не дотянула — дуба врезала. Да что там бабка, молодые, как мухи, мёрли. Мне уж потом в лагерях как-то один спец из старорежимных точно сказал, что нашего деревенского брата в ту пору чуть не семь миллионов окачурилось: кто на выселке, а кто от голодухи. Прости, братишка, за что взял, за то и продаю. Я тоже до места не доехал — в Ачинске отстал, своим умишком дошел, что на верную смерть везут. Парень я был отчаянный, в отца пошел, по помойкам не шлялся, сразу делом занялся. Скоро меня по всей магистрали знали, в закон вошел, авторитет имел. Первый срок еще в детской тянул, а потом всю лестницу прошел от Беломорканала до Потьмы. Чего я только, братишка, ни видал на этих командировках, кого только ни встречал! Замнаркомы у меня шестерили, за водой бегали, комдивы глазами ели, не перепадет ли чего, знаменитый тенор Вадим Козин из-под меня не вылезал. Ты не смотри на меня большими глазами, братишка, не царапай мне душу, я и сам Бога знаю. Ты лучше скажи мне, что они, эти твои

идейные, делали, когда давили и гнали нашего мужицкого брата и на морозе штабелями складывали? И ведь не одного, не двух, не сотню — миллионы, братишка! И за что, скажи? Что своим горбом и кровью кусок хлеба, потом политый, себе добывали земляным черным трудом. Никого не трогали, ихнюю жизнь не заедали, кормили их с отменной сытостью. Когда бабка моя (она весь век своей на земле горбатила) в телячьем вагоне Богу душу отдавала, они, твои идейные, уря кричали: так их, мать перемать, кулацкую, мол, гидру; стишки про счастливую колхозную жизнь сочиняли, скрипели портупелями на парадах, усатому зад вылизывали, — а я, значит, не имею права с них свое кровное получить, хоть в малой доле? И нету среди них для меня безвинных. Попадается, конечно, и ученый народ, жалко их, к таким у меня всегда снисхождение. Только иной раз и у такого спросить хочется: какой же ты, брат, ученый, коли молчал и сопел в две дырочки над сладким кофеом, когда народу такие кровя пускали? На кого же нашему брату тогда надеяться, коли и умные-то головы за сладкий кусок кому хошь душу заложить готовы! Я, братишка, в лагерях не всегда дурочку валял, время много — почитал кой-чего. Ученый человек, если у него совесть есть, не промолчит, постоит за правду, любую смерть примет. Ян Гус — слышал? То-то! И не он один. А эти, выходит, только для самих себя ученые, чтоб себе хорошо сделать, а мы для них дерьмо, навоз, с нами всё дозволено. Вон недавно на этапе пересекся я с одним малолеткой, рыженький такой, в веснушках весь, будто пометом обрызганный. От горшка два вершка, а сроку пять лет. По Указу за колоски. Чего из него будет, курит уже и чифирится тоже. Для деревни теперь он не работник, освободится — по вербовкам пойдет, или еще ху-

же. А эти, которые еще на свободе, время придет — свое получают, за усатым не заржавеет, во дворцах совещаются, указы «об усилении» сочиняют, книжки про славную советскую молодежь пишут, гимны, кантаты разные. И рыжий пацан этот для них уже уголовник, черная кость, социальный, как они говорят, отброс. Рвань канцелярская! Много ихнего брата меня помнить будет! И того, секи мою мысль, братишка, корявого я тоже встретил. Под Архангельском, в карантине. Пригнали нас туда из Бутырок на лесоповал. На осмотре гляжу, что-то у фельдшера лагерного фотокарточка вроде знакомая. Когда до меня очередь дошла и он ко мне в пасть полез, вспомнил я его. «Не узнаешь, говорю, лекпом?» — «Что, говорит, в командировке, может, встречались?» — «Нет, говорю, в Торбеево, на раскулачинье, Гаврюшкина когда брали». Посмотрел он на меня, прищурился, и отвернулся. «Сколько годов, говорит, прошло, всех не упомнишь». — «Да у тебя, говорю, метка от него на лбу до сих пор». — «Меня, говорит, и после того много били». — «Ну, и как, говорю, с пользой?» — «Не без того, — говорит, а сам всё отворачивается, отворачивается, — было время подумать». — «В зоне, говорю, встретимся, я еще добавлю». — «Брось, говорит, парень, молодой ты еще, многого не понимаешь». И бочком, бочком к выходу. Только через три недели в зоне встретились. Да не смотри ты, не смотри на меня так! Не бил я его, не бил! Только зажал однажды в темном углу после отбоя: «Как, говорю, ты теперь насчет диктатуры пролетариата? Здесь, говорю, я — лагерный пролетариат, а ты для меня буржуй, кулак и эксплуататор. И по законам своего классового самознания я приговариваю тебя к вышке. Трави свое последнее слово». — «Я, говорит, стихами». — «Давай, говорю, мне всё равно». И пошел он, братиш-

ка, всё в рифму да в рифму и всё складно так, всё по совести. И про вину свою, и про кровь народа, и про низость палачей. Меня даже тогда, помню, слеза прошибла, до того душевно сочинил, сукин сын! «Иди, говорю, только на глаза мне больше не попадайся и спирту через кого-нибудь передай». С тех пор, братишка, я к ихнему брату никакой злобы не имею, только презираю — очень склизкий народ. Ведь перевернись планида, он этими стишками и за папашу моего, за все наши семь миллионов заплатит да еще и медаль от благодарного человечества огребет. Но, по правде говоря, совсем я их занеуважал после Кандалакши. Пригнали нас туда в начале войны, среди зимы, до Котласа до рогу строить, уголек стране доставлять. Согнали посередь поля, мороз за тридцать, с ветром, кругом только снег да пеньки. Куда ни поглядишь, плакаты понатыканы: «На трассе пурги нет!», «На трассе мороза нет!», «Дадим уголь Родине!» Сунули нам в зубы палатки, ломы да лопаты и скомадовали: «Давай!» Но «давай», как известно, . . . подавился. Я как авторитетный пахан пуляю свою команду: «Ложись, братва, лучше жить лежа, чем умереть на коленях, пускай они на подсышку свои кости кладут!» Залегли все: и блатные, и мужики. Только эти стоять остались, сознательность свою проявляют. Конвой озверел, бьют нас чем попало и куда попало, но лежат мои мужики с блатными в обнимку, ни с места, любо-дорого посмотреть! Бились, бились «ваньки», наконец, плюнули, отступились. А эти суки стоят, характер показывают, под свое холуйство идейную базу подводят. Чуть стемнело, вынесло из пурги оленьи упряжки, штук пять, на каждой — по двое, все в комсоставских тулупах. Несутся по фронту, гляжу, где-то посреди колонны останавливаются. Ну, думаю, уговаривать или грозить начнут. И вдруг — как

обухом по голове, веришь, братишка, чуть не обкакался я тогда от обалдения. Поднимается на саях один чмур с рупором и орет, куда тебе знаменитый диктор Левитан! «Звонил отец всех народов, приказал передать, что он в вас верит!» Проорал он так раза три вдоль колонны, только их и видели. И что тут поднялось, братишка, у этих — передать невозможно. Орут, плачут, шапки свои тряпошные подбрасывают. Даже иные мужики дрогнули, поднялись было, но я только посмотрел на них, братишка, только посмотрел, и они по-новой затихли. Так мои и не поднялись, пока им другую командировку не объявили. А на тех надо было тебе поглядеть, братишка, надо было поглядеть тебе, чтобы понять, какое дерьмо на палочке может быть человек! Как они вкалывали! Никогда в своей жизни я не видал — так люди вкалывали, да и не знал, что так можно вкалывать! Каким же холуем, братишка, надо заделаться, чтобы в холуистве своем всех холуев геройством переплюнуть? А ты говоришь — человек, или, как еще в книжках красивых пишут, — гомо!

Под эту диковинную байку Влад и уснул, а когда проснулся, сияло осеннее утро, вагон стоял, за окном виднелась какая-то, судя по всему, большая станция, конвой метался по коридору, выкрикивая на ходу:

— Приготовиться на выход!.. Приготовиться на выход!.. Живее... Живее, твою мать!

Это была Вологда — конец пути.

За окнами лагерного карантина отцветала в золоте и синеве короткая осень Вологодчины. Белесые облака проплывали низко над землей, пят-

ная окрест расплывчатыми тенями. Снаружи тянуло волглым холодком, от которого зябко сводило спину. Дни тянулись медленно, в химерах и воспоминаниях, в невеселых, под стать погоде, думах о предстоящей жизни в лагере. Десять лет! С куцега подъема его неполных восемнадцати срок этот казался ему до жути невыносимым, уходящим своим окончанием почти в небытие. Влад вообразить себе не мог, что сумеет выдержать хотя бы половину этой десятки. Жизнь свою он считал теперь конченной и потому не строил планов даже на самое ближайшее будущее. Не все ли равно, что сулит ему следующий час или день? День — ночь, сутки прочь, лишь бы его не трогали, не тревожили сию минуту, не лезли к нему в душу, не бередили его понапрасну пустой болтовней и несбыточными мечтами.

Цельными днями, натянув одеяло до подбородка, Влад бессмысленно вперялся в окно перед собой, через которое был виден верхний ряд колючей проволоки ограждения на фоне пронзительно синего неба. Проволока эта действовала на него особенно угнетающе. В обиходе детских «бессрочек»*, куда он попадал до сих пор, колючка почти не употреблялась, разве лишь для запретных зон. Поднятая на уровень основной ограды, она выглядела угрожающим знаком отчуждения от внешнего мира, чертой отверженности, светоразделом между жизнью и забвением: рискованная игра прошлых побегов становилась здесь почти смертельной. Оставь надежды всяк сюда входящий!

Внизу, на свободном пятачке между нарами, заваривался повседневный быт, малолетки дра-

* «Бессрочка» — детская колония для неосужденных правонарушителей, в которой содержат до совершеннолетия (жарг.).

лись и мирились, и снова дрались, играли костяшками от домино в очко, торговали и обменивались чем попало, уверенно приспособляясь к обстоятельствам, и лишь Влад оставался безучастным к их круговороту. Повзрослев намного раньше своих однокашников, он куда трезвее, чем они, воспринимал действительность, все ее связи и последствия. Уцелеть в десятилетнем плаванье по ненасытному морю ГУЛАГа он не надеялся, а поэтому предпочел мертвый дрейф бессмысленному сопротивлению. Я б хотел забыться и уснуть!

Но однажды к нему под бок подкатился знакомый карманник из Москвы по кличке «Чапай»:

— Может, рванем, корешок, а? — Быстрый глаз его испытующе косил в сторону Влада из-под огненно рыжих ресниц. — Я тут с одним смурняком договорился, он отвод даст, хипеш* подымет, попки его в трюм** поволокут, а мы — через окно во двор, и наше с кисточкой. — Его прямо-таки трясло от нетерпения. — Видел на оправке: у них галльон прямо впритык к забору стоит, запросто можно с крыши через проволоку... Спрыгнем — и в разные стороны, одному да пофартит... Все равно нехорошо, а?

Стылая высь за окном неожиданно приобрела радужную окраску. Вместе с холодком снаружи внутрь вдруг пробились острые запахи увядающей земли. Явь расцвела голосами и звуками. Надежда, надежда, надежда! Как мгновенно, как восхитительно быстро возникаешь ты из пепла отчаянья! Выше клюв, вскормленный неволей орел молодой, и пусть плачут по тебе надзиратели!

Впервые Влад увидел «Чапая» в клетке «столыпина». Всю дорогу от Москвы до Вологды тот

* Хипеш — шум (жарг.).

** Трюм — карцер (жарг.).

пристраивался ко всем соседям по очереди с одним и тем же разговором:

— Как считаешь, корешок, из карантина лучше или до зоны подождать?..

Всерьез его принимать не приходилось, но поскольку бежать им предстояло в разные стороны и в попутчики тот не напрашивался, Влад согласился почти не колеблясь:

— Думаешь, пофартит?

— Ты слушай сюда, корешок. — От возбуждения веснушки на его коротком носу потемнели и покрылись капельками пота. — Нам бы только отъехать подальше, а там в любой детприемник затесаться под маской крокодила, мы с тобой запросто за пацанов еще похилиаем. Сам знаешь, в приемнике на «рояле»* не играют, как назовем, так и запишут. Месяца два прокантуемся — и на волю. Всё как по нотам...

Сборы были недолгими. По неписаному лагерному закону им безропотно собрали всё лучшее из одежды и по четверть пайки от обеда, выскребли курево из заначек. После того как они снарядились, один из ребят бросился к двери:

— Дежурный, убивают-ют!.. Убиваю-ю-ют, дежурный!

Едва лишь надзиратели выволокли парня и занялись им в коридоре, «Чапай» подушкой навалился на оконное стекло. Оно вывалилось наружу почти беззвучно. Со двора в помещение пахло прелью и сыростью. На мгновение Влад сжался, вообразив себе сладкую жуть предстоящего, но в следующую минуту он уже перекидывал свое легкое тело через зияющее синей пустотой отверстие. Свобода!

* Играть на «рояле» — снимать дактилоскопические отпечатки (жарг.).

В горячечном беспамятстве Влад пересек двор, обдирая руки, вскарабкался на крышу уборной, вытянулся в полный рост с намерением прыгнуть и обомлел: со стороны зоны под конвоем надзирателя тянулись двое ребят с ужином для карантина. К счастью, оцепенение его длилось недолго. Не слыша окрика, он чуть не плашмя упал на перекинутую «Чапая» через проволоку бросовую телогрейку и следующим усилием вытолкнул себя за ограду: упал на бок, вскочил и, почувствовал под ногами мшистую подушку почвы, рванулся сквозь вырубку к темнеющему вдали лесу. Сперва Влад еще следил за напарником, щуплая фигурка которого петляющими зигзагами уносилась в сторону от него, но вскоре цель — темнеющий лес впереди — сузила его обзор до размеров единственной прямой, и он потерял «Чапая» из виду. Тревога, тревога, тревога! Погоня спешит за тобой!

Когда над округой прогремел первый выстрел, Влад на последнем дыхании уже продирался сквозь густой подлесок к спасительной темени ельника. Укрой меня, зеленая дубрава! Дотянувшись до ближайшего ствола, он упал, чтобы перевести дух, и только тут в его разгоряченное сознание пробилась ружейная пальба позади. Тогда он снова вскочил и ринулся дальше, в чащу, под защиту хвои и тишины.

Углубившись в лес, Влад принялся петлять вдоль ручьев с тем, чтобы сбить собак погони со следа. Он брел по течению, возвращался и снова спешил вниз, выпрыгивая из воды в самых, как ему казалось, неожиданных местах. В конце концов промокшего и ободранного лес вывел его к полотну железной дороги. Предо мной кремнистый путь лежит.

По ту сторону насыпи, наподобие сторожевой башенки на подступах к обители путевого обход-

чика, возвышалась аккуратная копенка с крестовиной поверх брезентового укрытия. Копенка властно манила к себе Влада, обещая тепло и убежище. И он, не устояв перед соблазном (силы уже оставляли его), двинулся к ней через насыпь: прочь меру и осторожность, будь что будет!

Зарывшись в сено, Влад сразу дремотно забылся, и грезилась ему родная окраина и станция Митьково, залитая белым светом летнего полдня. Тополинный пух кружился над улицей, забивая ресницы и ноздри, а он шел по ней — этой улице, и кто-то, скорее всего Юрка-шахматист из двадцать седьмого дома, призывно кричал ему вслед: «Вла-ад, Вла-а-дька-а-а!» Золотые сны детства. Ему и больно, и смешно, а мать грозит ему в окно. Дети в школу собирайтесь, петушок пропел давно.

Сначала он услышал только тихое поскуливание и вкрадчивые скребки лап, но и этого ему хватило, чтобы понять: конец! Так могла вести себя лишь сторожевая, вымуштрованная опытной рукой ищейка. Западня захлопнулась, сопротивление было бесполезным. Она все же взяла его след, но где, в каком месте?

Лишь выбравшись наружу и увидев спускающихся с насыпи надзирателей, Влад догадался: контрольный дозор засек его на том самом месте, где он перевалил полотно. Догадался и проклял свою минутную слабость. Надо было идти дальше, лесом, по ручьям, не останавливаясь. Но у него не оставалось времени даже для сожалений. Охранники — молоденький солдат с девичьим румянцем во всю щеку и грудастый, словно баба, старшина в зеленом бушлате нараспашку — уже подступили к нему вплотную:

— Щенок паршивый! — Удар пришелся Владу в переносицу, он упал, но — странное дело! — не почувствовал боли, а только тошноту и прив-

кус крови на губах. — Страна о тебе, паскуднике, заботу имеет, а ты, шаромыжник, в лес смотришь? Встать!

Молоденький солдат, глядя в землю, переминался с ноги на ногу и бормотно увещевал напарника:

— Будя, Аверьяныч, будя, пацан ведь... У тебя у самого, Аверьяныч, такие-от... Будя...

Старшина был заметен хмельной и поэтому лишь яростно распался от его слов:

— Ты моих к таким не равняй, молод еще учить меня. Мои как люди живут, за чужим не лезут, по стране не шатаются. Я бы этих ублюдков без суда расстреливал! Горбатого могила исправит, только зря на них хлеб изводить. — Он с размаху ткнул Влада в подбородок. — Иди вперед, паршивец!

С полотна охранник толкнул было Влада в сторону леса, но тот отказался наотрез, а когда старшина попробовал сдвинуть его силой, он плашмя лег на шпалы:

— Не пойду.

— Встать!

— Лучше здесь убивайте.

Влад знал, что в лесу с ним можно сделать всё что угодно: затравить собакой, отколотить до полусмерти и наконец, спровоцировав бегство, пристрелить. Открытое со всех сторон случайному взору железнодорожное полотно спасало его от расправы:

— Ведите по шпалам.

После недолгой возни, побоев и ругани старшина сдался. Ткнул Влада кулаком под бок, буркнул:

— Ладно, шагай... Не ночевать же мне здесь с тобой... Я тебя дома научу свободу любить... Ну!

Обратный путь показался Владу куда длиннее. Стараясь держаться ближе к конвою (расстояние более девяти метров считалось по правилам надзорслужбы достаточным для выстрела в спину), он не спеша ступал по шпалам, и согбенную спину его жгло ожидание удара и выстрела. Тебя я больше не увижу, лежу с разбитой головой. А мать сыночка никогда. Долго рыдал прокурор.

В ночных сумарках выявившаяся впереди зона выглядела среди огней сторожевых вышек почти пасторально: эдакое карнавальное нагромождение освещенных карточных домиков на взгорье. Но чем ближе они подходили к ней, тем явственней обнажалась ее подлинная суть: мрачные бараки за двумя рядами колючей проволоки, скорбная юдоль униженных и оскорбленных.

В помещении надзорслужбы их уже ждали. Едва Влада втолкнули туда, как тупой удар сапогом в бедро свалил его на пол.

— У, воровская падаль! — Цыганское лицо начальника надзора капитана Писарева, знакомого Владу по встрече в первый день карантина, нависло над ним. — Где второй?

Владу оставалось только закрыть голову руками и сжаться в комок. Удары посыпались на него сразу и со всех сторон. В садистском забвении они перестали даже ругаться. Били, сопя и побряхтывая, с полным сознанием своей безнаказанности. Владу казалось, что его тело постепенно превращается в наполненный болью мешок, который вот-вот расплзется по швам. Голубые ласточки порхали перед его смеженными глазами, а в тесном горле запекался тлеющий уголь. Последнее, что он помнил, был короткий и острый удар каблуком в пах. И сразу: собственный вопль, падение, черный провал...

Его куда-то несло — легко и свободно. Где-то совсем рядом плескалась о берег чуть слышная волна. И кто-то около него пел знакомую дразнилку, которая проследовала за ним через всё его детство: «Боксер, боксер, как твои делишки, хлеба нету ни куска, плачут ребятишки...» Потом он услышал доносящийся до него, словно с другого берега, голос сестры Нины: «Влад... Вла-а-д, Влад-и-и-ик, обедать пора, мамка зове-е-ет!» Но запахнув глаза, он видит не двор на Митьковке, а море и себя, лежащего на батумском галечнике, куда Влада вместе с другими привели на прогулку из городского детприемника. Небо над ним кипит и плавится, а далеко впереди, прямо на уровне его взгляда, скользит белый-пребелый пароход с вороньим шлейфом дымка вокруг разноцветной трубы. Влад хочет встать, подняться, чтобы пойти туда, к зеленой воде под берегом, но здесь хлесткая боль пронизывает его с головы до ног, и он, увлекаемый ею, падает, падает, падает в бездонную бездну, без надежды на просвет или спасение.

И снова тьма, тьма, тьма.

— Вла-а-д!

— Вла-а-а-ад!

— Вла-а-а-ади-и-ик!

Молчание.

Прости им, Господи, я не держу на них зла...
Если бы они ведали, что творили!

12

Влад очнулся от чьего-то легкого прикосновения. Над ним склонялось худое, с далеко выдвинутым вперед подбородком лицо:

— Не узнаешь?

Усилием памяти он вызвал из недавней тьмы первый день в карантине: переключку, обыск, медосмотр. И сразу вспомнил тощего фельдшера из эков, мрачно балагурившего с новичками при осмотре:

— Сколько же тебе лет, папаша? Семнадцать? А по . . . я бы тебе все тридцать пять дал. Сама отросла или в кружкэ «Умелые руки» тренировал? Проходи. Следующий! А ты с какой живодерни сбежал? Или после голодовки? Думаешь в лагере подкормиться? Ну-ну, давай. Следующий!

Он им понравился тогда, этот фельдшер. По крайней мере не воспитывал, не угрожал, не строил из себя большого начальника. Было в его манере разговаривать с ними что-то подкупающе доверительное, от чего предстоящая жизнь в зоне уже не казалась им такой долгой и безотрадной.

Теперь тот склонялся над Владом, и сквозь неистребимую насмешливость в длинном его лице проступало явное сочувствие:

— Лежи, лежи, отлеживайся, время есть, спешить тебе некуда. Хорошо, хоть совсем не убили, здесь это запросто.

Белый потолок перед глазами плыл и покачивался. Белым было всё вокруг — стены, простыни, запорошенное первым снегом окно, но у этой белизны был какой-то серый, угнетающий налёт, плоский отпечаток неволи. «Изолятор! — облегченно зажмурился Влад. — Значит, все-таки жив!»

— Отделали они тебя, можно сказать, с чувством, — мирно гудел над ним голос фельдшера. — Какой-то поросенок еще и воды потом в трюм налил, еле тебя утром с полу отодрали. Дорвались до бесплатного, пьянь краснопогонная! Напарник твой вроде ушел, ищут нынче в Вологде. А ты лежи теперь. Главное — жив остался, а два года

добавят — не беда. Всё равно не досидишь, скоро, говорят, амнистия для малолеток карячится. — Он нагнулся к самому уху Влада и задыхался горячо и часто. — Я бы тебе помог, да боюсь, у тебя духу не хватит. Смурняка никогда не косил? — Молчание Влада он расценил по-своему. — Я научу. Ты, главное, молчи и рви бумагу. Молчи и рви бумагу. Понял? Вот я тебе книжку на тумбочке оставляю... Не робей, заделаем в чистом виде, не в первый раз...

Первое, о чем Влад подумал: не подвох ли? Но тут же резонно рассудил, что фельдшеру нет никакой видимой выгоды разыгрывать его, и воспрянул духом: «Попытка не пытка, может, выгорит!»

Оставленный фельдшером учебник географии для шестого класса таял под рукой Влада медленно, но верно. Горка останков от карт и текстов цветной мозаикой взбухала у его ног. Не счесть алмазов в каменных пещерах. Понемногу он даже вошел во вкус. Ему нравилось мелко крошить затертую и обмусоленную множеством пальцев бумагу, ощущая в душе упоительную радость школярской мести за все полученные когда-то по этому предмету колы и двойки. Вот так, вот так, вот так!

Фельдшер раз-другой сунулся в дверь, помпал одобрительно и к вечеру привел с собой главного врача, майора Варву:

— Вот, Николай Алексеич, с утра орудует. Спрашиваю — молчит, видно, перестаралась надзорслужба.

Хромой хохол постоял около Влада, обеими

* Косить смурняка — симулировать сумасшествие (жарг.).

руками обхватив набалдашник своей палки, обнажил в усмешке прокуренные зубы:

— Косишь, Самсонов? — Концом палки он приподнял Владу подбородок. — Не боишься?

Как же Влад ненавидел его в эту минуту! За что? Что он сделал ему, этому уроду с палкой? Слезы обиды душили его, и он старался не поднимать глаз, чтобы не выдать себя.

— Доложу по начальству. — Палка снова опустилась на пол. — Пускай сами решают. Симптоматику записывай, может, и вправду тронулся, такое бывает.

Проводив Варву, фельдшер вернулся, сел на краешке койки, тихо заговорил:

— Молодчик Самсонов, пока всё как по маслу. Главное, молчи. Сейчас он доложит чинам, и дело, считай, в шляпе. Я ведь тебя еще в карантине на заметку взял. Мне воспитатель стишки твои показывал, смеялся, вот, мол, поэта привезли. Я, знаешь, сам балуюсь, но у тебя лучше. Тебе учиться надо, у тебя талант, его беречь требуется. Талант одному, может быть, на сто тысяч, а то и на миллион дается. Большой это грех перед Богом похоронить его втуне. Он тебе вроде как в долг даден, а ты за него всю жизнь должен расплачиваться. Я, брат, давно по лагерям скитаюсь, всякого навидался. Каких людей хоронить приходилось, сказать — страшно станет. Помню, артист один (рак у него оказался запущенный) перед последней операцией мне говорил: талант, говорит, человеку за чьи-то муки дается в награду, значит, говорит, человек этот обязан Богу больше других, спрос с него втрое, а то и впятеро. Жаль, говорит, одного — что не успеваю уже расплатиться, не дали мне... А на майора не обижайся, он мужик сносный, фронтом только стеганутый сильно...

Ладно, спи теперь. Тебе и по симптоматике депрессивная реакция положена.

Фельдшер ушел, и Влад облегченно забылся, а когда пришел в себя, вокруг его койки толпилось чуть не всё лагерное руководство: начальник майор Попутько, его заместитель по воспитательной части капитан Тулупов, уже знакомый Владу Писарев и несколько чинов пониже и поведением поскромнее. Варва при этом заканчивал свои объяснения, всё так же опершись обеими руками о набалдашник своей палки:

— ...Симптоматика довольно распространенная и вполне устойчивая, скорая ремиссия вряд ли возможна... Выздоровление то есть... Думаю, в Кувшинове разберутся, они медэксперты, им и судить. — Смуглое лицо его, с желтыми навывкате глазами в свете единственной лампочки выглядело добрее и мягче, чем днем. — Во всяком случае, здесь трудно установить что-либо определенное...

Затем начальство потопталось еще немного, покивало глубокомысленно голубыми околышками и медленно вытекло из ночного изолятора, строго по субординации согласно должностям и званиям. Последним выходил главврач. На пороге он обернулся, и Владу показалось, что в подернутых желтизной зрачках майора мелькнула одобрительная усмешка.

Где-то под утро фельдшер принес ему его еще сыроватую амуницию и, широко улыбаясь, ободрил:

— Повезут тебя сейчас в Вологду на экспертизу. Теперь главное — там не подкачать. Делай всё, как я тебе сказал... Давай, вот, одевайся. Прости, брат, не успела твоя одежонка высохнуть.

Потом зашел уже знакомый ему старшина, покачался перед ним неуклюже и, отворачиваясь к окну, буркнул:

— Пошли на вахту... Сейчас доктор соберется, и поедет... Не обессудь, парень, пьяный я был... Меня, брат, больше били. За битого, знаешь, двух небитых дают... Да.

Через спящий еще и заснеженный лагерь они дошли до вахты, где их уже ждал Варва. Тот расписался за Влада, и они вышли в метельную ночь. Влад по привычке двинулся первым. Он шел не торопясь и не оборачиваясь. Ему было ясно только одно: жизнь его с этого дня круто менялась, правда, неизвестно еще, в лучшую ли сторону. И, наверное, от этого он не чувствовал холода. Ночь расступалась перед ним с ожидающей его неизвестностью в самом своем конце.

На станцию они пришли, когда уже рассвело. В зале ожидания на Влада смотрели с любопытством и настороженностью: человек под конвоем был в здешних местах не в диковинку, но всё равно всякий раз зрелище это вызывало известного рода интерес.

Лишь какая-то старуха в опущенном до бровей платке потихоньку сунула ему кусок рыбника, и старшина отвернулся, сделав вид, что не заметил такого вопиющего нарушения законов караульной службы.

В битком набитом вагоне Влад как бы затерялся и поэтому до самой Вологды проехал почти незамеченным, с внезапно возникшим интересом прислушиваясь к дорожным разговорам.

Один щуплый мужичонка рассказывал такому же тщедушному старичку в полупальто, перешитом из старой шинели, о цели своей поездки:

— Понимаешь, отец, мне эта самая справка в большую копеечку обошлась. Хорошо, у нас председатель сильно пьющий, а то бы ни в жись не получить. А мне она позарез, совсем в колхозе жись худая пошла. А я, отец, надо тебе сказать,

плотник первой руки, хошь дом с наличниками, хошь лодку. Таперича, со справкой-то, я куда хошь, сам оденусь, родне подмогу...

Собеседник его только кивал сочувственно:

— Это за милую душу... Это — конечно... Самый раз тебе нынче в городе... Какие твои годы...

На верхних полках, лежа друг против друга, двое командировочных лекторов горячо обсуждали проблемы своей профессии:

— Сейчас в ходу «О международном положении», — говорил один. — «Моральный облик» уже не идет.

Другой веско возражал:

— Э, не скажите! Это смотря как подать. Если с конкретными примерами из местной жизни, то слушают — пальчики оближешь.

В соседнем же купе шла довольно активная пьянка, и дело доходило уже до песен, а ближе к Вологде — и до драки. Мордобой не состоялся только по случаю прибытия.

Вологда! Много лет пройдет, но при воспоминании о ней сердце его будет томительно заходиться, как о знаке, тавре, символе его юных лет и первой молодости!

Город встретил их снежной тишиной, замешанной на зимних запахах: дьма, конских яблок, кожи тулупов. Они прошли пешком через него, а потом еще через белое поле, и перед Владом, на другом берегу замерзшей реки, открылось тёмно-красное от кирпичных строений село, которое вскоре круто и навсегда уже изменит его судьбу.

Замирая от неизвестности предстоящего, поднимался он на крутояр, где возвышалось двухэтажное здание дирекции и приемного покоя, а за спиной его звучал снисходительно шутливый разговор:

— Ишь, спешит!

- Не утонишься.
- Намерзся.
- Да и мы тоже.
- В Вологде погреемся.
- Есть, товарищ майор!

Влад слушал их и никак в толк не мог взять, почему эти обыкновенные и в жизни, наверное, совсем неплохие люди могут временами так жестоко и зло озверяться?

В приемном покое их встретил трясущийся от ветхости старичок в белоснежном халате и, ласково улыбаясь Владу подслеповатыми глазами, чуть слышно прошепелявил:

— Здравствуйте, молодой человек, давайте знакомиться... — Он передохнул и продолжал: — Меня зовут Абрам Рувимович... Фамилия моя — Жолтовский... Я здешний доктор... Давайте поговорим.

Ах, Абрам Рувимыч, Абрам Рувимыч! Сколько будет он жить, столько станет помнить вас. Вы словно и состояли-то из одной доброты, хотя никогда не употребляли этого слова. Может, он так и не научился любить людей, это ведь мучительная наука, но благодаря вам он научился хотя бы жалеть их...

Разговор продолжался недолго, и вскоре приземистый санитар отвел Влада в палату, и гулкая дверь дома скорби надолго захлопнулась за ним.

Передняя часть палаты походила скорее на тюремную камеру, чем на отделение больницы. У кафельной печки четверо открыто резались в карты, в дальнем углу шел азартный делёж передачи,

между кроватями какой-то золотозубый мальчик лихо отплясывал чечётку. Сходство дополнял черноволосый крепьш на лавочке у двери, под белым халатом которого явственно проглядывалась форма надзорслужбы.

На новичка никто не обратил внимания. Лишь высокий, остриженный наголо санитар молча указал ему его койку, на которой уже кто-то лежал. Вопросительный взгляд Влада он пресек единственным словом:

— Валетом.

И лениво двинулся к двери, где он делил место на лавочке с тюремным конвоиром.

Будущий сосед посмотрел на Влада с таким затуманенным равнодушием, что он почел за лучшее пойти по отделению. Оно делилось на две большие палаты и несколько маленьких, в которых, как он сразу догадался, держали тяжелобольных. Во всем помещении царил устоявшийся годами спёртый запах: смесь мочи, несвежего белья и табачного дыма. Какофония из плача, смеха и песен дополняла всеобщий бедлам.

В предбаннике клозета к нему подсел тот самый золотозубый парень, который плясал между кроватями:

— Куришь?

— Нет.

— Плохо, здесь без курева и вправду чокнешься. — Он искоса взглянул на него и осклабился. — Откуда привезли?

— Из Шексны.

— А меня из Белоозерска, та еще командировка, от активистов не соскучишься. Сколько сроку?

— Десять.

— Многовато, — присвистнул он, — указник?

— Два, два*.

— Я за карман. Пятерка. Кешарист?

— У меня нет никого.

— Совсем хреново. — Посмотрел на него в упор и без прежней развязности объяснил. — Здесь жратухи как будто и нету вовсе. Правда, персонал сознательный, иногда своего подбрасывают. То хлебца, то картохи. У меня, правда, ма-туха, не забывает. Так что поделюсь. Подложили тебя, правда, хреново, к припадочному, с таким не выписься особо. Его по ночам раза три колотит. Будет смена получше, мы с тобой скучкуемся, а пока терпи.

— Я что, я как все.

— Будешь «как все», дуба врежешь, соображать надо. Держись за меня.

— Ладно...

— Ну, я пошел. В случае чего — подходи.

— Подойду...

Парень чем-то понравился Владу, у таких что на уме, то и на языке, и он решил держаться пока его, а там видно будет. Так и началось знакомство Влада с московским карманником Сашкой Шиловым. И оно — это знакомство — запомнилось ему потом на всю жизнь. Сашка на первых порах спасал его от больных-агрессивников, пока он сам не научился давать им отпор. Сашка делился с ним своими редкими посылками. Сашка даже ухитрялся доставать для него газеты и книги.

Самой трудной оказалась лишь первая ночь. Соседа действительно колотило трижды. И трижды, прежде чем заснуть, Владу пришлось единоборствовать с ним, чтобы его успокоить. Занятие это было, прямо надо сказать, не для слабонервных. Но потом, ночь за ночью, он приноровился к

* Указ от 1947 года.

этому и вскоре справлялся с эпилептиком без особых усилий или брезгливости и тут же безмятежно засыпал.

По утрам тот чувствовал себя вяло и виновато. У больного татарина было чувствительное и благодарное сердце.

— Понимаешь, — поводит он на Влада подернутым сухим блеском глазом, — эта у mine с детства. Падаю, падаю куда-то, и так mine хорошо тогда бывает, и свет кругом какой-та особенный — не сказать даже, а потом плохо, очень плохо... Ты просись — тебя переведут. Вон у окна койка асвабадилась.

Но Влад твердо решил держаться рядом с татаринном до конца. К тому же палата жила по тюремным законам, и места распределялись не медперсоналом, а кофдой у печки, где верховодил привезенный на экспертизу лысоватый пахан дядя Каин. Вокруг него с утра до ночи вертелся гомон желających выслужиться и схватить свою долю больничных благ: место получше, халат покрепче, довесок к пайке. Целыми днями дядя Каин лежал на своей койке у печи, подложив ладони под голову, и отдавал почти беззвучные приказы и распоряжения. Он находился здесь на экспертизе за убийство при попытке вооруженного ограбления, и ничего, кроме высшей меры, его, разумеется, не ожидало.

Примерно через неделю Владу было приказано явиться пред его ясные очи. Отказываться в таких случаях (Влад знал это по опыту) было себе дороже.

Тот встретил новичка всё так же, лежа со скрещенными ладонями под затылком. Молча кивнул в сторону койки напротив. Искоса оглядел его кроличьими глазами, сказал:

— Гордый, говорят? Люблю таких, сам гордый. Не надоело с припадочным ночи коротать?

— Кому-то нужно.

— А ты не партейный часом? — Он даже оживился, если можно назвать оживлением намека кривенькой усмешки в губах. — За справедливость, значит? Тогда соси лапу. — И сразу без перехода: — Слышал, стишки сочиняешь?

— Так, от нечего делать балуюсь.

Здесь дядя Каин впервые повернулся к нему всем лицом. Оно у него было испитое, с отеками явно тюремного происхождения, но какая-то затаенная мысль, вернее мука, делала его почти значительным:

— От нечего делать, пацан, только на мокрое дело ходят. Ты всё запоминай, пацан, всё примечай, ничего не забудь, тогда тебе цены не будет вовек. Если бы мне мою жизнь описать, какая бы книжка получилась — кровь и слезы! Только у меня не голова на плечах, а кочан капусты, а то и хуже того. Эх, — он даже всхлипнул от переполнивших его чувств, — если бы ты когда-нибудь про всё про это! — Но тут же заметен устыдился своего порыва и снова откинулся на спину. — Ладно, иди. Захочешь, к окну ляжешь, или рядом со мной. А там как знаешь...

С этого дня авторитет Влада в отделении стал непререкаем, но от татарина он так и не ушел, за что тот расположился к нему окончательно.

— Знаешь, они все тут как дикие звери. Все под больных косят, а свои шалтай-болтай не забывают. Рвань лагерная!

— Ты ведь тоже из лагеря?

— Ты мне не равняй, я — политический.

— Ты!

— Я председателя убить хотел, жалко — не вышло.

— За что?

— Он брата моего под арест подвел, пять лет дали. Брат сена для коровы взять хотел. Совсем немножко. Голодная была, кричала сильно.

— Не жалко было?

— Кого?

— Председателя, человек ведь.

Татарин только отрицательно прицокнул языком и тут же отвернулся, считая, видно, дальнейший разговор на эту тему законченным.

Много всякого повидал Влад на своем коротком веку, но лишь сейчас, в эту минуту, всё случившееся когда-либо с ним, все события и встречи, словно скрепленные последним звеном, слились в одну-единую цепь, цельную и законченную картину. И он задохнулся: что же это за страна, что же это за люди такие? и почему, зачем они могут вот так жить?

Спустя десять дней Жолтовский вызвал его на беседу. Влада переодели в чистое белье, дали халат покрепче и повели сквозь лабиринт коридоров в главный корпус.

В полутемной тишине своего крохотного кабинета тот показался Владу почти бестелесным старым гномом, грозящим вот-вот рассыпаться, изойти в пыль. Но гном, словно перышком, махнул ему ладошкой — садись, мол, и тихо прощелестел:

— Здравствуйте... Рассказывайте.

— Что рассказывать?

— Всё.

Это было сказано уже просто еле слышно, но с таким проникновенным значением, что Влад услышал и понял: надо рассказывать именно «всё». Это был даже не рассказ, а первая в его жизни исповедь со всем ее откровением и горячностью. Там летали его первые птицы над Сокольниками.

Там он предавал отца и горько каялся. Там за ним постоянно гнались, а он убегал, убегал, убегал, но так, в конце концов, и не смог убежать. А за всем этим, худой и сгорбленный, стоял его дед Савелий и бессильно смотрел вслед этой погоне.

Когда Влад кончил, то вдруг решил, что поведал не свою, а чью-то дотоле неизвестную ему жизнь, до того длинной и чужой она ему тогда показалась. Жолтовский при этом словно бы и не слушал его. Старый доктор смотрел в запутанное морозным кружевом окно, лишь пергаментная ладошка его чуть заметно подрагивала, оброненная поверх настольного стекла. Но стоило ему кончить, как та же ладошка медленно и утвердительно поднялась и опустилась перед Владом:

— Идите. — Голос его неожиданно окреп и возвысился. — Вы поедете домой. Позовите сюда старшую.

Выйдя от заведующего, старшая сестра, пучеглазая коротышка с серьгами, вдруг радушно зашевелилась перед Владом:

— Велел перевести тебя в легкую, сынок. На первую комиссию приказал приготовить. Счастливый ты, в рубашке родился, освободят ведь, я своего хозяина знаю. Только не в себе он сейчас вроде, даже трясется... Ну, иди, иди, я тебя мигом устрою.

По тем же коридорам она провела Влада, свернув по дороге в предназначенное теперь для него отделение. Ключом, висевшим у пояса, открыла дверь и прямо с порога крикнула:

— Агнюша, принимай-ка новенького, заведующий приказал. Совсем молоденький!

И тут Влад увидел ее — Агнюшу Кузнецову, первую в своей жизни женщину, горькая память о которой будет жечь уже его всю последующую жизнь. Не была она ни красивой, ни даже сколь-

ко-нибудь заметной. На улице мимо такой пройдешь, даже не обратив внимания. В нее надо было взглядеться, чтобы увидеть в ее затемненных белыми ресницами глазах что-то такое, от чего на душе у человека начиналась долгая и грустная тишина, от которой уже невозможно было избавиться никогда.

— Ну-ну, — только и сказала она, а у Влада замерла душа, — примем. Отчего не принять.

Заправляя ему койку, она спросила:

— Как звать-то?

— Владом.

— Городской, видно?

— Из Москвы.

— Ишь ты! — И оглядела его с головы до ног уже с некоторым интересом. — Давно оттуда?

— С год.

— Из лагеря, аль из тюрьмы?

— Из лагеря. В Шексне отбывал.

— Там у меня родня мужняя живет. Токма уж давно не знаемся, с самого, считай, евоного отъезду... Ну, ложись теперь, отлеживайся до самой комиссии, а там — что доктора скажут. Может, и домой.

Влад лег и сразу словно провалился. Впервые, пожалуй, за долгие годы хождений своих по городам и весям он спал в чистой постели, застеленной для него легкими женскими руками, в тишине почти бесшумной палаты, с надеждой на скорое свое возвращение в Москву. Теперь он верно верил окончательно. Тихие ангелы кружили над его головой, вызывая из прошлого родные для него голоса:

М а т ь :

— Куда тебя всегда несет? Посиди ты на одном месте.

Тетка :

— И в кого только ты такой? В нашем роду таких не бывало. Остепенись, парень.

Дед :

— Владик, Владик, помирать мне скоро, разве не жалко тебе старого, неужто не увидимся?

И он кричал, кричал им из своего сна, из своей памяти, из своего сердца:

— Некуда мне больше ходить, всё прошел, только бы мне выйти отсюда, только бы выйти!..

Мечты, мечты, где ваша сладость! Ему еще придется поколесить по России, помыкаться, поплакать в свою собственную жилетку, прежде чем он вернется туда, под эти Митьковские липы, но только слишком поздно, даже очень слишком. «Не клонись-ка ты, головушка, от тревог и от обид, мама, белая голубушка, утро новое горит!»

14

Кувшиново! Кувшинчик, кувшин, кувшинка! Слово одновременно округлое и продолговатое, как груша. И звучное, как ритуальный колокол. Вкус зимней ночи на губах. Медленно, словно нехотя, падающий снег за обрешеченным с обеих сторон окном. И тревожные позывные чужих сновидений вокруг. Что им грезится сейчас там, за пределами человеческого разума? Какие кущи и какая тьма? Действительно: не дай мне Бог сойти с ума! Господи, спаси их души!

За окном падал снег, струился в тиши долго и безобидно. Вглядываясь в темь и в свое отражение в стекле, Влад незаметно для самого себя словно высвободился изнутри, самоуничтожился, прислушиваясь к происходящему как бы со сто-

роны. Ему грезилось, будто больничная палата, наподобие одинокого ковчега, плывет сейчас сквозь ночную бездну с грузом спящего безумия на борту. Плыви, мой чёлн!

Позади шипела и потрескивала голландка. Едва ощутимый запах дыма першил у Влада в горле, щекотал ноздри. Тени от пламени слепо шарили по стенам, изменчиво и мгновенно отражаясь в стеклах. Ковчег плыл среди студёных звезд под короткие всплески стенаний и вздохов, сопровождаемый монотонным говором у печи:

— Двенадцатого умру, это последний срок. — Из своего бестелесного далека Владу представились глубоко запавшие глаза и тяжелый подбородок дезертира Гены Свирина. — Ровно в три часа дня, как раз после обеда. — При его слабости к съедобному, Гена, разумеется, даже в обмен на Царствие Небесное не согласился бы умереть до обеда. — Во мне второй человек сидит, он мне всё предсказывает, что со мной будет.

— Смотри, какой везучий. — Снисходительный смешок дежурной сестры Агнюши растекся над сонной тревогой палаты. — Сразу цельных два. Почто же ты тогда сюда попал? Чего ж тебя дружок твой не упредил, что из армии бегать не положено. Вот и попал, сиди теперь...

Голос Агнюши вернул Влада к действительности. Он вдруг почувствовал, как его остро и властно заполняет плоть, приобщился к жаркому току собственной крови, услышал биение своего сердца. Ему почудилось даже, что он осязает ее запах: слабую смесь лежалого сена и стирки. Крутой запах сорокалетней крестьянки, так и не расставшейся с землей и хозяйством. Влад часто просиживал с нею ночи напролет, слушая ее рассказы о молодости, о недолгом замужестве и долгом вдовстве.

— Я молодая — девка была видная. — Слова у нее складывались округло и плотно, словно вынизывая некую, не требующую завершения, но стройную цепь. — За мной не один кудрявый ухлёстывал, много их было, табуном ходили. Только сохла я по плюгавому, по такому захудалому, что и сказать нельзя, один нос да глаза, да еще гармошка с пуговкой. Зато веселый был — страсть! И душа нараспашку, любому пропащему-проходящему рубаху с себя съмет. Свадьбу сыграли — смех один, жених сапоги у дружка занимал. Зато жили душа в душу, песнями хлебали, припевками закусывали, впроголодь да весело. Только и пожировали мы с ним годка два всего, подался милёнок мой за длинным-то рублем на стройку пятилетки да и сгинул там безо всякого поминания...

— Да... Бывает. — Когда речь заходила о чем-либо, не касающемся его — Гены Свирина — лично, он тут же терял интерес к собеседнику. — Пойду посплю напоследок, на том свете не придется...

Господи, как он долго и нудно шлепал в свой угол за печью, как шумно ворочался, укладываясь, прежде чем Влад услышал у своего плеча ровное дыхание Агнюши:

— Почто не спишь-то? — Она тесно приникла к нему сзади, легонько прикусив ему кожу между лопаток. — Тошнехонько?

— Зима у вас здесь какая снежная. — Сердце в нем холодело и плавилось. — Снег совсем не кончается. Кажется, будто всё засыпает.

Она прижималась всё сильнее и откровеннее:

— Всё не засыпет... Маненько останется... Чего дрожишь-то, ай с бабой николи не был?

— Был... Давно только... И не так совсем.

Она мягко, но властно взяла его за руку и повлекла за собой к двери и затем дальше, через

кафельный коридор, в смутную полутьму ванной комнаты. Он безвольно тянулся за ней, пьяно пошатываясь и почти беззвучно шепча:

— Куда ты, Агнюша?.. Зачем?.. Дежурный врач всё время ходит... Плохо будет...

Та лишь тихонько и самозабвенно посмеивалась в ответ и всё тянула его за собой, всё тянула.

О эта ванная комната буйного отделения Вологодской психушки! Он помнит и теперь еще облезлый зеленый колер ее стен, щербатый кафель ее пола и даже ржавые подтёки на вытертых до чугуна ваннах. Каждую ночь ее дежурства, едва последний бедолага забывался в своем химерном сновидении, они, взявшись за руки, шли туда, в жалкую молельню своей любви, и бредовый стон чужого безумства сопровождал их в этом пути.

Там на лавке, служившей и раздевалкой и плахой для экзекуций, их сливало воедино до первых петухов, и ничего не было вокруг них, только запах и молчание, только яростное противостояние и шёпот:

— Тихе, тихе, сумасшедший...

— Я и есть сумасшедший...

— Полюбила так?

— Еще как!..

— И впрямь сумасшедший...

Утро, день, вечер проходили для Влада как в тумане до следующего ее дежурства, до следующей ночи. Много их, запойных и опустошающих, прогудело сквозь него, отложившись в нем тихой и ясной к ней благодарностью.

Тогда-то он и решил вернуться сюда, вернуться, чего бы ему это ни стоило. Самые радужные картины этого возвращения рисовались ему в его воображении. И не просто пешком, а непременно на белом коне и с крестами от груди до груди. Первым парнем по деревне, вся рубаха в петухах. Рас-

ступись, грязь, дерьмо плывет, чтоб гордилась Агнюша и все завидовали ей.

Душу бы я твою мотал, Влад Алексеич, свет Самсонов! Двадцать лет куролесил ты по городам и весям своей родимой, двадцать лет пьянствовал и куражился по разным кабакам от Краснодара до Питера, двадцать лет первогильдейно благодетельствовал блядям чуть не всей одной шестой, чтобы однажды, в горячечном угаре, заявиться в Кувшиново московской пьянью в закупленном на корню такси и вылакать на ее, Агнюшиной, могиле три бутылки портвейна по рупь сорок семь с подвернувшимся под руку психом из obsługi.

Нет этому ни слова, ни прощения, Влад Алексеевич, верный отпрыск Михеевской породы!

Господи, не оставь души рабы твоей верной Агнюши, дочери Кузнецовой!..

15

Вологда тронулась внезапно и дружно. Льды величаво скользили по матово затуманенной поверхности реки, вода очищалась быстро, и не сегодня-завтра должен был начаться лесосплав. После комиссии, которая освободила Влада вчистую, он отбывал принудление, и его обещали с наступлением сплава вывести на работу. Влад ждал этого дня с нетерпением, и когда, наконец, однажды утром Агнюша с торжествующим видом сложила к его койке кое-какую рабочую одежку, он чуть не заплакал от радости: — Разрешили!

— Давай, давай, собирайся, — она грубовато тормошила его, а сама тоже вся светилась довольством, — работяга!

Влад вышел, зажмурился и задохнулся. Яростная весна, подспудно гудя, сдирала с Кувшинова сонную одурь зимы, и само село словно бы плавилось в ее ослепительном веселом свете. Всё вокруг взрывалось и рушилось, словно где-то под ожившей землей неслышно раскачивались огромные корни. Вся живность будто обезумела: куры, собаки, галки кружились по селу и над ним, пьяным своим хороводом напоминая какой-то немыслимый карнавал. Звенят ручьи, поют ручьи. Весна, весна, весна.

Запань у переправы уже была полна до краев лоснящейся от воды древесиной. С крутоярья она походила на огромный невод, в котором, сопя и беснуясь, бился в бессильной борьбе необъятный рыбий косяк. Спускаясь к берегу, Влад предвкушал азарт схватки с ней, этой сплавной громадой, и заранее радовался своей победе в предстоящем единоборстве. Будет буря, мы поспорим и поборемся мы с ней!

Какая это была работа! Стоя цепочкой по колено в воде, они баграми вытягивали бревна на берег, а подсобники складывали их там влажными, блистающими на солнце штабелями. Агнюша, как более опытная, стояла впереди Влада, влажное от водяных брызг лицо ее пламенело, и, оборачиваясь к нему время от времени, она вызывающе, но добро усмехалась:

- Ну как, работничек, в коленках не больно?
- Подумаешь!
- Неужто нравится?
- Ага.
- Насиделся взаперти, вот тебе и в охотку!
- Тебе что, завидно?
- Скажешь тоже!.. А ну не отставай!
- За мной дело не станет.
- Посмотрим!..

Так и перешучивались они, передавая друг другу свою добычу, и над ними плыло и плавилось весеннее небо, и даль впереди текла и плавилась всё густеющим маревом. Работа, работа, работа!

Влад никогда не думал, что вестником его свободы станет дядя Вася — звероподобный санитар из приемного покоя. Но он, этот грешный ангел, уже спускался с горы, как и полагается ангелам — весь в белом, и трубил на ходу пропитым басом:

— Самсонова к профессору!.. К профессору Самсонова!

Первым желанием Влада было кинуться туда, ему навстречу, но он внезапно обернулся, и душа в нем замерла в затажном падении: бессильно опустив руки, Агнюша стояла по колена в воде, без кровинки в лице, и в глазах ее уже не проглядывалось ни неба, ни света. Потом она жалко улыбнулась ему: иди, мол, и он пошел, но пошел, сознавая, что позади оставляет сейчас куда больше, чем ждет его там, наверху.

Дядя Вася грузно сопел у него за спиной, порой даже, впрочем, не без дружелюбия, подталкивая его сзади:

— Дуракам счастье, я вон сколько живу, а хучь бы разок повезло, одни пни да колдобины. Жолтовский этот жалеет вашего брата, а за что, в толк не возьму. Взял бы и пожалел хорошего человека, перевел меня в фершала...

В кабинетике Жолтовского Влада ожидал в прифранченной по-весеннему форме майор Варва.

— Ну вот, привез тебе справку об освобождении, — встретил он его еще с порога. — И паек до Москвы тоже не забыл... Рад?

Не получая ответа, он заметно почувствовал себя не в своей тарелке и, чтобы скрыть обиду, стал поспешно вынимать из небольшого чемодана

и складывать Жолтовскому на стол положенный освобожденному на дорогу харч: буханку черного хлеба, пятьдесят граммов сахара, пачку маргарина и семьдесят рублей денег на билет до места в жестком бесплацикартном, хмуρο приговаривая при этом:

— Дождешься от вас благодарности, держи карман шире, мы для вас звери, вы — люди. Как будто мы вас в лагерь зовем, сами идете... На-ка, вот, распишись... И за паёк, и за справку об освобождении. — И уже обращаясь к хозяину: — Как будто всё, коллега, что положено по инструкции. Паспорт, согласно справке, можете выправить ему на месте или пускай выправляет сам в Москве. — Замкнув чемодан, Варва поднялся и поспешил откланяться. — Здравия желаю!

Когда его тяжелая палка затихла в коридоре, Влад впервые обрел дар речи:

— Спасибо, Абрам Рувимыч... Я вас никогда не забуду, что вы для меня сделали... Ей-Богу, не вру...

Тот молча поднялся из-за стола, бесполой тенью обошел его, опустил ся рядом с ним на диван и положил ему свою бесплотную ладошку на плечо:

— Благодарить меня вам не за что, Владик, я, как это говорится, только исполнил свой врачебный долг. К тому же вы оказались достойным лечения пациентом и помогли мне в этом. Но я хотел бы кое в чем предостеречь вас. — Казалось, он разговаривает не с ним, а скорее с самим собой. — Не доверяйте первым эмоциям, они чаще всего бывают ошибочными... Простите меня, но вы только что обидели этого, поверьте мне, далеко не самого дурного человека. Он ведь искренне радовался за вас. Но ведь и дурных обижать тоже совсем не обязательно. Как это ни прискорбно, они

не становятся от этого лучше, скорее наоборот. И начинают вымещать свою обиду еще на ком-то. Получается, простите меня, замкнутый круг. Облегчение злостью, Владик, опасное облегчение. Злость разрушает человека, и тогда он становится моим пациентом. У меня до сих пор лежит человек, который когда-то очень давно убил моего отца во время погрома. Видите, я доверяю вам и делюсь с вами профессиональной тайной. Что бы с ним стало, если бы я вздумал ему мстить? Я лечу его, Владик, и, поверьте мне, старику, постоянно радуюсь каждому его просветлению. — Слабым движением он повернул Влада к себе, и глаза их сошлись близко-близко. — Я говорю вам это, Владик, неспроста. Я верю, что вам дано больше, чем другим. И в любви, и в ненависти. Если вы начнете ненавидеть, она поработит вас целиком. Но любя, вы сумеете сделать многое. Вы редкий экземпляр человека, я многого жду от вас. Вам неизмеримо много дано, но именно поэтому и неизмеримо больше спросится. Постарайтесь стать достойным самого себя. — Жолтовский отвернулся. — Я кажется, заговорился, а вам пора собираться. Я распорядился, вам выпишут на дорогу и от нас. И соберут немного со склада... А это вот, — из кармана его халата выпорхнула аккуратная пачка мелких кредиток, — от меня в долг. Здесь ровно сто рублей. Отдадите, когда заработаете.

— Зачем, Абрам Рувимыч?

— Вы начинаете новую жизнь, Владик, а всякая новая жизнь, поверьте мне на слово, стоит денег.

— Если только...

— Берите ж!..

Нет, Абрам Рувимыч, нет, он не отдал вам ни этих денег, ни тепла, которым вы его одарили.

Он гонялся по стране за длинным рублем, гулял и пьянствовал, мстил обидчикам и злобился сверх всякой меры на всё, чем обделяла его жизнь: на женщин, на деньги, на славу, а когда наступила расплата, попытался покаяться, вот и вся ему цена на сегодняшний день, если таковая вообще нужна вам для последнего отчета. Суди меня, моя земля!

Она ждала его на выходе из главного корпуса, и они пошли к ней по селу, уже не скрываясь, и гордая стать ее при этом лишь матерела от косых и насмешливых взглядов из окон и калиток.

Дома Агнуша вычистила и отгладила его неказистую лагерную одежку, напекла рыбников на дорогу, сварила обед, поставила бутылку на стол, налила до краев по стакану, а когда они сели, первая подняла свой:

— Не поминай лихом, Владик!

Слезы душили его, когда он пил, когда ел, когда лежал с ней после этого в ее постели. И с этими так и не выплаканными слезами двигался с ней через всё село к переправе, стоял с ней в обнимку на пароме, провожая затуманенным взглядом бурлящую лесом запань, а затем, всё так же в обнимку, шел по дороге на вокзал.

Солнце изливалось над полем, сквозь которое несла их беда расставания. Даль за городом источалась голубым маревом. Река справа от них матово блистала, издавая молодой запах леса и водорослей. Жуки и вороны трудолюбиво и важно копошились в весеннем распаде. Мир всё так же торжествовал свое новое возрождение. Но что-то теперь изменилось в нем, а вернее — в них, и никакая сила уже не могла вернуть ему — этому миру — его прежней устойчивости и великолепия, его безбрежия и света. Да и что он без нас, этот

самый мир, какой в нем смысл, какое предназначение?..

Агнюша! Я пишу тебе это первое и последнее свое письмо. Может быть, из моего теперь уже двадцатипятилетнего далека наша встреча видится мне куда идилличнее, чем была она на самом деле. Может быть. Время украшает прошлое. Но тогда почему, почему же сердце мое падает, падает, падает, когда я думаю о тебе, только о тебе? Их было много потом, не тебе же перечислять сейчас их стати и достоинства, но ни одна, ты слышишь, ни одна своей тенью не закрыла от меня ни единой твоей черточки, ни единого движения. Что бы я мог сказать тебе еще на прощанье, с чем прикинуть к твоему слуху? Я благодарен тебе, Агнюша, благодарен за то, о чем ты и не подозреваешь. За доверие к женщине. Сколько бы я ни был обманут, я не перестану ей верить. И это — благодаря тебе. За чистоту твою, которой ты со мной поделилась. И сколько бы я ни падал, она не иссякнет во мне никогда. И это — благодаря тебе, Агнюша. За силу, взятую от тебя же! И какие бы поражения я ни терпел, я поднимаюсь снова. И это — благодаря тебе, Агнюша! А теперь прости и прощай.

Прощай, прощай, прощай!

16

Израиль! Израиль! Ночь за окном была всё так же снежна и кромешна, но что-то неуловимое уже обозначило робкое зарождение утра, где-то там, за пределом тьмы и метели. Теперь каждая минута неумолимо приближала Влада к предстоящему прощанию, которое навсегда разделит его с теми, кого он считал последней своей родней.

Чем-то этот отъезд походил на общую их для него смерть. Невозможностью возврата, наверное. Да, да, именно поэтому! Оттого, что они все-таки где-то будут существовать, утрата казалась еще нестерпимей. «Быстрее бы уж, что ли!»

Словно снисходя к его горечи, по ту сторону едва прикрытой двери заварилась шелестная возня:

— Сколько уже?

— Почти пять.

— Пора поднимать ребят.

— Пусть поспят, до шести успеем, соберем.

— Ничего не забыла?

— Кажется, нет.

— Он спит?

— Посмотрю...

Резким силуэтом тетка возникла на пороге, с усилием потянулась к нему, села в ноги, потерянно обронила:

— Пора.

— Сейчас встану.

— Лежи, еще ребят поднимать будем... Ты бы здесь, Владик, поберег себя. Поменьше пить тебе надо, кто ж теперь выносить за тобой будет, кругом чужие. Я ведь только из-за ребят, а то бы куда я отсюда сдвинулась на старости лет. Как-нибудь вдвоем бы и дожили...

Тетка еще что-то говорила и говорила, глотая слезы и от этого заикаясь, но он-то видел, знал, что говорит она всё это не ему, а себе и чему-то еще внутри себя. Ей словно бы необходимо было утопить в словах жгучую муку, источавшую ей душу. В таких случаях слушателю следовало молчать. И Влад молчал, давая тетке выговориться до конца. Это был единственный способ облегчить ей последние минуты перед неизбежным. Для него ее уже здесь не существовало, с ним оставалась

только их минувшая жизнь: разлуки и встречи, ссоры и примирения, долгое молчание и редкие разговоры, а за всем этим такая бездна пронзительных мелочей, достойных памяти, что, казалось, нахлынь они сейчас все разом, сердце не выдержит, разорвется от боли и тягостного томления.

Она, наконец, замолчала, поднялась и слепо провела рукой по лицу Влада, как бы запечатлевая его для себя в этом своем легком и безмолвном движении.

Всё последующее — лихорадочные сборы, путь в такси до Шереметьевского аэродрома, суэта проводов и даже самый их отлет — осталось в его памяти лишь необходимым, но бессмысленным продолжением к этому ее последнему прикосновению.

Израиль, Израиль! Где-то там, за семью горизонтами, в тридевятиом царстве, в тридесятим государстве ходит сейчас по Святому краю мой племянник Лёшка Брейтбарт, он же Самсонов, и чуточку, ну самую малость еще и Михеев. Молю тебя об одном, милый, где бы ты ни был, куда бы ни забросила тебя судьба, не забывай свою землю, она солонa от нашей крови и наших слез!..

17

В тот год ему стукнуло восемнадцать. Юность осталась позади, а будущее терялось в тумане, сквозь который ему предстояло еще идти и идти, чтобы увидеть, наконец, хоть какую-то перспективу. Но он верил в свою звезду. Он верил, что, вытаскивая его за волосы, из безвыходных, казалось бы, житейских переплетов, судьба готовила его для какого-то главного и, в конечном счете,

решающего испытания. И Влад исподволь, почти бессознательно готовил себя к этому.

Однажды, сброшенный пьяными проводниками с поезда, он отлеживался в кассовом предбаннике крохотного полустанка, где-то между Курганом и Петропавловском, намереваясь после первого облегчения двинуться дальше. Но день шел за днем, а боль не оставляла его, малейшее усилие давалось ему с трудом, перспектива загнуться с каждым часом становилась всё реальнее. Редкие пассажиры входили и выходили, не обращая внимания на скорчившегося под единственной лавкой бродяжку. Когда же подростковый организм взял свое и Владу стало немного легче, его одолел голод. При одном воспоминании о еде голова парня жарко и тошнотворно кружилась. Еда грезилась ему во всех ракурсах и видах. Еда преследовала Владу во сне и наяву, изматывая его своей победной навязчивостью. Хлеба! Хлеба! Хлеба!

И наконец он не выдержал, выполз из своего убежища в поисках хоть какой-то пищи. Выполз, огляделся и затих в немом созерцании чуда. Прямо перед ним, в совершенно безлюдном зале, около бачка с водой, стоял бумажный, наподобие цементных, пакет, в котором — он в это поверил сразу — была еда, много еды.

Еще не веря своему счастью, Влад заглянул в него и облегченно заплакал: несколько кругов конской колбасы и буханка хлеба были более чем достаточным к тому основанием. Но он мог бы поклясться всем святым в его жизни, что с самого утра в помещение никто не входил, ни одна живая душа, а на ночь кассирша запирала входную дверь на замок. Чем я отплачу Ему за эту великую милость?

У тебя всё впереди, мой друг, всё впереди,
только ты не забудь об этом, не забудь!

Не забуду!

Посмотрим.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

— Вы верите в Бога?

— Я буду веровать.

— ?!...

Журналист сидел перед Владом — красивый, скептический, уверенный в себе — в штучно скроенном костюме, брюки едва заметно расклешены, галстук в тон сорочке, и носок блистающего лаком ботинка мерно покачивался в такт каждому его слову. Задавая вопросы, он, этот современный язычник с пухлой чековой книжкой в кармане и уклоном в социализм, даже не скрывал снисходительной усмешки: уж кто-кто, а он-то доподлинно, прямо из первоисточника знал, что земля стоит на трех китах: науке, разуме, прогрессе, — и поэтому великодушно соболезновал простодушную собеседника. Ему, разумеется, как дважды два было ясно, с чего начался мир и чем этот мир кончится, всему на свете он давно определил цену и ничто уже не могло его удивить.

О самодовольная овца грядущих социальных экспериментов, уже готовая к стрижке и закланию! Сколько вас, гордых двигателей прогресса, встречалось Владу на этапах и в зонах — жалких, сломленных, потерявших человеческий облик, вечных обитателей лагерных помоек и больничных барачков!

Господи, как и какими словами мог бы Влад втолковать этому лощеному хмырю в твиде о тех неисповедимых путях, по которым, сквозь крым

и рым и медные трубы продирался он к тому огоньку, что озарил его жизнь своим невечерним светом, сообщив ей Смысл и Надежду? Разве поймет этот балующийся свободомыслием хлыщ меру и тяжесть тех смертных мгновений, когда рука невольно складывалась в трехперстую щепоть, а душа взмывала и падала в страхе и трепете? Разве вместит, слабая душа, Истину, которая званым-то не всегда под силу?

«Но погоди, господин хороший, заморский глухарь, токующий о революции и прогрессе, — горько посмеивался про себя Влад, — клюнет и тебя твой жареный петух в задницу, и тогда ты запоешь другим голосом, и выхаркаешь свои блаженные прожекты со слезами и кровью в следственных подвалах собственных заморских «спецов»*. Жаль только, поздно будет, а хотел бы я на тебя посмотреть тогда!»...

— Это не мои слова, это говорит Шатов в «Бесах» Достоевского. О нашей русской Вере лучше не скажешь. Мы чуть не девять веков живем не Ею, а в Ее ожидании. Отсюда вся наша история, все ее взлеты и падения. Через великое сомнение идет наш народ к Истине. Но зато, когда придет и примет окончательно, уже не отступится. У вас на Западе все наоборот.

— Вы — русские, странный народ. — Зеркальный носок ботинка описал изящную дугу. — Готовы до бесконечности спорить о вещах и вопросах, которые в цивилизованном мире давно решены и сняты, как у вас говорят, с повестки дня...

Чума на оба ваши дома! Откуда ты, человеке в лаковых штиблетах, уже решивший все вопросы бытия и снявший с повестки дня самого Господа

* «Спец» — специальный изолятор (жарг.).

Бога? Как же Он в самом деле милостив, если еще позволяет такому, как ты, хулить Его имя и при этом прощает тебя! Терпение у Него неиссякаемо, но хватит ли этого терпения у простых смертных? Хватит ли у них терпения смотреть и слушать, как безликие некто, движимые пресыщением и жаждой власти, лукаво соблазняют толпу новым дележом, в котором ей, в конце концов, так ничего и не достанется? Миллионы застреленных, сожженных, забитых насмерть, изведенных голодом ради «счастья всего человечества» от Праги до Кольмы, свидетельствуйте об этом! Или это самое «счастье человечества» стоит того? Стоит, чтобы во имя его можно было попирать все Божеские и человеческие законы, лгать, шельмовать, оплевывать, заставляя людей пить на допросах собственную мочу? Да какие гунны, какая инквизиция могла бы додуматься до этого? Не было этого на земле нигде, никогда, ни в кои, даже в самые скорбные века!

Тихое отчаянье душило Влада. Поди, расскажи этому залетному попугаю, какие сны душат его годами, не давая вздохнуть или опомниться! Особенно один: ночь, глухой прогулочный двор Бутырок, беспорядочная стрельба и крики, а над всем этим истошная мольба восьмилетнего отпрыска начальника тюрьмы, участвующего в бойне:

— Папа, дай я!

Вот она, цена за отпадение от Бога, господин хороший, и это уже никому не простится:

— Папа, дай я!

Слова сгорали в гортани от слез и ярости. Влад только беспомощно глотал воздух...

— Я вас не понимаю...

— Это у тебя впереди, — сложилось у Влада

само собой. — Да минет тебя чаша сия, будь ты проклят!

Влад обессиленно закрыл глаза. Ему сразу же стало не до гостя. Память, словно воронка, властно затянула его в свои бездны.

2

В телефонной трубке долго звучали, множились разноязычные голоса, потом наступила короткая, как провал, пауза и сразу же вслед за этим голос, ее голос, голос сестры:

— Здравствуй, — речь ее пресекалась то ли от помех, то ли от волнения, — как ты там?

Влад долго сглатывал, сглатывал, сглатывал жгучий уголек в глубине горла и, наконец, сглотнул.

— Вроде... Ничего...

Ах, эта трубка, это расстояние, эти помехи! Можно подумать, что все, все сговорились помешать им разговаривать! Но почему же тогда так отчетливо слышались голоса изредка перебивающих их телефонисток? И почему так сильно першило гортань? Отчего все еще не унималось сердце?

— Мы все очень беспокоимся за тебя, — пробилося к нему сквозь звон в ушах. — Ты не болеешь?

— Я никогда не болею, кроме...

— Знаю, знаю, но все-таки!

— Если ты имеешь в виду именно это...

— Нет, нет, что ты! Ты меня не так понял, здесь ходят всякие слухи. Бог знает, что говорят о тебе.

Влад уже справился с собой и мог говорить сравнительно спокойно:

— Как ребята? Как Лешка? Тетка как?

— Лешка хулиганит, связался здесь с одним аргентинским дружкойм и от них уже плачет весь квартал... Ира ходит в школу, начинает говорить...

— Тетка, тетка, говорю, как?

Пауза затянулась и оборвалась почти на истерике:

— Я не знаю, что мне с ней делать!.. Она нас ненавидит, она считает, что мы ее завезли... Но ты же знаешь, что она сама! Напиши ей, может, она хоть тебя послушает.

— Да, да, обязательно, но ты скажи ей от меня...

— Я скажу, но ты напиши.

— Да, да.

— Береги себя.

— Да, да...

— Мы тебя любим и помним.

— Да, да...

— Я буду звонить тебе.

— Я буду ждать.

— Целую. Береги, береги себя!

— Да, да... Жду твоего звонка...

Щелчок — и расстояние в тысячи километров, мертвая зона людского отчуждения снова разъяла их, поглотив в своей тьме все сказанное и все пережитое ими за эти долгие три минуты.

Это был голос как бы из потустороннего ничто. Ему почти немыслимо было представить себе сейчас, что, положив трубку, сестра двигается, говорит, что-то делает и вообще существует в реальных жизненных обстоятельствах. Чтобы принять вещи такими, какие они есть на самом деле, Владу придется еще долго привыкать к тому, что предложенная ему судьбой данность уже необратима. В конце концов, он привыкнет, но не смирится.

Не дай, Господь, согнуть им на Святой земле!

Красноярск лета пятидесятого года: наполовину деревянный город с оживленной пристанью над величавой водой, лесокомбинатом на правом берегу и кедровыми сопками вверх по течению. В пыльных улочках наклоном к берегу, за глухими заборами притаились рубленые пятистенники, затененные буйной акацией. Но внешняя захолустность его была кажущейся: мятежный дух дальних странствий, легкой добычи и шальных денег витал над ним, дразня воображение приезжих неофитов. Чуть не на каждом телеграфном столбе висело, обычно от руки нацарапанное, объявление с приглашением присоединиться к очередной экспедиции на Крайний Север, не говоря уже о суливших золотые горы красочных плакатах оргнабора. Все дороги перед тобой — выбирай, как говорится, любую!

Влад приехал в Красноярск после кратковременной вербовки на Тульский «Газстрой», откуда, получив в первую же выплату ноль целых, шипс десятых, сбежал и подался в поисках счастья в сторону тайги и неизвестности. До места он добрался, что называется, совсем налегке, спустив по дороге даже брючный ремень. Теперь, кроме классовых цепей, его действительно ничто не обременяло и ему нечего было терять.

У него было мало шансов оформиться хоть в какую-нибудь завалющую экспедицию: тридцать восьмая* в его паспорте отпугивала всякого сколько-нибудь солидного кадровика, поэтому он больше присматривался к призывам оргнабора, чем к

* Тридцать восьмая — одна из статей правил паспортного режима, ограничивающая право жительства в определенных городах.

скромным листочкам на телеграфных столбах. Но вербовка заманивала только лесоповалом и стройками коммунизма, а цену золотым горам, какие она сулила, Влад уже знал.

Но, неприкаянно бродя по городу, он — где, что называется, наша не пропадала! — все же решился: завернул на одно из рукописных объявлений, в прохладный подвал купеческого лабаза на тихой улочке под самым Енисеем.

За канцелярским столом, упершись острым подбородком в сложенные перед собой ладони, сидел лохматый парень лет тридцати и скучающе изучал пространство. Появление Влада немного оживило его, он поднял на гостя синие, с ленивым дымком глаза, спросил в упор:

— Ну?

— Насчет объявления, — растерялся Влад, — в экспедицию разнорабочие требуются.

Парень все так же лениво выбросил ладонь вперед:

— Документы?

Паспорт свой Влад подавал уже безо всякой надежды. И действительно, слегка полистав серую книжицу, кадровик безо всякого выражения обронил:

— Не пойдет. — Но возвращая паспорт Владу, вдруг весело осклабился и подмигнул ему дымчатым глазом: — За что гудел-то?

Немногословный и откровенный рассказ Влада заметно понравился парню, он окончательно оживился, даже откинулся на спинку стула, с интересом разглядывая гостя, но, в конце концов, все же развел руками:

— Рад бы в рай, да, сам понимаешь, начальство мне оформление твое не санкционирует, хотя мужик ты, я вижу, стоящий. Топай дальше, может, где повезет.

Первый отказ изрядно обескуражил Влада. Склонность к панике была его опасной слабостью, поэтому, выходя, он видел свое будущее в самых траурных тонах. «Везет мне, — оказавшись за калиткой, озадачился он, — прямо, как Чарли Чаплину!»

Но Влад не прошел и десяти шагов вверх по улице, как недавний голос с веселым вызовом окликнул его:

— Топай-ка обратно, герой! Слышишь?

Лохматый стоял у калитки, широко расставив длинные ноги, и синеглазое, в светлой щетинке лицо его сияло упрямым весельем:

— Хай воны чубы на себе рвуть, возьму я тебя, что-то в тебе есть, вороненок!

Тут же, у калитки, и произошло оформление: парень просто отобрал у него паспорт, буднично, не отходя, как говорится, от кассы отсчитал ему пятьсот рублей наличными, и сказал:

— А теперь гуляй до отправки. Спать приходи сюда, здесь у меня в сарае, на сеновале, все мои новые ландскнехты обитают. Не соскучишься. — И уже вдогонку добавил. — Моя фамилия Скопенко, фамилия, запомни, древняя и уважаемая еще на Сечи. Адреса не забывай! И не пей много, вредно!..

Станный он был человек, этот Скопенко. Не одну бутылку впоследствии сокрушили они вдвоем, еще больше в компании, но Влад так и не постиг до конца своего первого шефа. От его вечного, с налетом солоноватой иронии балагурства за версту несло кладбищем. Что-то там, внутри, жгло его, только непонятно было, что именно. Из синих глаз кадровика, из самой их дымчатой глубины, порою, в хмельную минуту, вдруг выплескивался такой белый свет отчаянья, что хотелось отвер-

нуться или зажмуриться. Но о том еще речь впереди...

Сарай, в котором жили «ландскнехты» Скопенки, помещался в глубине двора этого же дома, но, вернувшись вечером из города, Влад застал на месте лишь одного из них, желтозубого мужичка лет около пятидесяти, в сатиновой косоворотке. Сидя на сосновом чурбане перед распахнутыми воротами сарая, мужичок нанизывал чесночины, горькой собранные у его ног, на суровую нитку.

— Чеснок, — ответил он на вопросительный взгляд Влада, — на Крайнем Севере перьвое дело. Цинга, она, браток, кусается, чуть попустил — враз без зубов останесся.

— Где народ-то, или больше никого, кроме тебя?

— Как иде, — тот, в простоте душевной, даже не посмотрел на него, — пьют. Аванец пропивают. А как жа?

— А ты что же?

— У мене их знашь, сколько ртов-то? А, то-то и оно, а говоришь, не подумамши. А ихо дело молодое, пей-гуляй, семеро по лавкам не сидять. Я молодой был, тожесть пожировал на славу. — И вдруг, как бы опомнившись. — А ты, небось, новенький? Как звать-то? Меня в деревне Иван Акимычем кликали. Калачев фамилиё. — Короткое знакомство сделало мужичка еще более словоохотливым и радушным: — Я по какому уже разу еду, заработки хорошие, харчи тожесть, дай Бог всякому, омундировка опять же даровая, а работенка так себе, против колхозу никакого сравнения нету, да тройной оклад, шутка ли! А в навигацию в Хатанге на погрузке за ночь пять сот можно выколотить, а ты говоришь!..

Пожалуй, Влад и до этого знал: такими калачевыми земля держится, но только теперь, спустя

много лет, при всем уважении к ним — этим калачевым, — с горечью усвоил, что ими же держится и всякая на земле неправда. Мы люди маленькие. Наша хата с краю. До Бога высоко, до царя далеко. Плетью обуха не перешибешь. Вот набор их нехитрых истин, под которые они тянут свое ярмо через всю жизнь, чем ее и обновляют, и создают, и украшают. Блаженны нищие духом!..

Первым из вечерних сумерек выявился паренек чуть старше Влада. Едва держась на ногах, он долгими зигзагами преодолевал расстояние от калитки до сарая, а когда преодолел-таки, остановился перед Калачевым, покачался на неверных ногах и насмешливо сложил:

— Как идут заготовки, папаня? Как план-заказ? Какие соцобязательства? Родина ждет.

Иван Акимыч охотно подыграл:

— Все в аккурат, товарищ начальник! План по табаку на сто один процент, по выпивке на сто два, по закуси недотянули маленько, промашка вышла, гривенника на пряник не хватило. — Он заговорщицки подмигнул Владу. — Ты бы, Гена, сыграл лучше на своей гармошке, уж очень чувствительно у тебя получается.

Тот послушно направился в глубину сарая и вскоре оттуда потянулся на удивление стройный звук аккордеона: «Степь да степь крутом, путь далек лежит...» Мелодия заполняла вечернюю тишину, откликаясь в сердце неизъяснимым томлением. Но ведь и не ямщик, и не замерзал, и завещать никому нечего, а вот поди ж ты, возносится душа в горние выси и низвергается вновь в аспидные пучины: вниз — вверх, вниз — вверх, вниз — вверх. Господи, каких только подарков Ты не сделал нам — грешным!

И, словно на призывный клич птицелова, во двор по одному стали стекаться члены скопенков-

ской команды, с которыми Влад впоследствии и познакомился: фиксатый* москвич дядя Лёня, человек лет сорока с обширными залысинами на высоком лбу. Рябой детина, сибиряк из-под Ачинска того же, примерно, возраста, но видом помоложе и поприветливей. И, наконец, Женя Ротман, студент-практикант ленинградской выделки. Каждый из них, с трудом миновав двор, скрывался, исчезал во тьме сарая, в самой, казалось, глубине мелодии.

— Айда и мы на боковую. — Калачев закончил работу, связал нитку кружком и поднялся. — Завтрева встанут, как огурчики, ребятки один к одному, лучше некуда...

Музыка смолкла и мир затих, и в этой тишине Влад услышал себя, свое сердце, и мысленно унесся в прошлое, и там, в этом прошлом, перед ним распахнулась зыбкая даль над Сокольниками. Он увидел себя идущим сквозь березовый лес отчей окраины. Куда ты идешь, родимый, что видишь ты впереди? Какой великий соблазн или какая великая вера ведет тебя через все, что ты уже прошел, и через то, что тебе еще предстоит пройти? Что-то мерещится, что-то грезится ему вдали такое, отчего душа его сладостно замирает в предчувствии чуда и восхищения. Тогда иди, родимый, тогда иди!

Утром в сарай заглянул Скопенко и, по обыкновению скалясь, возвестил:

— Сегодня ту-ту, касатики, едем. Поели, попили, пора и честь знать, труба трубит!

К вечеру старенький пароход «Надежда Крупская» уносил их команду вниз по Енисею, к далеким дымам Игарки.

* Фиксатый — человек с металлическими зубами (жарг.).

Енисей! Много рек довелось увидеть Владу: от кавказских, водопадного нрава, до тишайших гладей средней России, но такой мощи, такого размаха, таких излучин и поворотов еще не было на его памяти. Лишь среди этого гулкого простора Влад по-настоящему осознал всю неимоверность замкнутого тринадцатью морями пространства, на котором он жил и которое звалось — Россия.

Пароход шлепал до Игарки шесть суток, по обеим сторонам палубы тянулись высокие, в хвойной щетине берега, на песчаных отмелях которых то и дело попадались карьеры, где обнаженные до пояса люди копошились вокруг путей и вагонеток под присмотром изнывающих от жары стрелков. В такие минуты Влад не отворачивался, нет! Наоборот, видения эти словно бы завораживали его. С жутким эгоизмом спасенного Влад радовался своему спасению именно при виде оголенных до пояса людей, на месте каждого из которых он мог сейчас оказаться. Через много лет он вспомнит об этом и ему станет страшно за себя, за свою душу, уже тогда робко ступившую в мертвую зону эгоизма. Спаси меня, моя судьба, и, Господи, спаси!

В трюмном отделении, где они разместились вместе с экспедиционным барахлом, было тесновато, зато весело. Пропившись, спутники Влада словно исполнили какой-то обязательный в их положении долг или обряд и успокоились, обретя тем самым свой подлинный облик и характер. С утра они разыгрывали на спичках, кому бежать наверх, в каюту к Скопенке, выпрашивать очередную авансовую десятку, потом закупали на нее хлеба и сахару, чтобы под даровой кипяток и аккордеон Гены устроить вполне сносное пиршество.

Ближе всех за несколько дней пути Влад сошелся с Ротманом: вчерашний десятиклассник, большие глаза навывкате, незащитно открытое, чуть подернутое пухом будущей бороды лицо. Ротман располагал к себе сразу, стоило ему только застенчиво улыбнуться в сторону собеседника. Она — эта улыбка — была как бы визитной карточкой его полной житейской беспомощности. Владу он виделся вестником, гонцом, посланцем другого, давно грезившегося ему мира, явлением иной, еще непонятной для него жизни. Влад тенью следовал за новым товарищем, а тот, видно, впервые оказавшись в роли учителя и пророка, старался не ударить лицом в грязь: объяснял, наставлял, рассказывал. Именно в те дни и произошел между ними навсегда врезавшийся в его сознание разговор.

— Зачем, к примеру, ты пошел на геологический? — допытывался Влад. — Пошел бы на математический или на литературный, куда выгодней.

Темные ресницы Ротмана удивленно распахнулись:

— Но это же безнравственно, Владик.

В тоне Ротмана не чувствовалось ни восклицания, ни вопроса, он просто-напросто утвердил это, как что-то само собой разумеющееся, о чем даже не говорят попусту. Влад долго еще потом не мог взять в толк, что же в его вопросах было худого или диковинного? Мир представлялся ему тогда в двух цветах: черное или белое, хорошо или плохо, да или нет. Оттенки, полутона, плавные переходы еще ускользали от него, вызывая в нем глухое чувство недовольства и раздражения. «Интеллигенты малохольные, — досадовал он в таких случаях, — мозги набекрень!» С годами зрение его обострялось, мир раздвигался перед ним,

все усложняя и множа свою расцветку, и где-то к тридцати он стал разборчивее в словах и оценках. Душа в нем, однажды встрепенувшись, медленно продиралась к свету сквозь потемки страха и ненависти. Червь оборачивался бабочкой...

Стоянка в Енисейске ознаменовалась первым купанием. Жара согнала с палубы всех, кто хоть как-то мог держаться на воде. Здесь-то Влад и увидел ее — пшеничная вспышка над блистающей гладью реки с двумя зелеными капельками под солнечной прядью. Зинка, Зинка, легкая боль в памяти, резкий блик во тьме прошлого, призрачная гостья сегодняшних сновидений, не ходи за ним по пятам через всю его жизнь, в ней — этой жизни — уже нет для тебя места!

Влад зигзагообразно кружил около енисейской белянки, взмах за взмахом сужая свое кольцо, пока, наконец, не подплыл к ней почти вплотную, и только тут, сквозь гул в ушах и сердцебиение, услышал ее горловой смех:

— Ты за мною, мальчик, не гонись, — зеленые глаза из-под слипшейся пряди вызывающе мерцали, — по другому сохну.

— Хорошо плаваешь.

— Чего? — непонимающе поморщилась та.

— Хорошо плаваешь, говорю.

— На реке выросла. — Казалось, смех ее, слетая с губ, рассыпается искрящимися брызгами и сразу же оседает к ней на лицо и плечи. — Догони-ка!

Частыми саженками она устремилась к судну, только острые лопатки ее замелькали под тугими ляжками лифчика: золотая торпеда на блистающей плоскости воды. «Как рыба, — еле поспевая за ней, восторгался Влад, — будто в воде родилась!»

Потом на палубе, уже одетая, с аккуратно заплетенным пучком под белой косынкой, она рассказывала ему о себе:

— Городок у нас хоть и старинный, а маленький, работать негде, парни после армии домой не едут, вот девчата наши и наладились в Игарку вербоваться. Много, конечно, не заработаешь, зато весело, а кому, может, и повезет, — замуж выскочат. Я сперва не хотела, очень уж боязно, говорят, пьянка там большая и ночь долгая, да где наша не пропадала, двух смертей не бывает, одной не миновать, нынче вот собралась, не погибать же мне здесь от тоски, что я, хуже всех, что ли! Семья у нас маленькая, два братика у меня еще, Колюня да Мишенька, а все одно — лишний рот в тягость. Глядишь, из Игарки-то и я им подмогну маленько. Папаня у нас инвалид, замки в артели штампует, только больше болеет, чем на работе, маменьке одной за всех достается. Она у нас двухжильная: в столовой на мойке да еще школу за полставки убирает. Плохо-бедно, а до десятого класса они меня дотянули, шалопутку, хоть и трудно было. Только не на пользу мне учење, неспособная я совсем, у меня глаза мимо книжек глядят. — Она посмеивалась, желтые ресницы ее при этом почти смыкались и начинало казаться, что взгляд ее и впрямь устремлен куда-то мимо всего, сквозь окружающее, поверх людей и предметов, на что-то одной ей видимое и постижимое. — Была бы моя воля, шла бы я себе и шла, куда глаза глядят, не останавливалась, и смотрела бы да смотрела!..

Сумерки стекали с сопок, окрашивая реку во все тона летнего заката, береговой лес темнел и сгущался, туманная даль впереди медленно сокращалась, и в душу незаметно вкрадывалась та самая вечерняя печаль, от которой, словно в предчувствии долгого падения, томительно и сладко

замирает сердце. «Солнце сходит на запад. Молчанье. Задремала моя суета». Нам еще жить и жить, но вечер уже коснулся нас...

На подступах к Курейке затихший было в конце пути пароход ожил. По всем помещениям и закоулкам судна растекалось на разные лады жесткое, но весьма вместительное слово: Сталин, Сталин, Сталину. И когда на крутоярье безлесого берега возник легкий, сверкающий голубизной стекла павильон, народ, не стовариваясь, подался к правому борту: вот оно, здесь! Тот, при одном имени которого, казалось, затихала в страхе и благоговейном трепете всякая живая тварь и смирялась самая природа, жил здесь, ходил по этому берегу, дышал этим воздухом, отбывал, как простой смертный, срок ссылки и, что самое странное, от такого надругательства над величием, такого неслыханного святотатства не вяла трава, не гасло солнце и не исчезала жизнь на грешной земле! С высот минувшего тридцатилетия это представлялось почти немислимым.

Следом за всеми Влад поднимался на высокий берег, растерянно оглядывал внутри павильона полусгнившую избушку и ее собранное явно с бору по сосенке содержимое, — колченогий стол, табуретку, вилку под стеклом, два-три факсимиле там же, — вполуха слушал объяснения экскурсовода с военной выправкой и долго еще потом раздумывал о превратностях судьбы, вознесшей семинариста-недоучку на те умопомрачительные вершины, с которых тот казил и миловал кого хотел в пределах доброй трети земного шара, держа в постоянном страхе остальную его часть. Много дорог от Гори до Курейки, но еще больше было их у Сосо Джугашвили на обратном пути, какой привел его на разреженную высоту ничем не ограниченной власти...

Игарка оглушила их тридцатиградусной жарой и незаходящим солнцем. Едва коснувшись горизонта, оно снова взмывало вверх, и его победное сияние вновь обрушивалось на город. Целыми днями бродили они с Зинкой по деревянному царству, где на перекрестках, около бочек с водой красовались непривычные для глаза предупреждения: «На улицах не курить! Штраф — сто рублей». Кривобокие, с окнами у самой земли избы и двухэтажные, барачного типа коробки проплывали мимо в душном запахе пиленого леса и гнили. Пестрые пятна экзотических стягов маячили над крышами со стороны порта, обещая странствия и надежду. Рев «амфибий» при взлете время от времени взрывал знойную тишину над городом. Ощущение острой новизны окружающего помогало им не устать и не утоляться.

Под вечер они, обычно, спускались к воде, и там, сидя на обсохших плывунах, вели бесконечные разговоры, из тех, какие забываются уже на другой день, но бездумную легкость которых помнят затем всю жизнь...

— Нравится тебе тут? — спрашивала она, заглядывая ему в глаза снизу вверх, и соломенные волосы ее при этом тяжело ниспадали к коленям.
— Правда, хорошо?

— Не спится только с непривычки.

— Пройдет...

— Вот тебе и Север, жарко, как в Сочи.

— А ты был в Сочи?

— Я много где был.

— Везет людям, а я вот дальше Красноярска нигде не была, море это самое только в кино и видела.

— Еще побудешь.

— Если бы! Мне бы только счастье привалило, я уж своего не упущу, не на такую напали!

— Смотри, какая хваткая.

— Какая есть, а уж цену себе знаю.

Влад искоса взглянул в ее сторону и чуть не поперхнулся от удивления: куда девалась провинциальная беляночка с детским вызовом в зеленых глазах? Мягкое лицо Зинки заострилось, веснушчатый носик решительно вздернулся, глаза отрешенно выпвели, а вся ее облепленная ситчиком фигурка выражала в эту минуту бунт и угрозу. Точь в точь хищный птенец перед первым вылетом. «Да, — с невольным почтением подумал он тогда, — такая ничего не упустит».

Братва отнеслась к его бессонным прогулкам по-разному. Встречая Влада за полночь, вечно бодрствующий Калачев неизменно подступал к нему с очередным поучением:

— Женись, Владька, верно тебе говорю, у нас в Сибири девки хозяйственные, как за каменной стеной будешь. Бобыль, он и есть бобыль, только истаскаешься весь и боле ничего. Скоро деньги пойдут, опять же соблазн, а с бабой они целее и при деле. Женись, Владька, верно тебе говорю, вспомнишь Калачева...

Дядя Леня, сталкиваясь с ним, беззлобно поспеивался:

— Заарканила тебя рыжая-то! Смотри, парень, у них здесь чалдонская хватка, косолапых гольми руками вяжут. Чуть зазевался, пиши пропало, от алиментов век не отплюешься.

Один только Гена молчал, хмыкал многозначительно, заговорщицки подмигивал при встречах, но, в конце концов, не утерпел-таки, рассыпался однажды ему вслед частушечным аккомпанементом:

Меня девки звали в гости,
А я в гости не пошел.
Пиджачишко на мне рваный
И хренишко небольшой...

Но вскоре Влада вызвал к себе кадровик. В здании школы, где они размещались, Скопенко занимал кабинет завуча — сумеречный закуток два на три, с единственным окном, упирившимся в торцовую стену точно такой же деревянной коробки.

— Ну, жених, — едкая насмешливость кадровика сообщала всему в этой комнатенке — письменному столу, книжному шкафу, карте страны, диаграммам, усатому портрету на стене — едва ощутимый привкус тления, — погулял и будя, а то я вместо рабочих семейное общежитие в Хатангу привезу. Вот караси, — мотнул он лохмами, — не успеют опериться, как уже смотрят, к кому бы на крючок сесть. — И сразу же вслед за этим сморщился, словно от зубной боли, сорвавшись почти на крик. — Да будь они все прокляты, всем им одна цена, любая ни за грош продаст! — Кадровик отвернулся к окну и, с трудом овладев собой, закончил вполне миролюбиво. — Завтра с утра полетишь с первым же попутным, иди, собирайся, времени у тебя в обрез.

До чего же просты ответы у всех человеческих загадок, даже, право, смешно!..

Влад увидел Зинку, когда лодка уже отчалила от пристани. Она неожиданно вспыхнула на берегу, объята пламенем своего ситчика, вскинула руки вверх и прощально взмахнула ими над солнечной головой. Полоска воды между ним и ею все росла и росла, пока, сделавшись за иллюминатором самолета речной пропастью, окончательно не разделила их.

«Амфибия» еще долго кружила по воде, набирая скорость для взлета, и сквозь кружево пены за окном Владу раз или два все же удалось разглядеть за окном пестрое пятнышко на берегу и две прощально вскинутые над головой руки: «Прощай, Зинка, пшеничная чалдоночка Енисея, а вернее, до свидания, нам еще предстоит с тобой встретиться!»

Где-то впереди, в сквозных топях лесотундры, Влада уже ждала Хатанга, следующая часть его жизни.

5

Сверху лесотундра походила на карту кровеносных сосудов: запутанная сетка больших, малых и просто крошечных артерий на плоскости золотисто-зеленого простора. Теперь же, идя по ней песчаным берегом речного рукава, Влад видел перед собой только быструю воду и чуть побитую ржавчиной зелень лиственниц над этой водой. Сквозь сетку накомарника мир вокруг гляделся размыто и смутно, как на старой киноленте.

Пятые сутки прозрачная Меймича срывала на нем свой яростный норв. Пятые сутки тянул он вверх по течению в одной упряжке с Геней и Ротманом лодку, груженную поисковым оборудованием с женой кадровика — рентгенологом Ириной Михайловной — впридачу. Разинской княжной возвышалась она позади, одним своим молчаливым присутствием подгоняя их и будоража воображение. Постоянно опущенный, словно чадра, накомарник лишь подчеркивал это сходство. Она сидела на корме лодки, молча и безучастно глядя куда-то через и поверх их, но эта ее кажущаяся отрешенность вызывала в них еще большую напряженность.

На стоянках она, вяло отведав мужского вара, уходила в тайгу и возвращалась лишь к очередному переходу. За дорогу она не сказала, пожалуй, и двух слов. Кто знает, о чем думала эта странная женщина, что искала в лесу, но что-то в ней было такое, от чего всякий раз при взгляде на нее у Влада замирало сердце. И, видно, не у одного Влада. Ротман старался не смотреть в ее сторону, а Гена совсем затих и даже не прикасался к своему аккордеону. И только проводник группы Сергей Боков, — в косеньком глазу неизменная веселая насмешливость, — поглядывая на ребят, беззвучно похохатывал да качал кудлатой головой:

— От дела!.. От дела!.. Чисто цирк!..

К Меймиченской базе они подходили, уже опротивев сами себе и не глядя друг другу в глаза. Во всяком случае, Влад своим умом дошел, почему таких вот, вроде этой, в иные минуты бросают в набежавшую, так сказать, волну. Господь тебя прости, Степан, свет, Тимофеич!

Меймиченская база! Три деревянные коробки — кухня, контора, склад — и несколько обложенных дерном палаток: затерянное в тайге стойбище случайной ватаги людей, охотников за длинным рублем или приключениями. И бесцветное низкое небо над всем этим. И подернутое легкой ржавчиной море лесотундры вокруг. Внизу под крутым берегом, с камешка по камешку, весело беснуясь, несла себя к близкому порогу по-девичьи капризная Меймича. А там, за гулким порогом, за долгим таежным ежиком синели низкорослые горы в легкой опушке розовых в час заката облаков.казалось, что у этих гор и обосновался тот самый «край земли», о котором пишут в детских книжках. Какая даль тебя манила на край земли, на край земли!

На кухне, куда Влада с самого начала определили подсобником и где властвовала неряшливая светловолосая Сима, жена базового плотника, вечно толкались осатаневшие от мужского одиночества поисковики, и повариха, надо отдать ей справедливость, не отказывала почти никому, разве что иногда и то по свойственной ей лени.

Законный же супруг ее, вконец загнанный и забитый ею мужичонка лет пятидесяти по кличке «Лапоть», не столько зная, сколько чувствуя ситуацию, ходил по территории, затравленно озираясь, и частенько нудился Владу по вечерам:

— Симка у меня баба правильная, только в ей тела много, на двоих заказано, одной досталось, вот она и выкомаривает. Ты бы мигнул мне, если что, я бы с ей тогда не так поговорил.

Ему было обидно за «Лаптя», он жалел плотника, но стать блюстителем симкиной нравственности могло оказаться не по силам даже целому взводу монахинь, тем более, что оголтелая повариха, видно, прискучив мужиками, зарилась и на самого Владу, отчего того лишь брала оторопь.

Раз в день, в дополнение ко множеству других обязанностей, Владу вменялось возить на лодке обед поисковикам, занятым на пробной промывке. Тянуть приходилось вверх по течению примерно километра полтора, и на подходе к поисковой косе он порядочно-таки выматывался. Зато здесь, среди знакомых ребят, около большой работы, душа его, истосковавшаяся по стоящему делу, словно бы отдыхала, невольно втягиваясь в ритм промывки.

Сам по себе процесс выглядел делом нехитрым: помпа, вашгерт — ящик с ситами, наподобие улья, — вот и вся, казалось, недоля, но ощущение чуда исходило от того, что там, на дно этого самого вашгерта, может быть, каждую секунду скатывалась алмазная искорка. Сим, Сим, открой дверь!

По неизвестно кем установленной традиции, главным времяпрепровождением после работы стали коллективные попойки, на которых, разумеется, главной фигурой считался Гена с его неизменным аккордеоном. Пирыв устраивались каждой палаткой по очереди и готовились загодя. Очередники еще за неделю до своего званого приема шли к кладовщику Петровичу, большому любителю даровых угощений, набирали сахару и в двух больших молочных бидонах заводили брагу. В закусках все старались перецеголять друг друга. Складские консервы ставились ни во что и служили для гостей предметом пренебрежения и насмешек, дикую гусятину гость воспринимал чуть благосклоннее, свежий таймень поглощался с воодушевлением, но лишь печеные перепелки шли на «ура». Пиров веселая отрада. И пьяницы с глазами кроликов ин вино веритас кричат!

Тризны обычно начинались торжественно и немо. Но уже вскоре, сквозь говор и гвалт щедрого застолья можно было расслышать тихий аккордеон Гены. Для него все окружающее вроде бы отсутствовало, не существовало, не пробивалось в него. Трезвыми глазами смотрел он куда-то сквозь явь, вернее, внутрь себя, исторгая в мир из-под своих послушных пальцев, казалось, собственную душу. Она, эта его душа, словно бы прощала всем и каждому вокруг и мутную их пьянь, и спящую в них глухоту, и благоприобретенную ими ожесточенность...

Как это случилось, Гена, когда и в какой день, я не помню, но однажды она — наша дорожная с тобой княжна, явилась на одну из этих тризн. Вошла и присела у самого входа, и, присев, молча посмотрела в твою сторону. Только посмотрела, и ты погиб, Гена, да, Гена, ты погиб прежде, чем тебя затянуло затем под тонкий лед поздней север-

ной осени. Ты не бойся, Гена, ты не бойся, это, в сущности, не так уж и страшно!

Не одна пара враз протрезвевших глаз провожала вас, когда вы вдвоем выходили из палатки, но среди них самыми тоскующими были глаза Ротмана.

Она оказалась короткой и стремительной, эта молчаливая их любовь. Их словно бы что-то гнало к ее скорому завершению.

Задолго до конца смены Ирина Михайловна уже ждала его на опушке у косы, и, едва помпа у вашгерта складывала свои крылья, он спешил к ней, и они уходили в тайгу, и жгучая тишина сопровождала их в этом пути, а золото осени сияло над их головами.

Скопенко нагрянул на базу неожиданно и шумно. Все такой же всклокоченный и небритый, он вполпьяна носился по территории, покрикивал, тормозил, распоряжался:

— Спите, сукины дети, а план горит!.. Я вас заставляю работать по-человечески!.. Ишь, сачки, курорт развели: пьянки, гулянки, приятные собеседования! Давай, Пономарев, собирай группу, на другой стороне коса спит!..

Начальник партии, медлительность которого давно вошла здесь в поговорку, пытался слабо сопротивляться, но Скопенку не так-то просто было переговорить, и вскоре Пономарев с половиной производственного состава уже переправлялся через остывающую речку, прихватив с собою единственную на базе рацию.

Через неделю Меймича стала. Напрасно Скопенко метался по берегу, кричал, размахивал руками, толку от этого не прибавлялось: база осталась без связи. Набегавшись и чуть протрезвев, он собрал на берегу оставшихся работяг и, кивнув

небритым подбородком на другой берег, коротко спросил:

— Кто?.. Не обижу.

Ребята молчали: охотников рисковать головой за сомнительные коврижки кадровика не объявлялось. Только один Калачев подал голос:

— Зазря идтить. Не сдёржит.

Скопенко осадил его коротким полувзглядом и снова вопросительно обвел строй:

— Ну?.. Тройной оклад хватит?.. Еще добавлю.

Да, да, Гена, она, словно из-под земли, появилась тогда на берегу, молчаливая твоя погибель, Ирина Михайловна. Могу и сейчас памятью матери родной поклясться, что еще за минуту до этого её не было среди нас. Появилась и уставилась тебе в переносицу своими шамаханскими глазами, словно даже и не сомневалась в том, кто должен был в эту минуту решиться и выступить вперед. И ты действительно выступил:

— Попробую, пожалуй... Только так... Без денег.

И тут наступила очередь побледнеть Скопенке. В какую-то долю секунды он схватил, осознал суть происшедшего, но угроза остаться без связи оказалась в нем сильнее внезапного потрясения.

— Что ж, романтик моря, — криво и жалко усмехнулся он, — попробуй, отвечать вместе будем.

Что было потом, этого Владу уже не забыть. Гена попросил доску подлиннее, и ее ему тут же принесли и положили перед ним. Затем он опустился на корточки, выдвинул доску впереди себя, грудью лег на лед и медленно пополз, одной рукой держась за свой деревянный упор. Он тихо передвигался, а за каждым движением его, не дыша,

следили все оставшиеся на берегу. Влад искоса взглянул в сторону Ирины Михайловны и небо над ним сузилось до размеров грошовой овчинки: та глядела вслед Гене, словно не видя, не замечая его. В тонко поджатых губах ее змеилась едва скрываема издѣвка. Так смотрят неотмщенны на гибнущего врага.

Гена, тем временем, миновал середину фарватера. С берега казалось, что он уже в безопасности, но лед под ним вдруг выгнулся, давая зигзагообразную трещину. Некоторое время доска еще продержала его на поверхности, но уже в следующую минуту она соскользнула под ледяную кромку, увлекая за собой свою жертву. В течение одного общего вдоха на белой поверхности реки не осталось ничего, кроме все той же, безобразно зазубренной трещины.

После нелепой суматохи, после гама и крика, не приведших, разумеется, ни к чему путному, когда всем на берегу стало, наконец, ясно, что сделать ничего нельзя и суэта бессмысленна, база замерла в угрожающем оцепенении.

В полузабытьи бродя по заиндевелоу лесу, Влад, незаметно для себя, вышел к поисковой косе и здесь дремлющий слух его обожгло из-под берега сдавленным криком. Затем услышал знакомый голос Скопенки, скорее не голос — сдавленный хрип:

— Сука... Сука... Сука... Блядь привокзальная... Из-за тебя... Из-за тебя... Мразь, откуда ты только, какая тварь тебя родила?.. На... На... На...

Нет, Влад не взял тогда греха на душу, не взглянул вниз, но он догадывался, вернее знал, что там происходит. Его почти колотило, но у него не было силы сдвинуться с места, уйти, забыть, вычеркнуть происходящее из себя...

— Будь ты проклята... Будь ты проклята, шлюха... Всю кровь из меня выпила... На... На... На...

И стон в ответ, и смех, в котором тоска мешалась с откровенной ненавистью.

— Ненавижу... Ненавижу... Всех вас ненавижу... Скоты... Скоты... Скоты... Только ты... Скоты...

Боже мой, Боже мой, сотри в его памяти все, что ему пришлось услышать тогда. Вот она, какая жизнь, золотой ты мой, аметистовый!

6

В самом начале зимы Влада перевели в Хатангу. Дымная от мороза ночь висела над поселком, когда старенький «кукурузник» доставил его к месту назначения. У этой ночи было свое неповторимое дыхание, от которого на душе становилось холодно, пусто и неудобно. Казалось, тебя опустили в некую студеную бездну, и ты, с перехваченным дыханием, движешься в ней, в этой бездне, неизвестно куда и зачем. Она — эта ночь — была вязка, будто ватна и как бы абсолютно беспросветна. Среди такой темени человек мог думать только об огне и крыше.

На аэродроме Влада встречал тот же Скопенко. Переминаясь с ноги на ногу, кадровик искалательно заглядывал ему в глаза и все совал, все совал свою ладонь в его непослушные руки:

— Переночуешь сегодня у меня в балке, а с утра я тебя устрою... В тесноте не в обиде... Лады?

Кажется, Владу было бы легче остаться среди этой лютой ночи, чем провести хотя бы час под одной крышей с кадровиком, но выбора не предоставлялось, и он, крепя сердце, двинулся следом

за хозяином в обжигающую темь. «О чем я с ним говорить буду! — стучало в нем холодеющее сердце. — О чем!»

Пышущая временемка в балке Скопенко исходила раскаленным жаром. Едва засветив лампу, хозяин заспешил, засуетился: расчистил от бумаг стол около крохотного окошка, выстлал его газетой, почти мгновенно на ней появились четыре кружки — две для воды, две — для спирта, отливающая синевой бутылка ректификата, вскрытая заранее банка консервов.

— Ну, — искательно сказал тот, разлив угощение по емкостям, — давай первую за благополучное приземление...

Хмель немного облегчил Владу сердце, но не убавил горечи от минувшего: «Зачем все так получилось, — изводило его, — зачем?»

— Вторую за дружбу, — подлил ему Скопенко. — Ты теперь записной зимовщик, а зимовщикам без дружбы нельзя. Перегрызем друг друга. Понял?

Он не закусывал, этот Скопенко: глоток воды и — снова за бутылку. Кадровик будто спешил, торопился, гнал себя в это самое хмельное забытьё, но чем больше он пил, тем дальше отступало оно от него, что парня явно и остервеняюще мучило.

— Думаешь, я не знаю, что ты на меня имеешь? — прорвало его наконец. — Вроде только у тебя душа есть, у Скопенки ее нет. Во мне, может, после этого живого места не осталось, все болит. Мне б его ненавидеть и радоваться, что так все получилось, а у меня волосы лезут, только о том и думаю... Олененок ты еще, олененок, знать бы тебе, на что баба способна. Душу из человека, как змея, высосет, и дальше поползет, даже не обернется... Понимаешь, не обернется даже... Вот и

эта... Уползла дальше, за добычей, будь она проклята!

И по мере того, что и как он говорил, Влад отмякал, проникаясь к нему пониманием и жалостью, хотя чувствовал, сознавал, что совершает сейчас, может быть самое непростительное в своей жизни, предательство. «Нет, нет, нет! — протестовала вся его суть, а что-то неподвластное ему навязчиво утверждало в нем: — Да, да, только так!»

«Прости кающегося» — это дойдет до него потом, через много лет, чтобы уже не оставить...

На другой день, если этим словом можно обозначить чуть разведенную синьку за окном, Владу отвели место в общем бараке, пристроив у самой двери еще один лежак. Пока горела времянка, в бараке дьшалось довольно сносно, но стоило ночью ей погаснуть, а охотников вылезти из своего спального мешка, чтобы подтопить, не находилось, деревянная коробка промерзала к рассвету насквозь. Так каждый утренний подъем становился равнозначным броску на амбразуру. Идущие на смерть, можно сказать!

С месяца Влад прокантовался на случайных подсобных работах: выгружал с зимующего парохода экспедиционное оборудование, кайлил смерзшийся уголь, рубил дрова для начальства. А в промежутках, не заполненных ничем, кроме черной, с прорывами северного сияния ночи, мутно и горько пил. Пил в компании и в одиночку, пил все, от спирта до одеколона включительно, пил так, как будет еще пить через несколько лет, уже в газете, безо всяких видимых причин и особой тяги. Какая уж там, к черту, «ин вино веритас»!

И расплата, так сказать, предупреждение слыше, первый знак Предопределения, не заставили себя ждать. Однажды он все же не дошел до барака, рухнул в полубеспамятстве в снег. Прямо по

тебе, питерский дружок и собутыльник мой, Глеб-ка Горбовский, прямо по твоему стихотворному рецепту: «У магазина «Пиво-Воды» лежал нетрезвый человек, он тоже вышел из народа, он вышел и упал на снег...» Но это потом, это потом, а тогда он лежал, опрокинувшись навзничь и бесстрастные звезды отливали над ним головокружительностью и синевой. Прости его, Господи, но как ему хотелось тогда умереть!

В душу Влада струились мир и тепло, и чей-то голос из ниоткуда спрашивал его, а он мысленно, со смирением отвечал:

— Кто ты?

— Никто.

— Чего ты хочешь?

— Ничего.

— Ты хочешь умереть?

— Не знаю.

— И не хочешь узнать?

— Нет.

— Но, может быть, в этом есть смысл?

— Нет, нет, нет! Я ничего не хочу!..

Его подобрали припозднившиеся гуляки из его же барака, питейные корешки. Может быть, в этой случайности и впрямь был какой-то еще не созданный им в ту пору смысл. Но даже теперь, когда минуло столько лет, и Влад смеет думать, что-то понял, до чего-то дошел, — он по-прежнему во сне и наяву все еще продолжает внутри себя тот самый разговор. Только теперь он твердо знает, с Кем...

Да, пришел черед и Скопенке взять, наконец, своё. Кадровика так и распирало от радостного удовлетворения, когда Влад, проспавшись, предстал пред его светлые очи:

— Одной зимы не выдержал, сосунок, а я в этой прорве шестую коротаю. Ты знаешь, чего я

здесь за эти зимы повидал? Чего выдержал? На чем продержался? Эх ты, а еще в душу мне лезешь, по совести скребешь, суть вещей ищешь. Спиноза, Жан-Жак Руссо нашелся! — Победительное радушие прямо-таки душило его. — Будь ты проклят, но я спасу тебя, завтра же получишь расчет и марш на материк. Мой совет: в Игарке не задерживайся — засосет, не таких засасывала. Билет у тебя будет до Красноярска... Иди, собирайся, голова садовая!

По-отечески взлохматив ему голову, Скопенко широким жестом отпустил его и тут же повернулся к нему спиной, как бы навсегда отгораживаясь от него и ото всего, что их так болезненно связывало.

Расчет ему оформили «в связи с невозможностью дальнейшего использования», а уже вечером следующего дня Влад сидел в салоне насквозь замороженного транспортного «ИЛа», и белая бездна тундры плыла у него под крылом.

На остановке в Дудинке, чтобы не соблазняться буфетом, Влад даже не вышел из самолета, но в Игарке, где предстояла пересадка, он, назябшись за эти три часа лёта, не выдержал, решил хватить стакан перед новым полетом и, конечно, тут же сошел с рельсов. Сначала он кого-то угощал, затем угощали его, после чего явь перед ним обернулась радужной каруселью, у которой впереди даже не намечалось остановки. Где-то в самом конце, из калейдоскопа лиц перед ним выделилось раскосое, татарского вида лицо, которое затем так и утвердилось в нем.

Проснулся Влад в крохотной, с низким потолком комнатенке об одно окно, выходящее в какую-то глухую стену. Над ним склонялся единственно запомнившийся ему со вчерашнего дня собутыльник: типичный потомок Батыя, казанского разли-

ва. Татарин встретил его пробужденъе беззлбнымъ ворчаниемъ:

— Ай, парень! — по-восточному прицокнул он языкомъ. — Совсем молодой, а пьешь. Такой на аэродроме шолтай-болтай развел, башка снять, мало будет. Вставай, похмелись, думать будем, как дальше быть. Ты, мальй, даже билет пропил. — Он добродушно махнул короткой ладошкой, как бы смахивая обдавший Влада холодным жаром испуг. — Не бойся, от себя не прогоню, работу искать будем... Пей, пей, не разбавленный...

Это была Игарка, «Старый город», дом татарина Мухаммеда Мухамедзянова...

Жизнь продолжалась, и приходилось вставать, думать, выходить в туманный и бесприютный мир.

7

Говорят, она сейчас совсем другая — Игарка. Но Влад запомнил ее такой, какой она предстала ему летом, а затем зимой пятидесятого года: скученной, деревянной, в ржавой паутине колючей проволоки по редким заборам. Ему ли было не знать, что за жизнь таилась там, за этими заборами. Но теперь, со стороны, она — эта жизнь казалась ему куда грознее и таинственней, чем в его собственную бытность среди ее весьма незамысловатых реалий. Правда, в отличие от лета, город зимой даже в полдень не просматривался дальше, чем на полквартила. Он гляделся, как склад декораций — кусками, деталями, реквизитом — причудливо и непонятно: вывеска, кусок тротуара, фасад или фронтон дома: не более того. Остальное тонуло, растворялось в вязком, забивающем дыхание тумане.

Прийдя в себя и окончательно протрезвев, Влад с утра до вечера обивал пороги городских кадровиков в поисках хоть какой-то работы. Но зимой в Игарке на каждое место по два, а то и три претендента: из отхожего промысла в летней тайге возвращается несметное количество всякого праздничношающегося люда и каждый из них спешит где-нибудь устроиться до следующей весны, которая снова разнесет их по вольготным углам тайги.

— Хо, — беззаботно утешал его Мухаммед, — подумаешь, какое дело — работы нет. Хлеб ешь? Тепло тебе? Тебя кто гонит? Сегодня нет — завтра будет...

Сам он сторожевал в горкоммунхозе, сутки дежурства, трое полной праздности, которую он использовал, обходя по вечерам злчные места Игарки в поисках даровой выпивки. В это время года в городских ресторанах зимовщики спускали тот самый длинный рубль, за которым они съезжались к семидесятой параллели со всех концов России и сопредельных с нею республик.

Домой Мухаммед возвращался за полночь, чуть не на бровях и чаще всего не один. Русская жена его Даша, худенькая, в чем только душа держится, распиловщица лескомбината, по обыкновению только руками всплескивала:

— Да куда же ты их на мою шею! — Маленькое, но жилистое тело ее упруго напрягалось. В эту минуту она походила на разгневанного цыпленка. — Ступай с ими куда хошь, на порог не пуцу!

Но в конце концов пускала. Гости, отоспавшись и опохмелясь, с поклонами и благодарностью шли своей дорогой. И Даше это заметно нравилось, потому что женщина она была простая и жалостливая...

Одно только сочетание этих имен — Даша и Мухаммед, — до сих пор говорит Владу больше, чем все Декларации об интернационализме, провозглашенные когда-либо на земле. Чуть не всю зиму прожил Влад у Мухамедзяновых. На его глазах многие упившиеся «дети разных народов» находили у них кров на ночь и надежную опохмелку поутру. И не было в этом их убогом гостеприимстве никакой особой корысти или выгоды. Просто так уж были устроены бесхитростные сердца обоих, что у них никогда не возникало вопроса: принять или не принять? Храни вас Господь, Даша и Мухаммед!

Как-то, убивая очередной безотраднѣй вечер с соседом своих хозяев, работником порта Саней Гуляевым, — их связывало взаимное стихоизвержение, — они завернули в клуб речников на огонек. Шла репетиция некоей одноактной белиберды на производственную тему, но податься им было больше некуда, и ребята остались ее досматривать.

Командовал парадом рыжий парень в форме речника, к которому все остальные уважительно относились: «Анатолий Иванович». Заложив руки за спину, Анатолий Иванович важно расхаживал вдоль сцены, отдавал указания, почти не разжимая губ, но от его вмешательства порядка на сцене не становилось сколько-нибудь больше. Видно, каждый считал себя здесь, по крайней мере, профессионалом, и оттого никто не слушал не только друг друга, но и самого Анатолия Ивановича.

У Влада зачесались руки. Уж кто-кто, а он-то, Влад Самсонов, восхищавший своим драматическим дарованием даже жюри районных конкурсов в столице нашей родины — Москве, сумеет передать этим провинциальным увальням кое-что из своего славного опыта!

Саня рассказывал ему потом, что это было стоящее зрелище. Неожиданно вмешавшись, Влад приструнил крикунов, ободрил робеющих, определил каждому его место в мизансцене, походя процитировал из Станиславского, и одноактовка — вот уж действительно чудеса! — стремительно поехала по своей накатанной колее, будто только и ждала, когда ее вот так вслепую, снаскоку толкнут.

Чудо состоялось малюсенькое, так сказать, поселкового масштаба, но потом, через два почти десятка лет, присутствуя на репетициях у Любимова, он поймет секрет такого чуда, вернее, его механизма, а еще вернее, ключа к нему. У него — этого чуда — было прозаическое обозначение — ритм. Когда весь в мыле и на полуинфаркте Юрий Петрович будет неистовствовать в полутемном зале, Владу невольно передастся эта его горячая неудовлетворенность, отчего он вспомнит и эту зиму, и этот клуб, и этот первый в своей жизни прогон...

После репетиции к Владу вдруг подкатился неизвестно откуда взявшийся приземистый человек, тоже в комсоставской, с погонами, речной форме.

— Молодой человек, вы, случайно, не из театрального училища? — Белесые брови на его отвислом лбу восторженно выгибались. — А то, знаете, бывает, заезжают.

Из-за плеча человечка Саня показывал Владу большой палец, ободряюще подмигивал: не теряйся, мол.

Фортуна поворачивалась к Владу своим сияющим ликом. Серафимы успеха помахивали над ним лучезарными крыльшками: лови момент, мальш, второй раз он приходит не скоро, а частенько не приходит совсем!

— Нет, — скромно потупился Влад, — но это дело недалекого будущего. Видимо, летом буду поступать, а пока...

Тот даже договорить ему не дал, пошел на него с распростертыми объятиями, словно медведь на добычу:

— Ну, до лета время много, дорогой товарищ, до лета в Енисее столько воды утечет! — Он снова выгнул белесые брови, будто показывая, сколько же именно ее утечет. — Ого-го-го! Оставайтесь-ка вы у нас заведующим. Мы — портовики — вам полставки дадим, да ремзавод подкинет столько же, не обидим, в общем. Ну, по рукам, что ли?

Еще не веря своему счастью, Влад все же нашел в себе силы выдержать тон, не засучить ногами от радости:

— Подумать надо... Искусство — дело серьезное... Оно требует всего человека целиком, здесь размениваться не приходится. Подумать, подумать надо.

Тот, казалось, даже подпрыгнул в восторге:

— Вот, вот! Вот именно, дорогой товарищ, ни в коем случае не размениваться, только целиком!..

Так началась его короткая клубная эпопея. Человечек в форме оказался замполитом порта. Уже на следующий день Влада оформили заведующим клуба с оплатой на паях от двух смежных организаций и вручили ключи от помещения.

В шумной суматохе первых дней Влад внимания не обратил на стриженую «а ля Землячка» старушку, которая тихо проскальзывала на его репетиции, мышкой ныряла во тьму, в самый дальний угол зала. «Чайница» какая-нибудь, — беспечно отмахивался Влад, — еще, видно, из дореволюционных любительниц». Но, примерно через неделю, стриженная мышь вынырнула из темноты, мелкими шагками пересекла зал, и, подойдя к

нему вплотную, сухо, без рукопожатия, отрекомендовалась:

— Демина, секретарь партбюро судоремонтного.

О, сколько Влад видел их потом! Мужчин и женщин, старых и молодых, злых и вполне добросердечных. С женщинами он часто спал, с мужчинами, ещё чаще, пил, но, как бы близко они ни подпускали его к себе, он всегда чувствовал разделяющую его с ними стену. Их всех, какими бы они ни были, объединяло одно, почти врожденное качество, по которому эти люди, как по специфическому запаху, узнавали друг друга: острое, въевшееся в них недоверие к ближнему. Каждый может оказаться твоим врагом — вот, примерно, тот нехитрый тезис, к какому сводился сложный механизм их взаимоотношений с окружающим миром. Деминская же разновидность этой породы, это Влад почувствовал сразу, была и остается самой опасной. Бесполое, жестяные, обойденные природой и жизнью, такие способны на все. Уже одно их присутствие среди людей вымывает из спектра существования наиболее интенсивные его цвета. Нет, не бойся равнодушных, эти словно бы и не живут вовсе, бойся слишком активных, они нарушают равновесие бытия, а это страшнее чумы...

— Новогодний концерт готовите, товарищ Самсонов, а программки в партбюро до сих пор нет? — Она сверлила его серой непроглядностью глаз, которая, казалось, разъедала объект своего внимания. — Партийным руководством манкируете, товарищ заведующий?

Влад понял, что у него появился первый в его «жизни в искусстве» враг. Враг, как говорится, без страха и упрёка, грозный и непримиримый. «Мне бы ваши заботы», — сказал бы сейчас Любимов,

но, знаете ли, дорогой Юрий Петрович, такие демины на всех уровнях одинаковы: количество крови они выпивают из человека примерно равное...

Праздничный концерт, тем не менее, складывался. Программа предполагалась скромная, но не без выдумки: сольное и хоровое пение, декламация — скетчи, парная чечетка, и все это в сопровождении интеллигентного конферанса. А что называется под занавес — одноактная пьеса «Тропою отцов» из жизни здорового производственного коллектива. Правда, один старичок — старший бухгалтер ремзавода — все рвался ввинтиться с «Птицей-тройкой» по Гоголю, но Влад мужественно пресек его поползновения, хотя сильно рисковал: от старичка зависело своевременное начисление зарплаты. Решающий день приближался.

Но чем ближе маячил Новый год, тем неразрешимее становилась проблема баяниста. И если оглушенная праздничным спиртом портовая публика могла выдержать пение «а капелла», глядишь, даже подтянула бы, создав известный контакт между сценой и залом, то чечетку без сопровождения их разгоряченные этим контактом сердца не вынесут. Назревающий скандал необходимо было ликвидировать в самом истоке.

Лихорадочные поиски в пределах города ни к чему не привели, объезд окрестностей дал тот же результат: в преддверии праздника в Игарке легче встретить на улице случайного волка, нежели самого заваливающего музыканта, на чем бы он ни играл: от скрипки до комуза или домбры. Чуть не за два часа до начала, когда Влад уже начал терять всякую надежду и топор возмездия вознесся над его головой, один из его нарочных, разосланных им по всему городу в поисках музыки, вернулся с хрупкой, но ободряющей вестью: в бараке женского общежития лесокомбината спит беспро-

будным сном мертвецки пьяный аккордеонист, местная знаменитость Дима Говорухин. Спит, было прибавлено, не один, с дамой.

Влад ожил. Звезда надежды зажглась у него впереди. Его личный опыт в области оздоровляющей опохмелки мог сослужить, наконец, общественно полезную службу. Он верил в успех, и крылья этой уверенности понесли его к цели. Найти барак злосчастной общаги в морозной вате северной ночи было делом нелегким, но Влад нашел-таки ее, эту общагу, и, ворвавшись туда, без особых усилий установил местонахождение аккордеониста: маленький закуток в углу большой комнаты, отгороженный от нескромных взглядов лишь марлевой занавеской. Жрец искусства мирно почивал здесь со своей пассивной обнимку, презрев толпу и ее праздничные потребности.

Господи! Едва лишь тусклый свет насквозь прокуренной комнаты коснулся ее помятого лица, Владу перехватило дыхание и голова его пошла кругом: Зинка, Зинка, енисейская белянка, разметав свои текучие волосы по засаленной подушке, лежала перед ним, небрежно прикрытая мятой простынею, но и хмельной сон, так старивший ее облик, не мог все же стереть в нем выражение удовлетворенной юности. «Тоже мне, — горько посетовал он, — «Девушка и смерть», я еще с тобой поговорю, героиня!»

Но разговор с нею Влад оставил на потом, а сам занялся ее героем. Один Бог знает, чего ему это стоило, но он привел музыканта в чувство, а через час тот уже настраивал непослушными пальцами свой инструмент у него за сценой.

Волнения Влада оказались напрасными. Разомлевшая от предварительного возлияния публика воспринимала каждый номер с восторгом и восхищением. В суматохе на подмостки прорвался да-

же старичок из бухгалтерии со своей «Птицей-тройкой», но и его проводили чуть ли не овацией, до такой степени спиртное развивает в зрителе чувство благодарности. Станиславскому бы такого зрителя!

После концерта подвыпившее начальство порта и ремзавода по очереди поздравляло его с успехом и даже Демина сунула ему на прощанье костистую ладонь:

— Заходите после праздника, обсудим кое-какие детали, посоветуемся с товарищами, сделаем наметки...

Но вся эта благодарная толчея обтекала Влада, не касаясь его сознания. Окружающее мельтешение словно бы тонуло для него в прогорклом мареве: «Зинка, Зинка! — взмывала, падала в нем душа и поднималась вновь. — Зинка!»

О, как он ненавидел сейчас этого любимца публики, игаркского аккордеониста Диму Говорухина!

8

Однажды поздно ночью Мухаммед привел с собой, по обыкновению в дымину пьяного, но не совсем обычного гостя. Необычность его проявлялась во всем, от внешности — высокий, с легкой сутулостью, лобастая голова в лохмах темных волос, на моложавом еще лице провал беззубого рта, — до речей, какие он произносил в промежутках между выпивкой — пространных и витиеватых:

— Литература, братцы, в наше время, да, кстати, и во все времена, занятие смертельно опасное, профессия вроде саперской, шансов выжить почти нет. Даже если иногда и останешься в живых, то чего-то все равно не досчитаешься: дру-

зей, жены, здоровья или вот, как я, — зубов. Я не в обиде, что посадили, Сервантес и тот сидел, чего уж нам — сереньким, жаловаться, но зачем же так бить, ведь я и так подписывал все, что они хотели от меня. Что за тварь бесчувственная — человек. Казалось бы, чего легче понять ближнего! Надо только хоть на мгновение влезть в его шкуру, поставить себя на его место, и ты всегда будешь поступать правильно. Тогда почему же почти никто, кроме святых, не хочет сделать этого, здесь ведь не нужно шекспировского воображения. Вот в чем вопрос вопросов, а не в «быть или не быть». — Он залпом опрокидывал налитое и, запустив пятерню в свои лохмы, вновь словоизвергался. — Что же ты молчишь, сероглазый? Вот мне Мухаммед говорил, что ты тоже чего-то там пописываешь. Брось, парень, поверь моему опыту, брось. Брось сейчас, а то ведь это, как наркотик, потом поздно будет!.. Только зря советую, по себе знаю — не бросишь. Именно поэтому ты обречен. Она, обреченность эта, уже у тебя в лице, вроде оспы проступает. Ты обречен, ибо, чувствую, искренен, а это в нашем деле хуже рака, чумы и проказы вместе взятых. Наступило время серых и наглых, искренность не в почете, искренность уголовно наказуется от пяти до четвертака, включая, в особых случаях, высшую меру. Меня брали уже дважды, сейчас я еду домой, но скоро они возьмут меня в третий раз и теперь уже навсегда. Третий раз я не выдержу. Главное, что у нашего брата в лагере нет друзей: для мужиков ты — бывший богач, белая кость, для ворья — виновник их бед и жертва одновременно, для начальства — враг, фашист, источник всех зол на свете. Лучше бы уж сразу девять грамм в затылок — и все танго... Не смотри на меня так опасливо, сероглазый, я давно

ничего не боюсь, я пережил этот этап, я нахожусь за пределами страха...

Гость прожил у Мухамедзяновых три дня, «доходил», как он говорил, «до кондиции», перейдя со спирта на молоко и чай. Был щедр с хозяевами и все так же разговорчив с Владом. Прочитав стихи Влада, с веселой злостью швырнул их на подоконник и, пригибаясь, — комнатенка была слишком малогабаритной для него, — зашагал по комнате:

— Слушайте: «Мне на плечи кидается век-волкодав, но не волк я по крови своей, запихай меня лучше, как шапку, в рукав жаркой шубы сибирских степей. Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы, ни кровавых костей в колесе, чтоб сияли всю ночь голубые песцы мне в своей первобытной красе»... Или: «Когда погребают эпоху, надгробный псалом не звучит. Крапиве, чертополоху украсить ее предстоит. И только могильщики лихо работают. Дело не ждёт! И тихо, так, Господи, тихо, что слышно, как время идёт...» Или вот, еще лучше: «О доблестях, о подвигах, о славе я забывал на горестной земле, когда твое лицо в простой оправе передо мной сияло на столе. Но час настал, и ты ушла из дому. Я бросил в ночь заветное кольцо. Ты отдала свою судьбу другому, и я забыл прекрасное лицо. Летели дни, крутятся проклятым роем... Вино и страсть терзали жизнь мою... И вспомнил я тебя пред аналоем, и звал тебя, как молодость свою...» А вы: «Как простой комар в таежной топи, в синем небе тонет самолет...» Читать тошно! Дерьмо все это, Владик, дерьмо! Я это так прямо вам говорю, потому что вижу, что сжигает вас какой-то неподдельный уголек изнутри. Не знаю еще, зачем он, для чего горит, но знаю, что Господь таких угольков даром не бросает. Значит, что-то суждено вам сделать. Что, трудно ска-

зять, но что-то суждено, это, как приговор, от которого не избавиться, а пока живите, чувствуйте, набирайтесь, нашему брату все пригодится. Мы, пишущая братия, немножко воры: что ни увидим, что ни услышим, к себе в душу тащим. Ну, а уж если так невтерпеж бумагу изводить, то хоть по делу, а не ради вот этого комара, будь он неладен!

После одной из репетиций, на которую, желая блеснуть хоть этим, вытащил его Влад, он по пути домой снова печально излился:

— И через это, видно, вам суждено пройти, чтобы или погибнуть, или очиститься. Правда, театр еще хуже, чем литература. Там хоть видимость уединения, автономности, своего укромного уголка. А тут все на виду, все под недреманным оком, так сказать, любой спектакль может стать последним. Впрочем, заранее отчаиваться не приходится, поживем — увидим...

Спали они «валетом» на одной койке в еще более крохотной, чем комната, прихожей, и ночами, попыхивая в темноте папироской, он рассказывал Владу о всякой всячине:

— Есть у меня в Москве дружок-художник Боря Пысин. Бывало, спросишь: «Как жизнь, Боря?» А он: «Да знаешь, говорит, за этими пьянками и гулянками и по миру сходить некогда». Вот, примерно, и вся, хотя и грубоватая, схема нашей жизни. Праздников много, а есть нечего. Уж больно механизм хитрый — отказывает при переизбытке: всегда чего-то должно не хватать — спичек, шнурков, махорки. Тогда человек за эти самые шнурки родную маму продаст, а сортность махорки будет вызывать такие баталии, каких не знали генеалогическое войны древних родов. Это даже не социальная, а прямо-таки мистическая машина: перерабатывает человеческую субстанцию в биологический шлак...

Владу еще трудно было уследить за ходом мысли соседа, суть услышанного постоянно ускользала от него, но горняя страсть дойти в конце концов до основы вещей уже расправляла в нем свои робкие перышки. Когда впоследствии он поймет, что это невозможно и страшно, его все равно будет тянуть туда, на край открытой ему в ту ночь бездны. И пусть «многия знания умножают его печали!»

Окончательно придя в себя и прощаясь, гость покровительственно потрепал Владу по плечу:

— Ничего, мальш, мы еще поживем, а может, и напишем чего-нибудь, как говорится такого, а помрем, что ж, другим больше достанется. Будешь в Москве, заходи, адреса пока не знаю, да через нашу писательскую лавочку найдешь.

И канул, исчез, слинял в морозном тумане, словно и не жил здесь три дня, не существовал, разговоров не разговаривал. Был и — не стало.

Даша, сожалительно покачав головой, сказала ему вслед:

— Чудной человек, а душевный. Чудные, они все такие душевные. Только пропадет он, ни за что пропадет.

Мухаммед поворчал для порядка, чтобы только оставить последнее слово за собой:

— Помолчи, баба, не каркай человеку на дороге, кто так делает! Таких людей теперь и не водится, если только в лагерях сидят.

Мухаммед и Даша. Даша и Мухаммед. И для долгой памяти фамилия — Мухамедзяновы. Лишь бы ему их не забыть, такого он себе не простит и никогда не отмолит...

После отъезда чудного гостя работа в клубе уже не казалась Владу такой увлекательной. Все эти спевки, одноактовки, чечетка под баян обрыдли ему, его почти тошнило от всего этого. К тому

же, Демина совсем озверела. Она придиралась к нему по любому поводу, требовала повседневных письменных отчетов, следила через своих присных чуть не за каждым его шагом. Наконец, он не выдержал и на очередном собеседовании у начальства, в присутствии Деминой, высказал по ее адресу несколько соображений, из которых следовало, что не ей, старой гримзе, учить чему-либо других, что она давным-давно выжила из ума и что вообще ему на нее наплевать с самой высокой горы. На этом и закончилась театральная карьера Влада.

Рассчитывая его, старичок-бухгалтер, тот самый «любитель быстрой езды», что ухитрился ввинчиваться в каждый концерт со своей осточертевшей всем «Птицей-тройкой», покачивая розовой лысинкой, скорбно вздыхал:

— И чего только вы с ней связались, скажите на милость! Ее — эту Демину — у нас на заводе даже начальство за версту обходит, лишь бы не разговаривать. Как у нас с вами хорошо дело пошло, даже доход стали давать, а вы в бутылку. Какой в этом смысл, скажите, какой?

Получив расчет, Влад оставил престарелого энтузиаста художественного чтения раздумывать над смыслом бытия, а сам вышел на улицу. Зима, дымно клубясь, еще крепко держалась за каждую пядь поверхности, но едва заметное дуновение весны уже коснулось земли: туман редел, небо раздвинулось, очертания плоскостей вокруг стали резче и определенной. Весна матерела, набирала силу, копила грозную мощь, чтобы однажды утром взорваться первой, но неистребимой оттепелью. «Мы еще поживем, — весело подумалось ему, — а помрем — другим больше достанется!»

Первым делом Влад все же решил найти Зинку. В суматохе портового культпросвета он запомнил о ней и о своей на нее обиде. Теперь, когда

полная свобода «от любви и от плакатов» распахнула перед ним свои золотые ворота, его потянуло к Зинке, к ее теплу и пониманию. Сейчас, в преддверии новой дороги, он прощал ей все: и погранные обещания, и горькую измену, и несбывшуюся надежду на ее раскаянье потом. «Может, куда вместе подадимся! — воодушевлял он себя по дороге. — Вместе веселее».

В безлюдном в рабочее время бараке женского общежития Влада встретила разбитная, румянец в полщеки, старуха в засаленном ватнике:

— Тебе чего, милоч?

— Зинку.

— А фамилиё?

— Фамилия? — Влад сразу замялся, чувствуя, как в нем жарко нарастает стыд. — Забыл вроде...

— А из себя какая? — Старуха понятиливо осклабилась редкозубым ртом. — Сколько годов?

— Да такая... Белая...

— Белая! Туточки, знаешь, сколько белых? И все — Зинки. Она явно знала, о ком идет речь, но почему-то намеренно растягивала разговор. — Сколько их у тебя было, милоч, что и года забыл?

— Знакомая просто. — Ее игра уже начинала злить Влада. — На пароходе из Красноярска вместе ехали.

— Ладно, ладно уж, — охотно пошла та на попятный, — знаю я твою Зинку, кто ее здесь не знает. Только уж месяц, как сгнула. Бог ее ведаёт, иде она нынче. Можеть, хахаль ейный — Димка-баянист скажет, рядом живет. — И уже вслед ему. — Да ты не тушуйся, милоч, заходи вечером, знаешь, сколько ихнего брата здесь, полбарака — белых!

Да, старуха оказалась образцовой бандершей! Но Владу нужна была только Зинка и никто другой. Встречаться с аккордеонистом ему не хоте-

лось, но желание найти Зинку оказалось сильнее его неприязни к непросыхающему любимцу публики. Влад знал, что в это время дня тот ошивается в аэропортовском шалмане, и пустился туда через весь город, да так, что только мороз поскрипывал у него в ушах.

Тот, едва увидев Влада из своего угла, сам двинулся ему навстречу сквозь пьяную суету и папиросный дым:

— А, Владимир Алексеич! — Дима пьяно распластывал руки перед ним. — Наше вам! Что — опять ЧП? Или выпить захотелось, «мы зашли в роскошный ресторан»? Что будем пить?

Влад смущенно уклонился от его объятий:

— погоди, успеем еще. — Каждое слово давалось ему с трудом. — Я у тебя спросить хотел, где сейчас Зинка?

— Какая еще Зинка? — Плутуватость даже шла к его по-казацки красивому лицу. — Зинок прорва, а я один.

— Ладно, не валяй дурака, знаешь ведь, о чем речь...

— Брось ты, Владимир Алексеич, нашел, про что толковать. — Дима тянул его за рукав. — Лучше тяпнем свои боевые.

— Кончай, — всердцах рванулся Влад. — Я к тебе, как к человеку, а ты просто поросенок.

Сказал и повернул к выходу, а вдогонку ему спешил виноватый говорок Димы:

— Эх, Владимир Алексеич, Владимир Алексеич, нас, выходит, на бабу променял. И чего расстраиваешься, одна у нее и цена, что — масть, а все остальное-прочее, как у других, ни лучше, ни хуже... Владимир Алексеич!

Влад вышел, не оборачиваясь. К полудню город окончательно выпростался из дымной сутемени, за долгие месяцы впервые обозначив свой по-

таенный облик. С ближайшего телеграфного столба, словно приветствуя его, первой птахой скорой весны затрепетало крохотное полотнище тетрадной странички: «Северная экспедиция объявляет набор...»

Дальше он читать не стал, адрес ему был известен. Вперед, тореадор, там, может быть, и ждет тебя любовь! Кто знает. А, может быть, и нет. Посмотрим!

9

Только в отделе кадров Северной экспедиции Влад понял, что его клубная деятельность не прошла бесследно: здесь о нем были наслышаны и приняли с распростертыми объятьями.

— Ну, как же, как же! — оживился кадровик, белесый парень в погонах старшего лейтенанта, небрежно перелистав его документы. — Кто ж тебя в Игарке не знает! Все сам собирался, да время не выбрал, а потом в отпуск укатил. Характером, значит, с Деминой не сошелся? Кто ж с ней, с язвой, сойдется, покойник разве? Я тебя покуда к себе возьму. У меня за зиму столько всего накопилось, целый завал. Вместе разгрести примемся. Да и стенгазету нам наладишь, ты ведь по этой части мастак. А теперь давай садись, трудовые книжки по справкам заполнять будем...

Вот так, легко и просто, началась его работа в знаменитой экспедиции, которая прокладывала трассу для идущей следом за ней «Пятьсот третьей» стройки Великой Северной Магистральной Москва—Чукотка. Константин Иванович, или попросту Костя, так звали кадровика, исправляя его корявый почерк, преподавал ему несколько уроков чертежной вязи, и вскоре он, быстро набив в этом

руку, с утра до вечера уже корпел над трудовыми книжками вновь нанятых сезонников, а на досуге даже пописывал стихи в управленческую стенгазету, вроде: «Нам атомный шантаж не нужен, идем мы смело сквозь огонь и шквал. У нас в руках великое оружие — тысячелистый Марксов «Капитал». Умри, Денис, хуже не напишешь. Умри или забудь, как страшный сон своей несчастной юности!

А солнце, тем временем, с каждым днем поднималось все выше, разгоняя по сумрачным углам остатки зимнего тумана. Первые сосульки источали с водостоков хрупкую капель. Обнажились подтаявшие ребра тротуаров, снег постепенно сменялся голубоватой наледью. Кое-где на крышах уже проклевывалась черная рябь. Весна, весна, весна!

В один из таких дней Костя вернулся с планерки против обыкновения хмурым, в сердцах бросил шапку на стол, отвернулся к окну, сказал:

— На Хантайку полетишь, Самсонов, счетоводом. Только-только человека в курс введешь, как снова забирают. — Резко повернувшись к Владу, помягчел. — Ты там смотри, не нарывайся. У этого Солопова на Хантайке характерец не лучше твоей Деминой, живьем съест.

— Когда собираться? — Влад едва скрывал облегчение: возня с бумажками порядком надоела ему, его давно тянуло в дымящуюся первым весенним маревом тайгу. — Я готов.

— Рад! — несколько обиделся тот, но вдруг ободряюще махнул рукой. — Я бы и сам бросил всю эту дребедень к чертовой матери, да звездочки мои мешают, подчиняться обязан. Завтра и полетишь.

На другое утро двухместный кукурузник поднял Влада с экспедиционного аэродрома и понес

над проснувшейся тайгой в сторону таинственной речки с веселым названием — Хантайка. Продутая зимними сквозняками лесотундра выглядела сверху редкой и сиротливой. Снег еще не утратил своей стерильной белизны, но, едва заметно, внизу, уже явственными контурами обозначились русла речушек и наст плоскогорий: зимний снимок в весеннем проявителе.

Пилот Володя Коношевич временами обращивался к нему и через стекло своей кабины озорно подмигивал: ну, как, мол? Коношевич слыл достопримечательностью Северной экспедиции. Списанный из военной авиации за лихачество, он который год пробавлялся на летной рухляди Крайнего Севера, зарабатывал шальные деньги и тут же спускал их, пил, куролесил во всех шалманах от Ермаково до Тикси, пугая обывателей и приводя в восторг собутыльников. Но летчиком он считался первоклассным, и, что еще важнее в здешних условиях, безотказным, а потому на художества его начальство смотрело сквозь пальцы. Победителей не судят.

Среди солнечной благодати настезь распахнутого неба легкое и прерывистое почихивание мотора сначала показалось Владу досадной оговоркой, случайной фальшью, пустяковым срывом хорошо отлаженного механизма. Но перебои становились все чаще и продолжительнее, самолет стал рывками, словно по невидимой лестнице, снижаться, нос его резко накренился. Затем внезапно земля, встав дыбом, стремительно пошла им навстречу. Передай кольцо обручальное!

В эти считанные секунды, пока кукурузник то падал, то отчаянным усилием выравнивался, перед Владом, как тогда — в детстве — прокрутилась рваная лента его жизни: лицо отца, отраженное в ночном окне вагона, Агнюша на перроне Вологод-

ского вокзала, сумасшедшие, с пьяной поволокой глаза Скопенко. Потом снова что-то из детства и опять все вперемешку. Его, словно тряпичную куклу, мотало по кабине, било об острые края обшивки, много и надсадно рвало, а в тускнеющем мозгу заезженной пластинкой крутился дурацкий рефрен: «Прощай, Маруся дорогая...»

Затем Влад потерял сознание, а когда очнулся, самолет, глубоко зарывшись в снег, медленно остывал от недавней горячки. Первое, что он увидел: брезгливо смеющееся лицо Коношевича в окошке пилотской кабины:

— Пижон! Тебе только на оленях ездить, а ты, можно сказать, в боевую машину забрался!

Впоследствии оказалось, что они с горем пополам спланировали в русло Хантайки неподалеку от базы, и это спасло их: трехметровая толща снега, будто перина, спружинила под ними. Правда, Коношевича, со сломанными ногами и ключицами придется вывозить потом с базы другим самолетом, а Влад еще долго будет залечивать свои синяки и шишки, но всякое спасение, как известно, способствует жизнестойкости, и вскоре он уже щелкал костяшками счетов, ведя статистику нехитрого базового хозяйства.

Жизнь на Хантайке поначалу складывалась для него вполне благополучно. Начальник базы Солопов, неряшливый гном, как две капли воды походивший на «волосатого человека» Андриана Евтихьева из учебника зоологии для шестого класса, видимо, принимая нового счетовода за ставленника свьще, встретил его с фамильярной благоклонностью:

— Ну, как там наш Костя, Константин Иванович? Александр Алексеич как? — осторожно нащупывал Солопов брод, линию, кратчайшую тропинку к сердцу счетовода. — Мужики что надо,

сколько лет вместе работаем, на третьей стройке в одной упряжке. Ты за меня держись, я тебя не обижу. И посматривай тут, народ у нас всякий, иные — пробы ставить негде...

Но вдохновенный призыв старого стукача не нашел в нем отклика. Влад жил отдельно от начальства, вместе с рабочими, и стать среди них солоповским соглядатаем у него не было никакого резона. «Я тебе не шестерка на подхвате, — мысленно огрызнулся он в ответ, — тебе за это деньги платят, ты и смотри!»

Рабочее общежитие — квадратная комната с трех окнах, с нарами в два яруса и отгороженным углом слева от двери для цыгана Саши Хрусталева по кличке «Мора» и его жены — поварики Ольги, служило ему отдушиной и спасением от скуки и серости замкнутого быта. Кроме цыгана, рабочих здесь зимовало трое: белорус из освободившихся Петро Ерёмко, на все руки мастер — и конюх, и пекарь, и электрик; Александр Петрович — отставной учитель литературы, лысоватый брюнет сорока пяти лет, с пропитым голосом и замашками оперного тенора, а также Коля Долгов — выпускник игарской десятилетки, бежавший сюда от неудачной женитьбы, о которой он сам рассказывал с бесстыдной откровенностью:

— По пьянке женили, проснулся, чуть не вырвало: страшна, как атомная война. Потом, вроде ничего, приспособился. Как с ней ложусь, полотенце на рыло, а сверху фотку киноактрисы. Только надоело. Что мне фотка, мне баба нужна, а мне на свою смотреть противно. Ну, я и завербовался. Теперь вот заработаю денег, на материк махну, с милицией не разыщет, будет знать, как по пьянке мужиков хомутать. За мной не заржавеет. — В бесцветных, почти белых зрачках его светилась оголтелость уверенного в себе фанатика. Похожую

горячечную пустоту Влад встретит потом лишь раз в жизни, сойдясь однажды глазами с одним знаменитым поэтом из молодых, и ему станет на мгновение жутко. — Я парень что надо, любой мигну, побежит, как собачонка. У меня их было-было, сосчитать, пальцев не хватит. Химичку свою в девятом классе не пропустил, а у нее очки — минус три.

Бывший словесник с охотой подхватывал разговор:

— Нет, я больше молодых люблю. Все эти вдовские штучки-дрючки мне до лампочки, подумаешь, невидаль какая! Молоденькая — совсем другое дело. Баба раскинет ноги, и пошла беситься, а молоденькая, она стесняется, краснеет, ей и хочется, и колется, и маменька не велит, вот в чем смак. Помню, я завучем был на Кубани, в Тбилисской, станица такая есть, литературу вел в седьмом, так от меня полкласса беременными ходили, еле потом выкрутился, ни одна, правда, не выдала. А учительницы эти у меня во где, даром не надо, лучше онанизмом заниматься буду.

Белорус, слушая их речи, только вздыхал у себя на верхних нарах, а наедине жаловался Владу:

— Как только им не совестно за женщину так говорить. Или у них матки, сестры нету? В лагере три года отбывал, все то же самое, хуже зверей, честное слово! Я вон свою убил, в тюрьму пошел из-за нее, так ведь по любви же, а сам все одно — только об ней и думаю. Сектанты голову ей взбаламутили: мол, не пара он тебе — комсомолец. Сколько я ходил к ней, плакал, упрасивал, отказала, как отрезала: или, мол, я, или комсомол. Да разве ж так можно, себе жизнь сломала, за мою взялась. Не знаю, как все потом получилось, вроде будто во сне. Я ее за село поговорить вызвал, а

когда она опять песню свою начала, я света не взвидел, до того обидно стало. Что было, не помню, только в тюрьме очухался. Мне, конечно, ревность, общественную работу, борьбу с сектантством учли, дали нижний предел. С навигацией домой поеду, а как теперь жить без нее буду, сам не знаю. Хоть в петлю...

И лишь цыган гоголем ходил по базе, скалил зубы и обезоруживающе хвастался каждому встречному:

— У мне жана, дак жана, чистое золото-бриллиант, и лицом, и телой вышла, а умнющая, как министр. А как любит миня, эх, родненький, скажу, позавидуешь, дурной глаз наведешь. Я тебя, говорит, Сашенька, золотой, ни на какого принца-королевича не променяю, во какая она у миня!..

Эх, Мора, Мора, голубиная твоя душа, знать бы тебе, как «золото-бриллиант» твой, едва ты с глаз долой, бегаёт в избушку кладовщика-радиота Проскурина, а чем уж они там занимаются, одному Богу известно. Только, надо полагать, не морзянку слушают и не подсчитывают складской дебит-кредит! Но — «блажен кто верует»! Живи, Сашок, до старости, не ведая того ни сном, ни духом!

Когда Солопов убедился, что соответствующего толку от нового счетовода ждать не приходится, то сразу же резко переменял к нему отношение: стал регулярно возвращать ему заполненные им ведомости перечеркнутыми крест-накрест, гонял на общие работы, задирался по пустякам и, в конце концов, добился своего: Влад забастовал, написав предварительно заявление об уходе. Но в условиях таежной зимовки любой начальник мог без боязни действовать по принципу: тайга — конституция, медведь — прокурор. И Солопов действовал. Влад был немедленно снят с довольствия, с

правом пользоваться продуктами базы только за свой счет, благо у него случайно сохранилось несколько червонцев. В связи с Большой Землей ему было категорически отказано. Его контакты с окружающими строго контролировались и, по возможности, пресекались. У него оставался один выход: молча сидеть и ждать, когда сойдет снег, и двигаться в Игарку через тайгу, своим ходом. Сидеть и думать про себя: «Когда же черт возьмет тебя!»

Он не раз еще почувствует на себе удушающую силу этого целенаправленного отчуждения, когда пространство вокруг, словно опоясанное загонными флажками, сужается до размеров почти смертельной петли. Дай вам Бог, господа апологеты социалистического общежития, испытать сие на собственной шкуре и не сойти при этом с ума!..

Коротая время за кропанием стишков, в которых он, как все поэты в его возрасте, сводил счеты с неблагодарным человечеством, Влад в тоске следил, как медленно истончался лед Хантайки за окном, в ожидании взлома и паводка.

Лед тронулся внезапно и гулко. Однажды ночью Влад проснулся от взрывного грохота. За окном, метрах в двухстах от него, гремела настоящая канонада. Дом тихо подрагивал и стекла в нем жалобно дребезжали: казалось, земля под ногами нехотя плывет в темь, подталкиваемая какой-то грозной и неумолимой силой.

Когда Влад, одеваясь на ходу, выскочил к реке, там оказался полный сбор: семеро сбитых в тесную кучку людей перед пробудившейся ото сна природой. Крошась и беснуясь, лед яростно рвался сквозь узкую горловину порога, без труда взламывая панцирь русла перед собой. В его неистовом бешенстве было что-то завораживающее. Ря-

дом с этой первозданной мощью человек казался себе крохотным и незащищенным. А он, мятежный, еще просит бури!

Тайга с этой ночи стала линять прямо на глазах. Высокие, с ржавым налетом мха, берега вскоре почернели, как бы обуглились, обнажая сирый скелет перезимовавшего леса. Влад начал собираться в дорогу. До ближайшего жилья, где он смог бы сесть на попутный катер, считалось здесь километров двадцать, но путь по весенней лесотундре, с ее топью и взбухшими ручьями, предстоял не из легких. Влад сунулся было с последней десяткой к Проскуруину за продуктами, но тот, жалко поморгав подслеповатыми глазками, отказал:

— Солопов не велел, я человек подневольный, сам знаешь, тайга всё спит, попробуй, послушайся.

Но Влада уже ничто не могло остановить. «За два дня доберусь, — в отчаянии решил он, — авось не помру без хлеба, и больше голодал!» Его движимое и недвижимое было на нем, хотя вещмешок ему все же сгодился: за время вынужденного безделья у него набралось порядочно стихов и разных записей. Нищему, говорят, собраться, — только подпоясаться, и уже на следующее утро, при полном, но красноречивом молчании братвы он вышел на дорогу. Направо пойдешь, налево пойдешь, лучше — прямо!

Едва крыши базы скрылись за верхушками влажных лиственниц, как из берегового редколесья навстречу Владу вышел Саша Хрусталеv с батоном хлеба и банкой тушонки под мышкой.

— А я тебя жду, жду, совсем смерз. — Цыган, приближаясь к нему, по обыкновению улыбался, широко и обезоруживающе. — Ситного тебе Петро передал, а консерву баба моя расстаралась, золото-

баба! Ты на нас, Владик, не держи сердца, все — люди.

Они на мгновенье, не более того, встретились глазами, и Влада вдруг обожгла острая, как удар исподтишка, догадка: «Да он же знает, этот цыган, все знает: и про жену свою, и про меня, и про каждого, кто ни встретится, все знает!» Такая тоска, такое затаенное сожаление дымилось там, внутри его угольного цвета зрачков...

Не приведи, судьба, еще раз взглянуть ему в твои глаза, Сашок!

10

Надолго запомнится Владу эта дорога. Двадцать километров превратились в такую гонку со смертельными препятствиями, что, выйдя, наконец, к первому немецкому поселению, он уже и не чаял, как выбрался, до того неправдоподобным выглядел отсюда пройденный им путь. Он тонул, горел, мерз, сбивался с направления. Как это ни смешно, но только страстная жажда хоть чем-то насолить Солопову, восторжествовать над вчерашним врагом спасла его от отчаяния и гибели. Смеется тот, говорят, кто хихикает последним.

Поселок, казалось, вымер. Влад прошел его из конца в конец, не встретив по пути ни одной живой души. Жилые бараки были закрыты. На дверях правления колхоза тоже висел амбарный замок. Тогда он поплелся к пристани, в надежде застать там хотя бы дежурного матроса.

Но здесь он увидел лишь старика, — крепкий подбородок на ручке палки, поставленной между ног, — одиноко сидевшего на дебаркадерном кнехте. Из-под соломенной, аккуратно остриженной в скобку копны в мир смотрели тусклые, давно вы-

линявшие глаза, в которых остывала холодная ярость долгого ожидания, как бы взывая к пространству: «Будь ты проклят, если ты не явишься, наконец!»

— Их ниht ферштейн. — В ответ на обращение к нему он даже не шелохнулся и лишь после долгой паузы махнул жилистой рукой куда-то впереди себя, вверх по течению. — Там... Председател... Путина.

Влад проследил за рукой старика и, понимая, что большего здесь не узнать, пустился в указанном ему направлении. Обогнув ближайший поворот, он оказался метрах в двухстах от пологого берега, где в это время шел большой лов. Не меньше сотни людей и десятка два лодок кружилось тут в азартной горячке путины. Его заметили только в минуту короткого перекура: одинокий бездельник среди рабочей коловерти. От кружка рыбаков отделился, направляясь к нему, приземистый, почти квадратный человек в зюйдвестке и резиновых сапогах с отворотами. Немного не доходя, близоруко прищурился, взгляделся, узнал:

— А, это ты, артист! Какими судьбами? Или надоел тебе твой клуб, в тайгу потянуло? Может, и мне самодеятельность наладишь, а то начальство ругается: работу воспитательную запустил? Мне человек, вроде тебя, позарез нужен. — Он сошелся с Владом вплотную, выдвинул перед ним заскорузлую ладонь. — Гекман... Пошли, здесь и без нас управятся. Ты пешком, что ли?

О Гекмане по всему побережью от Туруханска до Дудинки ходили легенды. Бывший первый секретарь обкома немцев Поволжья, он председательствовал тут, в поселенческой артели, ухитряясь не только выполнять непомерный план по рыбе, но и вести процветающее овощное хозяйство. Благодаря ему, в здешних широтах впервые зацве-

ла картошка, а это во время войны дорогого стоило и буквально спасло многих от голодной смерти.

Сейчас он шагал чуть впереди Влада, тяжело переваливаясь с ноги на ногу, но, казалось, что не в походе дело, а просто сама земля покачивается под ним. «Досталось тебе, мужик, — тянулся вслед ему Влад, — по самую завязку.»

Гекман жил в общем бараке, разделенном на квартиры-секции, одну из которых, не лучше, не хуже других, он и открыл своим ключом. На всем вокруг замечался отпечаток аккуратной добротности. К типовому проекту человек приложил здесь старание и душу: полы без зазоров и заусениц, рамы подогнаны точно, тютелька в тютельку, и законопачены, побелка радовала глаз чистотой тона. За окном, почти вплотную к поселку, стоял нетронутый лес. Влад отметил это еще по дороге, когда увидел у пилорамы штабеля опилочных брикетов. «Чудаки! — усмехнулся было он в ту минуту. — Это вроде как у реки жить, а заниматься опреснением.» Но, взглянув на другой берег, где вокруг столетней давности села Плахино, в радиусе, примерно, пяти километров не было ничего, кроме сорного подлеска, понял, что не ради пустой блажи немцы берегут тайгу: хвойная стена, наподобие крепости, хранила их от пронизывающих метелей и знойной суши короткого лета.

Гекман открыл дверь, впустил гостя, сказал:

— Заходи, раздевайся, я быстро. — Он принялся хозяйничать около стола. — Ребята у меня в интернате, в Плахино, а жена на лесозаготовках, живу по-холостяцки. — Гекман с удивительной для его грузности быстротой, даже с известной грацией, оборудовал стол. Бутылка, сало, хлеб, холодная картошка с луком появлялись, одно за одним, будто из-под земли. — Умойся вон там, в углу, где занавеска, и садись, потом спать ляжешь.

Дорога сказалась сразу: уже после первой Влад размяк и осоловел. Речь хозяина пробивалась к нему с трудом, словно сквозь ватную перегородку:

— Нам эта земля, товарищ, недешево досталась. Помню, привезли нас сюда осенью сорок первого из Красноярска : лес, топь, мошка! Выбросили нам топоры, пилы и пять мешков немолотого зерна: живите, если можете. Но мы — немцы, народ основательный, возьмемся, так выживем. И — выжили! Выжили, товарищ! — Гекман легонько пристукнул тяжелым кулаком по столу и взыскующе уставился на гостя: горбоносый, с печальными по-овечьи глазами, он походил скорее на иудея, чем на немца. — Болели и мерли, как мухи, кора в пищу шла, землянки насквозь промерзли, но мой маленький народ уцелел. Одного не понимаю: война давно кончилась, а мы еще здесь. Почему? В определенных условиях, в критической ситуации массовая депортация потенциальных противников целесообразна и даже необходима. Я так и сказал тогда, перед выселкой, наверху. Но теперь, когда все позади, что, какие соображения заставляют головку держать нас здесь? Я, дорогой товарищ, с партией с первого дня революции, меня от партии только с мясом оторвешь, но чего-то я не понимаю в последнее время, чего-то не понимаю. Он молча разлил по стаканам остатки. — Допивай, парень, и ложись, мне еще на берег надо.

Но в разгоряченном сознании Влада, против воли его и желания, вдруг выплеснулась и, жгуче разливаясь, понесла яростная обида, которая, он это чувствовал, складывалась в нем все последние годы:

— Что я, мальчик что ли, Гекман, что я пиздон с Дерибасовской, что ты меня испугать боишься! Раз уж начал, так говори. Расскажи мне, доро-

гой партийный товарищ, за какую-такую распрекрасную жизнь вы боролись, за что чужую кровь ведрами проливали и когда все это кончится? Я вот пол-России уже оттопал, а что-то с вашей правдой не повстречался!?

Даже сквозь хмельной туман Влад разглядел, как жестко сузились и побелели в гневе гекмановские глаза:

— Правды хочешь, товарищ? Я бы рассказал тебе правду, но боюсь, что тебе не вместить этой правды. Я рассказал бы тебе, как меня водили на допросы моих товарищей, в которых я был уверен, словно в самом себе, как их убивали на моих глазах, а я не мог сказать им даже доброго слова на прощанье. Я рассказал бы тебе, как выбрасывали нас потом вместе с семьями из собственных жилищ, как везли через всю Россию в телячьих вагонах без воды и хлеба, как живые лежали вповалку вместе с мертвыми и как только чудо и наша воля спасли нас здесь от гибели. Да, все оказалось не так, как задумывалось, но совесть моя чиста, я ничего не хотел для себя от этой революции, я думал, что так будет лучше для всех. Я не могу зачеркнуть своей жизни только потому, что какой-то русский мальчик недоволен ее результатами.

— Другим от этого тоже не легче, — вяло сдавался Влад под его напором. — Извини, Гекман, душа кричит.

— Поговорили, называется. — Гекман мгновенно обмяк. — Ладно, ложись, утро вечера мудренее, хотя здесь и не разберешь, когда утро, а когда вечер. Уж такая, — он добродушно хохотнул, — уж такая страна сказочная...

Утром Влада разбудил громкий стук в дверь с последующей немецкой скороговоркой за ним.

Гекман не спеша одевался, беззлобно посмеиваясь и отвечая по-русски:

— Ничего, не замерзнет, я его больше жду. — Кивнул Владу в знак приветствия, объяснил: — Комендант прикатил, стружку за план снимать будет. Собирайся, на его катере до Игарки доедешь.

У пристани мерно покачивался причаленный катер, а по дебаркадеру расхаживал взад и вперед, в ожидании Гекмана жердеватый, с легкой сутулостью капитан внутренних войск в белом полушубке внакидку. Председатель, видно, давно привык к этим наездам: идя, он только насмешливо посапывал да уверенно, словно перед дракой, поводил плечами. Нам не страшен серый волк!

Гекман на катер не взошел, остановился около дебаркадерного трапа, и это тоже, надо полагать, считалось у них за давнишнее правило. Капитан принялся беситься еще издали, едва увидев идущего к нему председателя:

— Ты что же это, немецкая рожа, делаешь! Где план? Ты мне зубы не заговаривай, план, говорю, где? — Он метался по палубе, размахивал руками, при каждом слове болтался из стороны в сторону, будто на шарнирах. — Захвалили тебя, занянчили, а ты исподтишка саботажничаешь! Мы Гитлеру душу вытрясли, думаешь, ты отвертишься? Я...

— Не идет рыба, гражданин начальник, — спокойно вставил в образовавшуюся паузу Гекман. — Но план будет. — Откровенно озоруя, он показал Владу кулак за спиной. — Здесь товарищ один, гражданин капитан, в Игарку пробирается...

— Кто? Откуда? — сразу утихая, забеспокоился тот: посторонние свидетели таких разговоров явно не входили в его расчеты. — Как здесь оказался, по какому случаю?

— Завклуб из Игарки, — Гекман становился все невозмутимее. — Самсонов. С Хантайки своим ходом идет.

— А, знаю, — вяло сник комендант. — Пускай садится, довезу. Нашел тоже время для прогулок! А ты давай, Гекман, жми, без ножа режешь, душу бы я твою мотал! — Для порядка, правда, еще погрозил пальцем. — Смотри, Гекман, шкуру сниму. — И в сторону катера. — Заводи!

Катер с места взял крутой разворот и пулей вылетел на стремнину, а Гекман, широко расставив ноги и заложив руки за спину, все еще стоял на берегу, глядя им вслед. Неизвестно, о чем он думал в эти минуты, но что не о них, только не о них, за это Влад мог бы поручиться сейчас головой.

Эх, Гекман, Гекман, твоего бы опыта да нынешним германским левакам, они, кажется, ничего не забыли, но ничему и не научились, и снова рвутся на баррикады!..

В Игарке Влада ожидало разочарование: начальство переехало в Ермаково: жаловаться было некому, расчет получить негде. Снова садиться на шею Мухаммеду в ожидании лучших времен он не решился. Оставалось тем же манером пуститься дальше — на Ермаковский маяк.

Хорошо утоптанная тропа вывела его к трассе, вдоль которой тянулась линия временной связи: безошибочный ориентир для путника. Через каждые пять километров здесь стояла будка дежурного обходчика, где всякий проходящий считался желанным гостем: одинокая жизнь в тайге располагает к радушию. В два с половиной броска Влад одолел дорогу и к вечеру третьего дня уже стучался в кабинет отдела кадров экспедиции.

Но Константин Иванович, рубаха-парень, душа нараспашку, на этот раз даже головы в его сторону не поднял, сказал, как отрезал:

— Нету у тебя здесь ничего, уважаемый. Солопов вообще не считал тебя приступившим к работе, а потому и зарплаты не начислял. Справку можешь получить по сорок седьмой ге*, а денег, извини, для тебя у нас не имеется. Мой совет: получи бумагу и в двадцать четыре часа линияй отсюда на все четыре стороны, иначе хуже будет. Солопов антисоветчину тебе клеит, не отскребешься. Бывай...

Начальник экспедиции оказался в отъезде. Влад попытался было пробиться к главному инженеру Побожьему, но тот его не принял. Сидя потом на берегу с горьким комком в горле, при полной беспросветности впереди, Влад не знал, не ведал, предположить не смел, что спустя пятнадцать лет тот же самый Побожий Александр Алексеевич будет носить ему на суд свои литературные опусы, оказавшись при этом замечательно добрым и простым человеком. О, могучая сила односторонней информации!

Теперь Влада могла спасти только навигация, которая должна была открыться со дня на день. В ожидании первого парохода он коротал ночи на временном вокзальчике будущей магистрали, куда его по доброте душевной пускал здешний сторож, который время от времени даже подкармливал непрошенного гостя.

— Ешь. — Тронутое оспой, помятое лицо его смутно маячило в полутьме помещения. — Бог велит все делить. От меня не убудет, тебе не прибудет, зато сытый, а сытый голодного тоже разумеет

* Статья 47, пункт «г» Кодекса законов о труде: нарушение трудовой дисциплины.

должен. Может, вспомнишь старика где хорошим словом, мне и зачтется.

Он же за два дня до предполагаемого отъезда вывел Влада из угрожавшего ему затруднения.

— Говорят, в Игарке страсть, что творится, — предупредил его старик. — Народу освободилась тьма, все парохода ждут. Не прорваться тебе туда без билета. Не иначе, как оцепление на пристани будет. Ты лучше давай-ка дуй в Курейку. Там машина к берегу не подходит, пассажиров лодкой берут. В лодку тебя мой корешок, Федот Ермолаич, посадит, он там известный человек, в музее сторожует, самого Сталина знал. А уж на пароходе сам соображай, авось не выбросят. Федот Ермолаич свой человек, у него и переночуешь.

На этом они и расстались. «Я в даль пошел, и мне была опорой нога, ступивши на земную грудь».*

11

Дорога по берегу тянулась вдоль цепочки рабочих зон и лагпунктов. Если бы он предполагал тогда, в молодости, как тесна, как убого мала земля! Для этого не надо лететь в космос, для этого достаточно прожить до его сорока с лишним лет и узнать, что, идя в ту пору по трассе Пятьсот третьей стройки, он шел мимо своих будущих друзей и сослуживцев, приятелей и собутыльников, поклонников и начальства. Сколько их сейчас разбрелось по свету, успев сойтись и раздружиться с ним! Сколько живет рядом, с сочувствием, гордостью, злорадством наблюдающих за его неравным единоборством с обстоятельствами?

* Данте — «Божественная комедия. Ад».

Сколько почило в Бозе, покинув этот мир до обещанных Суда и Воскресения? Даже затруднишься теперь, кого назвать: бывшего вора «в законе» Мишу Демина, нынешнюю литературную сирену радиостанции «Свобода», нарядчика Сергея Ломинадзе, записного критика «Вопросов литературы», или осыпанного наградным золотом начальника всей этой махины Барабанова, которому еще заискивать и заискивать перед спецкором Самсоновым, исправляя на пенсии жалкую должность заведующего общественной приемной «Известий» при могущественном временщике Аджубее? Всех не назовешь.

Первая ночь застала Влада около зоны, выходящей одним концом прямо на берег. Чуть поодаль от служб и хозяйственных строений, на самом краю береговой излучины его поманила к себе времянка, уютно светившая во тьму единственным своим окошком. На стук ему открыл заспанный парень лет двадцати пяти, с одутловатым поллагерному и чуть бабьим лицом.

— Заходи, — беспечно зевая, посторонился он. — Из экспедиции, что ли? Дверь прикрой... Пожуеть с дороги-то? — Парень подвинул ему миску с холодной треской, отрезал от целой буханки порядочный ломоть, налил из чайника остывающего кипятку. — Хавай, харч казенный, зато от пуза. — Сказал и залег на заваленный тряпьем топчан, предварительно сбросив на пол для Влада старый бушлат. — Похаваешь, ложись, утром разбужу.

Заканчивая трапезу, Влад не выдержал, спросил:

— Вербованный?

— Не. Срок отбываю. На вольном хождении, истопником у начальства. Жить можно. Только

освобождаться скоро, меньше года осталось, думаю, вольняшкой остаться. Чего я в своей деревне не видал, макухи, что ли? Сколько себя помню, до сыта не ел, в черном теле держался, а здесь хлеба от пуза, рыбы от пуза, опять же уважение: «Вася, будь друг, сделай, Вася, голубчик, не забудь, принеси!» Голубчик! А ты говоришь! В деревне-то я, окромя мата, и не слыхивал ничего. Что ни говори, а для нашего брата-колхозника лагеря — это вроде, как для вас дом отдыха. Норму выполнил, — пайку отдай, свое отработал — и на боковую. А в колхозе, как левая нога у начальства захочет. Захочет — даст, захочет — не даст. Иди в лес, серому волку жалуйся, вот и вся конституция.

— Все-таки — на свободе.

— А чего мне с нее, с этой свободы, юшку пить или щи варить? Много я ее в колхозе видал? Паспорта нету, в город съездить — и то председателю за справку бутылку ставить надо, чуть что — в зубы, а гульнешь с горя, участковый здрастепожалста, за широебину и в район. Нет, братишка, даром она мне не нужна, твоя свобода, видал я ее в гробу, в белых тапочках, я жрать хочу...

Под эту его исповедь Влад и уснул, а когда проснулся, тот уже, чертыхаясь и кашляя, растапливал печку:

— Подъем, братишка. Сейчас чайку выпьем и айда, потихоньку-полегоньку, к вечеру на месте будешь. Тут рукой подать.

Прощаясь на пороге, Влад спросил:

— Как звать-то тебя, для памяти?

— А никак! — дурашливо отмахнулся тот. — Считаю, забыл и не помню. Во здравие за меня мать помолит. Покеда.

Что ж, и на том спасибо, чудак-человек, любитель лагерного харча и нормированного рабочего дня!..

На закате голубой фронтон Курейкского музея возник перед Владом среди приземистых изб противоположного берега. Он долго ждал попутной лодки, а переправившись, застал музей закрытым, хотя разыскать сторожа, как оказалось, не составляло труда. Первый же встречный с охотой проводил новичка к дому Федота Ермолаича на взгорье.

Тот встретил гостя без особой радости, но стоило Владу помянуть добрым словом их общего дружка из Ермаково, как тот сразу преобразился, щетинистый лик его обмяк в довольной ухмылке:

— Скрипит еще, старьёй чёрт! Заходи, заходи, места хватит. Закусим и — храпака. Пароход завтра после обеда, не раньше. Не бойсь, сказал посажу, значит, посажу. Федота Савина на Енисее только дурной не знает...

Утром старик водил его по кривобоким комнатам полусгнившей избы, укрытой павильонной коробкой, рассказывал:

— Мы с им, как с тобой вот, нос к носу, сколько разов говаривали, на охоту, рыбку ловить хаживали. Человек он, хочь и южный, а невидный был, рябенкий такой, росточку низкого, только глаз уж больно вострый, посмотрит, будто обожжет. С виду вроде спокойный, а как вожжа под хвост, зайдетя весь, не дай Бог! Молодой я тогда был, мало битый, мне бы скумекать, что к чему, я бы теперь большими делами ворочал. Вон хозяин его, Митька Кокорев, на что мужичонка квелый, и тот мимо рта не пропустил. Как стали, значитя, в тридцатом году музей затевать, он и заломил: «Пятьдесят, говорит, тысяч!» Шутка ли сказать, такие деньги. Она, эта избенка евовная, двух сотен по тому времени не стоила. Так ить попал в точку, сукин сын, дали! — Он выдохнул почти с востор-

гом. — Дали! Хотя, по правде сказать, риск большой был, могли ить и посадить, а то и хуже...

К причалившей от теплохода лодке старик, по-хозяйски растолкав небольшой гомонек перед ней, протащил Влада первым:

— Гражданин — из пароходства, — со значением кивнул он двум молоденьким матросам-лодочникам. — Товарищ Лобастов знает. По прямому проводу... Лично. — И шепотом, скороговоркой Владу. — Не зевай, паря, прыгай.

Первое препятствие осталось позади, но до Красноярска оставалось пять суток пути, в котором на любой пристани его могли снять, не церемонясь. Все, что Владу до сих пор довелось слышать о капитане флагмана «Иосиф Сталин» Лобастове, не предвещало безбилетнику ничего хорошего: крутой, беспощадный к себе и к команде, он слыл на Енисее грозой корабельных летунов и зайцев. Зимую в Игарке, он иногда заходил в клуб на огонек — большой, грузный, ухоженный, с депутатским флажком в лацкане форменного пиджака, но, кроме начальства, близко к себе никого не подпускал, откровенно чинился и важничал. И все же другого выхода у Влада не было, спасти его от неминуемой высадки мог только он — Лобастов.

К немалому удивлению Влада, тот принял его сразу, едва о нем доложили:

— Слышал, слышал! — В тесноватой каюте, устеленной ворсистым ковром, он выглядел еще массивней и значительнее. — Укоротил старую ведьму, молодец! Бывал я на твоих концертах, что говорить, дело знаешь, любо-дорого посмотреть. У них там, в Игарке, все начальство из-за тебя перессорилось, жалеют, что отпустили. Ох, эта Демина, ох, эта Демина! — От его плотной фигуры, добротного кителя, даже депутатского флажка исходило снисходительное довольство уверенного

в себе человека. — Не баба — змея. Далеко ли собрался?

— В Красноярск.

— Без билета, конечно?

— Еле до весны дожил... Сами знаете...

— Ладно, поедешь. — Он вышел из-за стола, слегка приоткрыл дверь. — Эй, кто там! — На пороге, словно по щучьему велению, вырос второй помощник. — Пускай у общего котла кормится, от нас не убудет. — И снова к Владу. — Только даром не повезу, с моими вместе палубу драить будешь, это тебе на пользу пойдет, а то горяч больно, против ветра писаешь. Иди, устраивайся, где сможешь...

Ему долго не забыть этого пути от Хантайки до Красноярска, где чужие, незнакомые ему ранее люди делились с ним кровом, хлебом, сокровенным словом, передавая его, как эстафету, из рук в руки, из рук в руки. Плати теперь, родимый, плати! Как много он хотел бы сказать о ней — этой дороге! Но пройдут годы. Большой Поэт, как бы походя, обронит несколько слов, после которых и говорить будет нечего: «Через тысячи фантазмагорий, и местности, и времена, через преграды и подспорья несется к цели и она. А цель ее в гостях и дома все пережить и все пройти, как оживляют даль изломы мимоидущего пути».*

Как говорится, ни прибавить, ни убавить!

12

Но драить на «Иосифе Сталине» было нечего и негде. На судне не оставалось хоть кем-то не занятого уголка. Забитый до отказа теплоход толь-

* В. Пастернак.

ко подрагивал от напряжения. В трюме, на палубе, в проходах первого и второго класса яблоку негде упасть: народ лежал вповалку, плотно притертый друг к другу. В укромных закутках шпана резалась в карты, заваривала чифирь, готовила тушь для наколок. Лагерные «мамки»* возились со своими грудными спасителями. В темных простенках около клозетов зовущие глаза голодных педиков** источали преданную готовность. Дух этапов и зон витал над судном. «Звон поверок и шум лагереЙ никогда не забыть мне на свете...»

Владу повезло: в поперечном проходе первого класса линейная опергруппа накрыла воровскую поножовщину. В моментально заполненном после них вакууме нашлось место и для него. Только теперь, растянувшись во весь рост вдоль стены, он смог, наконец, с уверенностью вздохнуть: доеду!

Соседом Влада оказался земляк — москвич из Черкизова, глазастый, нос уточкой, парень в за-тасканной малокозырке. Едва освоившись, он сразу же подкатился к нему с откровенностями:

— По волосам вижу — вольняшка. С вербовки мотаешь? — Влад лишь поморщился в ответ, он знал эту породу по детдомам и «бессрочкам»: шумные, не в меру общительные, такие всегда, в любой ситуации, ужитрились остаться в стороне от опасности, живя по принципу: «ни вашим, ни нашим». — Я вот пятерик оттянул по указу, с зачетами, правда, три года вышло. Последний год в каптерке*** прокантовался, не жизнь — сплошная гужовка****, жратвы навалом, опять же бабцо пе-

* Мамки — освободившиеся в связи с рождением ребенка (жарг.).

** Педики — педерасты (жарг.).

*** Каптерка — склад (жарг.).

**** Гужовка — пиршество (жарг.).

репадало. Помню, мы одну больничную в десять смьчков гоняли, смеху полны штаны! Я ведро воды из барака от фашистов приволок, и пошла работа! Она, курва, только подмываться успевала, всех отоварила, я так даже по второму разу прошелся. Потом я эту воду обратно оттаранил, пускай лакают господа фашисты, если им советская власть не нравится!

— Люди же...

— Люди! Стрелять их, гадов, мало! В лагерях чалются*, а всё права качают, справедливости требуют. Как вредить, так они первые, а как отвечать, так Пушкин? Раз попал, молчи, сопи в две дырочки, тебе тут не лекторий, зона-мамочка. Чего им власть не нравится? Жрать дает, воровать тоже. Срока только большие стали, а так — жить можно. — Он заискивающе ослабил, подмигнул. — Может, бабцо интересует? Мы тут одну всей кодлой тянем, могу на очередь записать...

Девицу эту Влад уже видел. Опухшая и распатланная, она маячила то в одном, то в другом укромном углу теплохода, в окружении стриженных голов и лагерных шапок. Его замутило от одного лишь предположения, что он сможет близко подойти к ней. Шпана шелестела вокруг нее, похотливо посасывала, вполголоса смеясь и переругиваясь. В конце концов, когда она надоест им, они завяжут ей подол на голове и выльют на нее ниже пояса ведро мазута. Гуляй, братва, снова живем!

— Обойдусь, — жмуро отвернулся к стене Влад. — Мне свой нос дороже удовольствия.

— Ладно, сопи, а я пойду, может, что обломится.

— Давай, лови кайф...

* Чалиться — сидеть (жарг.).

Кодла* куролесила всю дорогу. К концу пути камера линейной опергруппы была забита подследственными, махровый букет которых состоял из доброго десятка кандидатов в смертники. За пять дней плавания их «послужные» списки пополнились всеми девятью грехами — от вооруженного грабежа до «насильственного утопления посредством выброса за борт». В Красноярске всех их ждал скорый суд и, смотря по обстоятельствам, одним — девять в затылок, другим, более везучим — обратный этап на Пятьсот третью.

Чтобы не втянуться в эту круговерть, Влад старался без особой надобности не вставать с места. Он наскоро глотал в матросской кают-компании выделенный ему даровой харч и тут же возвращался в свой угол, почти не выходя из полудремотного состояния. Жизнь его здесь проходила между сном и явью, поэтому, когда однажды утром Влад увидел в глубине прохода Зинку, он решил, что грезит. В дорогом панбархате, с модно взбитой прической, она двигалась прямо на него, брезгливо нащупывая лакированной туфелькой брод среди распластанных перед нею тел и мешков. Двигалась в сопровождении майора внутренней службы, который галантно и даже несколько заискивающе поддерживал ее под локоток.

Зинка, Зинка! Нет, Влад не смог, не решился тогда узнать, окликнуть тебя, слишком жалок и противен увиделся он сам себе со стороны, но вечером, в темноте, не рискуя выдать своего обнищания, он все же, будто невзначай, столкнулся с тобой на палубе и спросил:

— Значит, добилась своего, подружка?

* Кодла — воровская компания (жарг.).

— Добилась, — просто и твердо, словно вы только вчера расстались, ответила ты. — Завидуешь?

— Нет, — сказал он, но голос его при этом хрипел и прерывался. — Молодец.

Тогда ты взяла его руки в свои, приложила себе к щекам и выплакала ему напоследок все, что оставалось у тебя на душе:

— Я, Владька, за этот год сто лет прожила. Я теперь про жизнь все знаю, ничего тайного не осталось. Как расстались мы с тобой тогда в Игарке, я до зимы держалась, а от тебя хоть бы словечко. Надо мной «до востребования» уже смеяться стала: бросил, говорит, тебя дроля твой, девонька, другую завел. В тот день я и напилась первый раз до одурения. И пошла гулять! Тут мне Димка подвернулся, а после него уж я совсем по рукам пошла, ног не опускала. Этот майор мой и подобрал-то меня по пьяной лавочке на аэродроме. Не знаю уж, чем я ему прищлась, только присох он ко мне с той ночи, одел, обул, женился. Мне бы Бога молить за него, а я все про тебя вспоминаю. Я ведь и в клуб к тебе ходила, думала, заметишь, да где там, такой хвост распустил, не подступишься. — Она на мгновение приникла к нему горячим лбом, тут же отпрянув. — Не судьба, видно, нам с тобой, «дан приказ ему на запад, ей — в другую сторону». — Голос ее ожесточенно пресекся. — Но теперь уж я своего не упущу, у меня мой майор покрутится, чтоб его мать не рожала! — И уже из крошечной ночи всхлипнула надрывно. — Прощай, Владька, ты сам виноват, а я тебя до смерти помнить буду!

Прощай, Зинка, прощай, моя енисейская печаль с легким крылом белой челки, в моем сердце для тебя есть сокровенное место!

В Красноярске Влад попробовал взять быка за рога и направился прямо в издательство. Безумству храбрых! Внешний вид его — полгода не стриженный чуб, брезентовая роба, вещмешок за плечами — видно, произвел впечатление. Секретарша мгновенно вспорхнула и скрылась в кабинете, на двери которого сияла стерильной белизной табличка: «Директор издательства Глозус М. Ю.».

Крепенький, черный, экспансивный, хозяин выкатился в приемную, навстречу незванному гостю:

— Откуда, товарищ? Из глубинки? Стихи? Проза? — он спрашивал, не ожидая ответа и слегка пританцовывая от нетерпения. — Давно пишите? Сколько лет?

— Я из Литинститута, — непроизвольно содрал Влад, и, внезапно осознав, что мосты сожжены, пустился во все тяжкие. — На полгода брал академический, в тайгу потянуло. Теперь вот домой возвращаюсь, решил зайти, посоветоваться с коллегами. Свежий глаз, знаете...

— Простите, а я подумал было: графоман. — Тот уважительно полюбнял его. — Замучили совсем. Заходите, дорогой, милости прошу. — В черном семитском глазу директора засветилась доброжелательность. — Может, что-нибудь оставите для альманаха. Лирика позарез нужна. Конечно, с гражданской окраской.

Читая извлеченные из мешка на свет Божий стихи Влада, Глозус удовлетворенно хмыкал, восторженно прицокивал языком, понимающе качал головой, кружа при этом по кабинету:

— Хорошо!.. Очень хорошо!.. Удивительно об-разно! «Словно стрекоза, в высоком небе, черты-

хаясь, тает самолет». Просто и точно! А главное, я гляжу, много зачеркиваете. Это очень хорошо. Это свидетельствует о требовательности. Я же вижу «комар» зачеркнуто. Конечно, «стрекоза» лучше и точнее. Это настоящее, это надолго...

Потом он звонил, поил Влада чаем и опять куда-то звонил, уговаривая немедленно зайти по срочному делу:

— Не пожалеешь! — кричал он в телефонную трубку. — Это настоящее, это надолго! Он нашему Казимиру сто очков вперед даст! Давай, жду.

После пятого, примерно, стакана чаю, к директору, наконец, пожаловал и тот, кого он так долго и с такой нетерпеливой настойчивостью зазывал сюда. Глозус вскочил, засуетился, забегал, засучил короткими ножками в сторону Влада:

— А вот и наш классик, гордость наша! Прощу любить и жаловать — Игнатий Рождественский, надеюсь, слышали? — Гость, разумеется, знал, слышал, преклонялся, и гость даже самому себе не смел признаться в эту минуту, что живого поэта видит впервые в жизни. — Вот, Игнаша, молодой коллега твой, из Литинститута, проездом, зимовал в тайге, посоветоваться хочет, может, даже оставит что-нибудь для альманаха.

Вошедший — довольно высокий, но рыхлый человек, с болезненным до желтизны лицом, — держась за печень, тяжело опустился на диван.

— Опять гений? — крихтел и морщился он. — И как тебе не надоест? — Поэт игнорировал Влада открыто, подчеркнуто, не стесняясь. — У тебя что ни день, то гений, теребишь по пустыкам, а у меня печень. Ну, давай, что там твой вундеркинд накропал?

— Нет, Игнаша, на этот раз, по-моему, настоящее и надолго. — Воодушевление директора улетучивалось на глазах, листки Влада он подавал

мэтру уже с явной опаской. — Посмотри вот тут, как он про стрекозу завернул, какая образность, где Казимиру до этого!

Поэт брезгливо пробежал затрепанные листочки, один за другим отбрасывая их рядом с собой на диван, и на желтом лице его, раз от раза все явственней, проступало неподдельное страдание. Закончив чтение, он бессильно, словно пианист после финала, опустил руки вдоль туловища:

— Какая белиберда! Плохо, все плохо! — Он говорил, глядя прямо перед собой. — Хотя бы слово, намек, тень таланта! Все, кому не лень, изводят бумагу. Стрекоза! Какая к черту стрекоза! Испражняются стихами, а зачем, спрашивается? Какая-то поэтическая дистрофия!.. Господи, как больно!

Поэт закрыл глаза и затих, словно умер. В наступившей тишине пристыженный директор виновато развел руками: не обессудьте, мол. Если бы вы знали, уважаемый Михаил Юрьевич, что гость готов был убить вас тогда, но теперь он благодарит Бога, что ему так повезло. Отныне и навеки веков он провозглашает: каждому начинающему — своего Игнатия Рождественского!

Но в тот день Владу было не до шуток. Голодный, без копейки денег, с волчьей справкой в кармане, он сразу сделался игрушкой в руках судеб, от которых, как известно, спасенья нет. Но отчаянье не бесконечно, надежда берет свое, и к вечеру в его воспаленном мозгу, как зов из детства, как далекий набат Сечи, как сладкий дым отечества возникло, сразу утвердись в нем, слово-бальзам, слово-спасение, слово-выручалочка: Москва!

Эти пять тысяч километров записаны с тех пор на его ребрах, на его шкуре, на его сердце и спинном хребте — слишком тяжело они ему достались, но он преодолел их, взял штурмом, нахрапом, при-

ступом, чтобы только однажды утром вдохнуть горьковатый запах пристанционной столичной окраины и облегченно замереть: дома!

14

Да увидел бы Влада сейчас кто-нибудь из родни или дворовой черни! Это было бы пределом их грез, пиком их торжества, доказательством их прозорливости: докатился-таки самсоновский отпрыск до ручки! Для улицы Горького зрелище, наверное, и вправду было жалкое: заросший доходяга, в кургузом пиджачке, надетом прямо на голое тело и заколотом булавкой у шеи, дремучая бахрома брезентовых штанов над расхристанными тапочками, тощий узелок под мышкой. Постовые при виде его делали было охотничью стойку, но, повнимательнее всмотревшись, тут же теряли к нему всякий интерес. И это казалось ему самым тревожным: значит, он действительно дошел до края.

Решение заявиться в приемную Шверника созрело не сразу. Влад еще походил, помаялся по отделам кадров, но справка, выданная ему Костей, Константином Ивановичем, другом ситным, годилась разве что для подтирки. Едва взглянув на эту справку, кадровики отмахивались от него, как черт от ладана:

— Не могу... Рад бы в рай...

Ночевал Влад в закутке между мостом железной дороги и пивным ларьком, что около Казанского вокзала, или ездил на станцию Раменское. Одна такая поездка и определила в конце концов его решение. В тот вечер он стоял в тамбуре полупустой электрички, где кроме него маялся единственный пассажир: бритый наголо толстяк с жиденьким, ручка изоляционной лентой перебинто-

вана, портфельчиком в руках. Толстяк искоса поглядывал в сторону Влада, но, едва встретившись с ним глазами, мгновенно отворачивался. Так они ехали, переглядываясь, и в то же время стараясь не замечать друг друга, пока тот, на очередной остановке не спрыгнул в темь. Влад до сих пор не может дать себе отчета, почему он потянулся следом за недавним спутником, что, какая сила толкнула его к распахнутой настежь двери, но все последующее ему уже не избыть из себя. Оттуда, из освещенного сверху провала, вдогонку отходящей электричке, толстяк протягивал ему булку с сыром, волоча за собой расстегнутый портфель. Навеки запечатленное сердцем мгновение: поздний вечер, почти ночь, прямоугольник текучего света, а в нем ковыляющий по насыпи маленький человек с булкой в протянутой руке.

Завяжи еще один узелок, Самсонов!

Именно тогда он понял, что предел близок, и утром, вернувшись в Москву, двинулся на Моховую...*

Вот тогда-то, на углу улицы Горького и Моховой, у парадного подъезда гостиницы «Националь», среди пестрого, но жалкого в своих претензиях многолюдья Влад и отметит памятью идущего мимо него человека со щегольской тростью под мышкой. Высокий, в роскошных усах красавец, в светлом пальто, с ухоженным нимбом вьющихся волос, он двигался сквозь толпу, словно гость из мечты, посланник Шехерезады, видение иного, нездешнего мира, и благоухание его холеной чистоты тянулось за ним наподобие тончайшего шлейфа.

Вы еще встретитесь, Саша, вы еще встретитесь, Саша Галич, но только почти через двадцать

* Моховая, дом 7 — Приемная Президиума Верховного Совета СССР.

лет, в другой обстановке и при других обстоятельствах, и, надо надеяться, оба пожалеете, что этого не случилось раньше!

Только здесь, в пестрой толпе ходоков и нищих, Влад впервые за много дней почувствовал себя незаметным. Мослатая, в куцем платочке старуха жаловалась сидевшему рядом с ней мрачному инвалиду с костылями на коленях:

— Мыслимое ли дело ласстрел, скажи-доложи! — Узкое лицо ее недоуменно напряглось. — Убить-то он убил, а за что, ты у меня спроси. За родную мать заступился. Он ведь, Спицын энтот, не бригадир — зверь был, прости его душу грешную. Он меня так-то кнутовищем огрел, что, я, считай, до Покрова не подымалась. Сколько он из нас — баб крови попил, сказать нельзя. А мне говорят: телор, мол, политика, говорят. Какой из моего парня политик, когда у нево еще мамкино молоко на губах. Нет, не на таковскую напали, я до Сталина дойду!

— Дело говоришь, — угрюмо кивал инвалид, — дело...

Чуть поодаль от них два подержанного вида очкарика, склонившись друг к другу, толковали о своем:

— Я им доказываю, что они обязаны запатентовать мое предложение, а они ни в какую. Мы, говорят, не занимаемся двигателями подобного типа. А кто, говорю, занимается? Никто, говорят. Но он же работает, говорю! Все равно, говорят, не патентуем.

— Да, везде бюрократизм, — вторил сочувственно собеседник. — Вот у меня, к примеру: положен учителю приусадебный участок? Положен. Постановление правительства по этому вопросу имеется? Имеется. Я к председателю, а он мне: мы, говорит, помещиков в семнадцатом году прогнали

и новых нам не требуется. А у самого восемьдесят соток, вот и поговори с ним...

В голове очереди кто-то бился в падучей. Вокруг больного гомонила тревожная кутерьма:

— Наваливайся ему на ноги!

— Голову, голову держите!

— Ложка есть у кого, зубы разжать, а то язык откусит?

— Воды давай!

— Ничего, пройдет скоро...

Получив у дежурного юриста заветный талончик, Влад отыскал в коридоре дверь с указанным там номером и вскоре уже сидел перед крупной, рыжая копна волос над белым, в конопатинах лбом, женщиной, бегло излагая ей этапы своей последней одиссеи. Та слушала его не перебивая, чиркала чего-то изредка в блокноте под рукой, а когда он, наконец, умолк, спросила:

— Ел сегодня?

— Нет...

— На-ка вот. — Она выдвинула ящик стола, вынула оттуда просаленный сверток, придвинула к нему. — Бери, бери, не обедняю. — Из-под грубоватой насмешливости на некрасивом, но мягком лице ее проступило смущение. — Тоже мне, Пржевальский, горе-путешественник! Помочь я тебе помогу, но сразу такие дела не делаются. Недельки две-три подождать придется. В больнице ты, сам говоришь, лежал, значит, не боишься. Вот и хорошо. Я сейчас позвоню Янушевскому в психприемник, он тебя к себе возьмет на это время, отлежишься немного, поправишься, а я пока твоим устройством займусь. Вот тебе гривенник на трамвай, на «Букашку» садись, это около театра Красной Армии. Институтский переулок, дом пять. Коли и в самом деле москвич, то не заблудишься... До свидания. Следующий!

В психприемнике Влада ждали. Стоило ему доложиться дежурной сестре, как она тут же провела его в кабинет главного городского психиатра. Янушевский оказался небольшого роста взъерошенным колобком, как бы раз и навсегда рассердившимся на весь род человеческий.

— Ну-с, покажитесь. — Разговаривая, он не сидел на месте, вскакивал, перелистывал бумаги на столе, тискал карандаши в быстрых пальцах, то и дело протирал очки. — Как же это вы дошли до жизни такой, милейший? Впрочем, ерунда. Что это вас в Президиум потянуло, не могли сразу сюда прийти? Мы и без них обязаны вас принять, вы же на учете. Господи, да на вас даже рубахи нет. Ладно, на прощанье что-нибудь придумаем. Лидия Александровна, мойте и в — палату...

Пройдет много времени, прежде чем имя Янушевского станет пугалом либеральной интеллигенции, синонимом врачебного лакейства и каиновой печатью целой профессии, а в тот день он покажется Владу просто стареющим чудачком пенсионного пошиба. (Так вот, где таилась погибель моя!)

В психприемнике, или, как его еще называют, в больнице номер семь, Влад пробыл чуть больше двух недель, отогрелся, немного пришел в себя. Больница по преимуществу служила перевалочным пунктом для эвакуации иногородних; контингент менялся беспрерывно, и видно поэтому память не удержала ни одного лица или характера. Всплывает иногда только смутный облик молоденького карманника-рецидивиста, который почти не выходил из клозета, сидел там, курил, мыл унитазы, драил кафельный пол, а в перерывах, стоя у дверного окошка, довольно приятным тенорком пел тюремных «Журавлей».

Уже на третий день, в знак особого доверия, Влада приспособили ходить за обедом в туберкулезную больницу напротив. Ее старинные корпуса с памятником Достоевскому в палисаднике возвышались за изгородью психприемника, окруженные царственными кленами, затеняющими запущенный больничны́й парк. По дороге он часто встречал разного возраста ребяташек в инвалидных колясках и на костылях, неловких птенцов с не по-детски печальными глазами, но знать бы ему тогда, что среди них уже обитал в те поры и его будущий дружок по театральным и киношным мытарствам — Саня Кузнецов, бодрое дитя самолюбия и жизнестойкости. Но близок, близок час, Саня, час встречи и горького расставания потом!

На прощанье Янушевский не забыл-таки, сдержал слово, Влада слегка приодели, не поскупясь на вполне крепкие солдатские ботсы и трехдневный паек, отвезли на Казанский вокзал и отправили в сторону Сталинграда, с официальным направлением в кармане.

Прощай, Москва, снова прощай, до скорого, сравнительно скорого, свидания!

15

Облик Сталинграда с тех пор, как Влад в войну побывал здесь, довольно заметно изменился. Центр города был уже почти отстроен, хотя здание вокзала оставалось тем же — тесным и деревянным. Поезд прибыл рано утром и поэтому Владу пришлось несколько часов промаяться в битком набитом зале ожидания. Сколько он себя помнил, всегда, на всех виденных им вокзалах России, даже самых крохотных, толкался, гомонил в томлении и полусне разномастный народ. Куда только

несло этих оголтелых, с потерянными глазами людей, какая жажда заставляла их покидать свой дом и устремляться Бог знает куда и Бог знает зачем? Будто кто-то заронил им в душу вечного червя сомнения: вдруг, мол, в другом месте лучше, а меня там нету? Как бы он хотел оказаться сейчас на месте большинства из них: иметь кров над головой, ежедневный кусок хлеба, хоть какую-то, пусть самую черную работу! Сокольники, Сокольники, сквозь ваш тополиный пух ему еще идти и идти по земле, в слепой надежде вернуться! Но пока что будущее его ускользало, как говорится, во мраке, а ближайший день не сулил ничего хорошего. Три сбоку — ваших нет.

Задолго до девяти Влад петлял вокруг областного управления милиции, зато потом, в паспортном столе, оказался первым на очереди. Маленький, похожий на подростка, майор повертел в юрких пальцах его направление и, сложив бумажку вдвое, вернул Владу:

— Ищи работу, пропишу. Все. Следующий!

Нет, Влад не мог позволить себе роскоши пуститься по этому заколдованному кругу: сначала работа, потом прописка, сначала прописка, потом работа, у него не было для этого средств и времени. Единственное, что он мог, так это с первым же поездом махнуть дальше, на юг, где ему было бы намного легче пережить зиму. Но, чтобы одолеть предстоящий путь, Владу нужен был небольшой запас хлеба или сухарей. На нем давным-давно не осталось ничего, что имело бы хоть какую-то продажную и меновую ценность. И все же, скорее по старой бродяжьей привычке — авось что-нибудь да свалится с неба! — чем всерьез, Влад поплелся на городскую толкучку.

О горькое колдовство российских базаров тех лет! Преобладающий цвет — цвет шинелей и тело-

грек, а остальное — рвань пополам с несчастьем: нищие, старики, инвалиды с жалким товаром, вроде штопанных кальсон или пары опорок в руках. Здесь продавалось и обменивалось все — от гнутых гвоздей до рисованных ковриков включительно. Азартная атмосфера барахолки подхлестывала инициативу, и вскоре Влад уже тряс перед собой снятой с себя исподней рубахой. К сожалению, предложение такого рода тут явно превышало спрос: целый день он протолкался со своей тряпкой, но покупателя на нее так и не нашлось. Он было вконец отчаялся, когда, где-то под самый вечер, заметил в редеющем ряду барахольщиков приземистого старичка, сивая бороденка клиньшком на жестяном лице. Сидя на корточках перед куском брезента, поверх которого был разложен его нехитрый ассортимент, рыболовные крючки-самоделки, связка ключей неизвестно к каким замкам, проволочные оправы для очков, старичок время от времени взыскующе поглядывал в сторону Влада, скорее даже не на него, а ему на ноги. Они еще долго приглядывались друг к другу, слабеющий зверь и терпеливый охотник. Влад не выдержал первым и нерешительно подошел:

— Бери, отец, недорого отдам.

Жестяной лик старичка пошел гармошкой:

— Куда она мне, залетный! Своих два комода, хоть даром раздавай али с придачей. Вот штитлеты твои мне подойдут, купить не куплю, грошей нету, а сменку дам барскую, подшитые валенки, считай, не ношенные совсем, довоенной работы товар.

Бутсы, подаренные ему в психприемнике, были для него гарантией благополучной дороги, знаком его кредитоспособности, залогом его будущего. «Только не это, — тоскующе протестовал он, — только не это!» Но вслух сказал:

— А я как?

— Зима на носу, парень, валенки самый раз будут. Зиму за милую душу протопашь, а до тепла на сапоги заработашь, молодой еще. Цыган то-жесть шубу продавал: «Сентяб, тят, тят, тят, тят, а там и лето!» По рукам, парень, не прогадаешь.

— Давай посмотрю твои валенки, — безвольно сдавался Влад, — может, и сторгуемся.

— Дома лежат, ехать за ними надоть.

— Далеко?

— А до Красноармейского, поселок такой есть!

— Ехать-то как туда?

— А на пригородном, — заторопился старичок, поспешно собирая свои манатки, — рукой подать. К ночи и будем, у меня и переночуешь, а утречком куды хошь, вольный казак.

Этим последним доводом Влад был сломлен окончательно. Увлекая его за собой к вокзалу, старичок словоохотливо тараторил по дороге:

— Живу, дай Бог всякому, в тепле и безо всякой прописки. Дажесть животину держу, завсегда с молочком, коза, то есть. Помещения, что тебе твои палаты, хоть пиры задавай. А сколько годков я, вроде тебя, промаялся и сказать к ночи страшно. Как сдюжил, сам в толк не возьму, фигура у меня, сам видишь, хлипкая. В гражданскую у красных воевал, у белых воевал, с зелеными тожесть хаживал. Потом по вербовкам крутило-вертело, почитай, от Урала до Амур-реки все пятилетки сталинские прошел. На нынешней войне и то в обоз взяли. После по госпиталям мытарился, на фронте рацикулит схватил, есть что вспомнить. Зато теперь, за все мои муки-горести вознаградил своего раба Господь Бог, живу, сам себе барин, хлеб жую, чайком запиваю. — И, прибавляя шагу. — На восьмичасовой, видать, поспеем.

Вагон вечернего-пригородного они взяли почти штурмом. Потом не меньше часа их мотало в дыму и давке прокуренного купе, после чего спутник Влада, сойдя с поезда, повел его за собой в крошечную ночь. Как тот, при его возрасте, разбирал дорогу, оставалось для Влада загадкой. Сам он шел, только крепко вцепившись в рукав старца, но все равно то и дело обо что-нибудь спотыкался. Изредка свет случайного окошка освещал вдруг кусок штакетника или даже часть улицы и тут же мир впереди снова погружался во мрак. «Кругом так темно и не видно ни зги».*

Вскоре Влад почувствовал, что они вышли на открытое пространство: повеяло упругим холодом, твердь под ногами сделалась ровнее, темь слегка раздвинулась и поредела. Затем впереди явственно выявилась какая-то темная, уходящая ввысь громада. Даже на фоне почти непроглядного неба она выделялась своей тяжелой аспидностью.

— Что это? — Холодея сердцем, Влад замедлил шаги. — Что за балясина? Чертовщина этакая!

— Сам! — с нескрываемой горделивостью откликнулся тот. — Хозяин. На века поставлено.

Только сейчас до Влада дошло, что это памятник Сталину у самого истока Волго-Донского канала, знакомый ему по множеству снимков в газетах и киножурналам. Влад инстинктивно затосковал: много лет это имя преследовало его: школьное детство, арест отца, лагеря «Пятьсот-третьей» и сказочный павильон в Курейке — все было связано с ним, этим именем. Некая притягательная жуть исходила от этих шести букв, слитых в одно-единственное слово. Оно — это слово — заключало в себе что-то гораздо большее, чем мог лично вместить тот рябой, ниже среднего роста,

* Слова шляхтичей из «Ивана Сусанина».

усач, о котором ему рассказывал пьяный сторож Курейкского музея. Скорее это было заклинание, магический ключ, так сказать, волшебный «сим-сим» к таинственному механизму, приводящему в движение грозную машину, способную перемолоть всякого, кто осмелится противостоять ее неумолимому ходу. Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь!

Через несколько шагов гигантская тень скрыла их под собою и спутник Влада облегченно вздохнул в темноте:

— Вот и притопали, сейчас чай гонять будем.

Старик еще повозился, побряхтел над замком, прежде чем тяжелая и, судя по лязгу, металлическая дверь обнажила черный провал впереди, откуда жарко пахнуло смесью жлева и ночлежки. Даже давно попривыкший ко всему Влад удушливо поперхнулся: «Как он только здесь не задохнется!»

Дед снова повозился в темноте, засветил лампу, обнажая перед гостем глухую бетонную коробку, сплошь устеленную прелой соломой. Из дальнего, левого угла, в сторону вошедших грустно пялилась тощая коза. Справа от нее приставная лестница вела еще выше, в еще большую тьму.

— Здесь у мене хозяйство, парень, — успокоил его старик и с лампой в руке двинулся к лестнице. — Ночую я там, на верхотуре, дух, по первости чижольй, зато тепло. — Он исчез в провале потолка и уже оттуда позвал гостя. — Не бойсь, не кусается, лезь бойчее!

Здесь, в царстве тряпья и хлама, дьшалось действительно чуть полегче, но помещение имело какую-то странную — овальную форму: полое, уходящее в бездну над головой и усеченное до предела в перспективе.

— Где это мы? — тревожно спросил Влад.

— А в сапоге! — беспечно откликнулся тот, роясь в куче хлама перед собой. — В сапоге у самого товарища Сталина, понимать надо. Это мне такое доверие от начальства.

— Это за что же?

— А я здесь сторожую!

— Чего же его сторожить, не унесут ведь?

— А я на складу, за каналом, матценности сторожую.

— Ценности?

— Проволоку колючую.

— Кто ж на нее польститесь?

— Видать, зеленый ты, парень. — Тот выпростал из кучи и кинул ему под ноги пару подшитых, но вполне сносных на вид валенок. — Нынче всё воруют, мимо дерьма не пройдут, а проволока эта — известный дефицит, кого хошь спроси. Тут вон летошний год товарняк с рельсов съехал, дак народ со всех поселков сбежался с ведрами, мазут соскребали и домой тащили, а спроси у них, за каким лешим им тот мазут сдался? А так, скажут, про запас, может, пригодится зачем в хозяйстве. — Старик внимательно следил за тем, как Влад примерял валенки. — Ну, как, не жмуты?

Валенки и вправду пришлись ему впору, ноги после жесткой тесноты его солдатских бахил прямо-таки отдыхали в их разношенном войлоке.

— А ты говоришь! — удовлетворенно хмыкнул дед. — Я продавец правильный, плохого товара у меня нету. Носи и поминай деда, а тебе еще и два трешника с буханцом хлеба впридачу дам, по себе знаю, каково без привязи по земле бродить. — Он ловко разгреб среди тряпья место гостю. — Давай-ка спать, парень.

Но и загасив свет, дед еще долго ворочался, кряхтел, рассказывал свои байки:

— Такую фигуру, брат, отхлопали, что ни в сказке сказать, ни пером описать! Одного металлу сто вагонов, а механизмов, хитростей всяких, что тебе секретный завод. В фуражке у него даже лучи смертельные приспособлены, чтобы, значит, птички ему на голову не навалили чего: на подлете замертво падают. Тоже моя добыча. Ощипаю и в котелок, ничего супец получается, наваристый. Можно сказать, без мяса за стол не сажусь. Эх, — дед даже застонал во тьме, — мне бы на такую-то гору взобраться, я бы показал кой-кому кузькину мать! Добрехонек хозяин, оченно уж добрехонек, под корень, под самую основу сечь надоть!..

Утром дед проводил Влада к выходу и, распахнув перед ним дверь, бодро понапутствовал:

— Покеда, парень, помани мое слово, век будешь за старого Бога молить, что такие валенки тебе задарма отдал да еще и с придачей. Ну, топай, мимо обратно пойдешь, заворачивай!

День обещал быть погожим. Над изморосью крыш впереди клубились перистые облака. Умытое солнце, отделившись от кромки окаема, окрашивало их по краям в розоватый, бледного оттенка цвет. Голубые дымки печных труб мирно струились в безветренном воздухе. Ногам Влада было тепло и покойно, и оттого предстоящая дорога уже не казалась ему такой безотрадной. Много ли человеку надо!

Лишь войдя в поселок, он обернулся. Огромная статуя, блистая на солнце, взмывала над каналом, подавляя все рядом и около себя своей несоразмерностью с окружающим. Там, за ее спиной курилась голая, выжженная докрасна степь, и можно было подумать, что она — эта статуя — пришла сюда из-за горизонта, оставляя за собою безжизненное пространство, сквозную пустоту, прах и тлен. Там

дикий зверь не проползет, не пролетит ночная птица!..

Скорые, как оказалось, на поселковом полустанке не задерживались, и Влад, не солоно хлебавши, двинулся по шпалам до ближайшей узловой станции. Но чем выше поднималось солнце, и чем податливей делалась смола под ногами, тем неуютнее чувствовал он себя в своей новой обувке. Валенки его разваливались прямо на глазах: подошвы спереди отстали, головки размякли и поползли. «Обманул старьй хрен! — чуть не плакал Влад. — Гнилье со свалки всучил!»

Вынужденный срочно спасти положение, Влад свернул к первому же дому при дороге, попавшемуся ему на глаза. Он еще только ступил на крыльцо, когда дверь сеней отворилась и маленькая, темный платок до бровей, женщина тихо пригласила его с порога:

— Заходите.

Следом за ней Влад миновал сумрачные сени и тут же очутился в большой, но пустоватой горнице с русской печью напротив входа. Навстречу гостю поднялся грузный, на деревянной ноге мужик в солдатском бушлате поверх исподней рубахи:

— Заходи, заходи. — Легонько уперевшись ему в плечо тяжелой дланью, тот одним движением усадил его на лавку у печи. — Я тебя еще из окошка увидал: думаю, гость за нуждой идет, принять надо. Шамать будешь, картоха есть вчерашняя.

Когда Влад, слегка пугаясь и путаясь, объяснил хозяину цель своего вынужденного визита, тот без слов проковылял в дальний угол, немного пошарил там и через минуту вернулся, протягивая ему дратву, иглу и шило:

— Давай, налаживай свою амуницию, а то далеко не уедешь. — И, обращаясь к робко стоявшей у двери жене, добавил: — Насыпь, Маня, картохи, побалуемся малость.

Лишь попривыкнув к полусумраку комнаты, Влад разглядел между делом, что изо всех ее углов, с печи и, даже, казалось, из-под нее в его сторону светились глаза, множество детских глаз. «Когда только он их настрогать успел, — про себя подивился Влад, — не старый еще совсем!»

Потом, сидя за столом, вокруг которого собралась вся его поросль, хозяин добродушно посмеивался:

— Вишь, их у меня сколько! — Он любовно обвел стол. — Может, и не все мои, зато со мною, за батькой в огонь и в воду. — Заговорщицки подмигнул им, осклабился. — Правильно я говорю, робя?

Ловко уминая картошку, они смотрели на него с немым восхищением и преданностью, а разномастные их головы оживленно покачивались: ну, мол, и батька у нас, ну и молодец! Хозяйка же подсыпала и подсыпала из чугуна на стол, благодарно светилась, но была при этом робка, молчалива, словно бы в чем-то раз и навсегда виновата.

А хозяин, знай себе, изливал душу:

— Когда уходил, один только намечался, а вернулся в сорок четвертом, у ей уже трое. Где ж ты их, говорю, в какой капусте насобираала. Трудно одной, говорит, Вася, жить бабе, просто невозможно, говорит, жить было. Ладно, говорю, давай теперь своих делать, в куче веселее. Так и пошло: что ни год, то с прибавлением, на одних крестинах по миру пойдешь. Зато живем, не тужим, есть нечего, друг на дружку глядим, время быстрее бежит...

Чуден и непонятен мне человек по сей день, по сей час чуден и непонятен, по сию минуточку!..

Влад не мог уйти отсюда, не оставив по себе никакой памяти, и, снова минуя сени, он незаметно оставил на поленнице дров две трешницы, ту самую придачу, что отвалил ему дед-барахольщик к его ботинкам: «Перекантуюсь как-нибудь, пусть ребята побалуются!»

Влад уже порядком проделал полотна, когда далеко у него за спиной вознесся и зазвенел призывный дискант:

— Дяденька!.. Дяденька-а-!.. Погодьте-е-е!

Влад обернулся и обомлел: в больших, не по росту калошках к нему по шпалам ковыляла одна из хозяйских девчушек и темный, явно материн платок над нею вился, будто вороное крыло. Теплый комок подкатил к его горлу, он вскрикнул, метнулся к ней навстречу, подхватил ее, прижал к себе и тут же услышал судорожное биенье маленького сердца:

— Что ж ты вот так, раздетая?.. Разве ж так можно!.. Глупенькая, простудишься!

А она все совала, все совала посиневшими ручонками ему за пазуху две смятые трешницы, все приговаривала:

— Папка велел... Мамка тоже велела... У нас есть... Папка велел... Мамка тоже велела... У нас есть...

— Как зовут-то тебя?

— Настя, — затихала она у него на руках. — Настюшка...

Настя, Настя, Настюшка, дай-ка я запишу тебя в свои святцы!

Небо обваливалось на землю душным потопом. Дымясь, словно парное молоко, дождь почти бесшумно висел над городом. Казалось, что хлябь навсегда соединила обе тверди и ей уже не будет конца. Через распахнутые двери камеры хранения, чуть размытая струящейся дымкой вокзальная площадь перед Владом проглядывалась насквозь. Площадь была пуста, если не считать одинокой женской фигурки, маячившей под шапечным штандартом таксомоторной стоянки: пестрый мазок штапеля на кисейной занавеси дождя. Какое-то время женщина недвижно стояла объятая ливнем, похожая на чудом выбившийся из-под асфальта цветок, затем, словно пробудившись, резко сорвалась с места, стремительно пересекла площадь, и Влад задохнулся, коротко запечатлев ее, порхнувшую мимо двери черную челку над библейским профилем матового лица. «И откуда только она, такая!» Он тут же забыл о женщине, память услужливо отвела ей один из самых дальних своих закоулков, но смутное волнение внезапно пережитого восторга еще долго не оставляло его. Ах, Ляля, Ляля, сколько раз потом он будет вспоминать этот день, этот дождь, это мгновение сладостной боли, обжегшей его там, в камере хранения Краснодарского вокзала, после нескольких лет лагерной тоски, больничного одиночества и тайги! А еще позже, спустя чуть ли не четверть века, случайно, на улице, в другом городе, встретив ее, вернее, ее жалкое подобие, тень, изжеванный абрис былого великолепия — вылинявший шиньон вместо вороной челки, он снова задохнется, но уже от брезгливой жалости к себе и своему прошлому: «Боже, Боже, как давно, как мучительно давно это было!»

Теперь же, начисто забыв о ней, Влад сидел на подоконнике в коридоре вокзальной камеры хранения, жадно вдыхая пробивающийся к нему откуда-то из-за ближних крыш одуряющий запах пекарни. Запах тек, растекался, вязко обволакивал его, вызывая в нем легкую тошноту и головокружение. Влада неудержимо тянуло туда, навстречу этой манящей одури, но подошвы валенок, в которых он добирался сюда из Сталинграда, наспех закрепленные бечевкой, едва держались под ним, и выйти сейчас в дождь означало окончательно остаться босым, что его никак не устраивало. Эти валенки оставались для него последним знаком недавней респектабельности, единственным свидетельством его имущественного и гражданского состояния. Остальное — парусиновые штаны, исподняя рубаша с больничным клеймом, бросового употребления телогрейка, сохшийся ком матерчатой шапки поверх стриженной под нулевку головы — давно истлело и держалось на нем только чудом. С тоскливым нетерпением Влад ожидал наступления темноты. В темноте он мог пуститься к заветной цели босиком, не рискуя при этом быть задержанным первым же постовым.

Казалось, темь сгущалась не вокруг него, а в нем самом. До того медленно и незаметно менялась ее окраска. Нескончаемый день, словно петля, стягивался вокруг его горла, долгими спазмами перебивая ему дыхание. И когда, наконец, она — эта темь — сомкнулась над ним, он, сняв и сунув под мышку валенки, ринулся вперед с голодной решимостью преодолеть все, но добраться до цели, чего бы это ни стоило.

Влад несся, летел, парил сквозь сладостный хлебный запах, и звонкие молоточки удачи стучали у него в висках. Мир вокруг состоял сейчас только из этого запаха и этого звона. Смелого пуля

боится, смелого штык не берет. Мы не можем ждать милостей от природы. Ты умри сегодня, я — завтра. Работы, хлеба. Зрелища нам не к спеху.

Обоняние вывело его к белым приземистым строениям пекарни, перед которой вдоль всей улицы протянулась свежевыкопанная траншея, словно линия обороны, каковую он должен был взять штурмом. И Влад, не раздумывая, с отчаянной яростью бросился на приступ. Трижды он срывался с самого края противоположной стороны и соскальзывал вниз, в глинистую жижу, прежде чем злополучная яма покорилась ему и перед ним, словно стена дворца из сказки Шехерезады, возникла серая белизна хлебозавода, с множеством окон во всей фронтальной части. Влад увидел ее сразу, мгновенно, как женщину в безликой толпе, как одинокую звезду среди крошечного неба, как золотую рыбку на дне заброшенного потока. Поле зрения его моментально сузилось до размеров распахнутой настежь оконной створки, где, венчая гору хлебного брака, сияла, красовалась, бахвалилась собою бокастая коврига с чуть взорванной по краю верхней коркой. Он шел, он, вернее, крался к ней на цыпочках, словно к диковинной и чуткой птице, которую боялся спугнуть неосторожным шорохом или скрипом. Он сорвал ее, наподобие сказочного цветка, резко, но бесшумно, и с пылающей ношей в руках, полетел, не чувствуя собственного веса, в темь, в дождь, в спасительное месиво котлована. Много раз потом приходилось ему утолять голод: голод дня, часа, минуты, голод, когда, казалось, больше нельзя, невозможно выдержать, но нет! — с той ночью, с тем утолением уже ничто впоследствии не могло сравниться. Он не ел, он обладал этой ковригой и она входила в него так же, как входит в человека

женщина: вся, вместе с тем, что отдавала, и с тем, что в ней еще оставалось. И когда, наконец, насытившись, он ощутил мир вокруг себя, то есть, ливень, ночь, мокрую глину под ногами, ему уже ничто не было страшно. Он почувствовал себя способным одолеть все это и не только это, а и многое такое, ради чего стоило и нужно было жить. И в той многоцветной и далекой, как радуга, перспективе, что родилась в нем, среди призрачных дубрав и воздушных замков, Влад вдруг увидел ее, ту самую, с вороной чёлкой над библейским профилем, и сердце его впервые, пожалуй, в жизни обожгла нежность.

И тогда он отвалился от осклизлой стены траншеи, легко и свободно, в один прыжок оказался на поверхности и подпрыгивающей подходей двинулся снова туда, к острову света над вокзальной площадью. Там, на прежнем месте в камере хранения, с преображенной душой Влад весело изучал лица вокруг себя, стараясь разгадать их место и занятие на земле. Сейчас каждый из них был ему близок и интересен. Они кружили мимо него, старые, молодые, безличные и с характером, красивые, некрасивые, бойкие и недотепы, состоятельные и нищие, в формах и без таковых, кружили до тех пор, пока из их хоровода не выделилось одно — острое, морщинистое, под хмельком — и не замячило перед ним:

— Освободился?

— Было дело. — Вызывающее добродушие не покидало Влада. — Для газеты интересуетесь или так?

— Бойкий. — Лицо смешливо разгладилось, дряблый рот улыбочиво приоткрылся, обнажая ровный ряд крепких прокуренных зубов. — Не боишься?

— Чего?

— У нас на Кубани бойких иногородних не любят. Зараз новую статью намотают.

— А это не только у вас.

— И то верно. Куда путь держишь?

— Начальника подобрае ищу.

— Не попадался?

— Пока нет.

— Ждешь фортуны?

— Вот-вот должна быть.

— Угадал. Ко мне пойдешь?

— У меня, начальник, строгое ограничение.

— Плевать! Пойдешь?

— Куда?

— В колхоз. На кирпичный.

— Если без трепа. — Влад весь внутренне напрягся, изменчивая судьба уже манила его кое-какими посулами, но ее карточные домики рассыпались один за другим: слишком уж обременительные бумаги выдали ему на прощанье лагерные особысты. — Будь человеком, начальник...

Тот, вдруг как бы внезапно протрезвев, посмотрел на него печально и продолжительно, потом с силой положил ему ладонь на колено:

— Буду человеком, сынок. — И что-то сдвинулось в его мятой жести лице, что-то обмякло, словно занялся там, у него внутри, такой жар, который все в нем заново вылавил. — Я был человеком, когда тебя, сыне, еще и на свете не было. Тогда я своих колхозников здесь штабелями собственными руками складывал, такая голодуха была. А за то, что давал все же понемножку, первый срок схватил. А потом пошло, поехало... Не мне говорить, не тебе слушать. Короче, так: партсекретарствую я здесь недалеко, верст тридцать от города, станица Пластуновская, шесть колхозов, один мой, «Большевик» называется. Доберешься первым поездом, билет тебе, думаю так, ни к чему.

Да и нету у меня сейчас денег, я здесь на партголковщине был, пропился впуск. Доночуешь у нас на станции, а утром ко мне, Косивцова спросишь. Понял?

— Спасибо, гражданин начальник.

— Эх ты! — тяжело вздохнул тот и лицо его снова приняло прежнее остро жестяное выражение. — Ладно, пойду. Здесь у меня буфетчик знакомый, опохмелит... До завтра.

Хоровод лиц вновь вобрал его, и Влад еле преодолел в себе страстное желание потянуться за ним, чтобы не растерять тут же вместе с его исчезновением того Волшебства Людской Встречи, какой одарил Владову душу этот человек.

Влад действительно двинул первым же пригородным. Стоя в тамбуре отходящего поезда, он глядел, как за дождевыми стеклами расплывались последние городские огни, душа его была полна новых надежд и радужных упований, но где-то там, в самой глубине он все же ощущал сладкую жуть потери. Чего? Кого?

Только потом, спустя много лет он поймет, что такие потери бесконечны, но они обогащают сердце...

Не забывай меня, Ляля!

17

Кто мы? Что мы? Откуда пришли и куда уйдем? Или мы и вправду только «отшельники в мире» и «ничего ему не дали, ничего не взяли у него, не приобщили ни одной идеи к массе идей человечества, ничем не посодействовали совершенствованию человеческого разума и исказили все, что сообщало нам это совершенствование?»*

* П. Чаадаев. Из писем.

Когда там, на Суде Времени, нас спросят, зачем мы жили и какую память оставили по себе, что мы ответим? Как веками заливали собственную землю реками крови и слез, как безжалостно давили слабых и рабски заискивали перед сильными, как множество раз ходили на поводу у пришедших самозванцев и мечтателей с большой дороги? Или поведаем о том, сколько лжи и клятвопреступлений отягощают нам сердце, какой бездной явных и тайных грехов запятнали мы душу, каким множеством зол затмили свой разум?

Наверное, мы будем молчать. Молчать от стыда и страха, от горечи и раскаянья. И, может быть, тогда, среди всеобщего молчанья вперед выступит один из нас — тощий сероглазый мальчик в нанковой робе и чунях, простеленных соломой, на босу ногу, с прелыми валенками под мышкой. Выступит и скажет:

— Позволь мне ответить, Всевышний?

Умолкнут серебряные трубы, онемеют хоралы, чуткая тишь воцарится вокруг и бесстрастный голос милостиво вознесется над ним:

— Говори.

— Прости нас, — молвит мальчик. — И отпусти во имя Своего Сына. Если же Тебе мало того, что с нами было, то позволь мне взять их грехи на себя и ответить за все одному.

— А про то знаешь, что там — впереди?

— Знаю.

— Не боишься?

— Боялся бы, не просил.

— Смотри какой! Иди...

И мальчик молча двинется в темь, которая разверзнется перед ним. И утлые чуни его, простеленные прошлогодней соломой, отметят предназначенный ему путь цепочкой мокрых следов. И тощее, еще со следами детского рахита, тело под-

ростка засветится сквозь прорехи нанковой робы в аспидной тишине Забытья и Вечности.

Прелые валенки свои он откажет тем, кто останется, тем, кто будет прощен, им еще идти и идти, а в пути все может пригодиться.

Но, кто знает, вдруг что-то дрогнет у Того — Там, позади, и Он, проникаясь Сыновней мукой, возопиет ему вслед:

— Остановись! Останови-и-и-ись, парень!

Кто знает, как это будет и когда, но бесценный это дар человеку свыше — Надежда...

Чужбина, чужбина, ты уже гредишься мне, и сердце мое, теряя тлеющее оперенье, падает, падает, падает в пустоту!

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

1

Поминальная книжка: «О здравии: Марии, Екатерины, Алексея, Ирины, Юрия. За упокой: Феодосии, Савелия, Акулины, Алексея-воина, Дмитрия-воина, Анны, Михаила, Нины-младенца, Леонтия-младенца, Анны, Георгия, Александры-младенца, Варвары, Марии, Ольги, Тихона, Аксиньи, Марфы, Лаврентия, Николая, Василия, Ивана, Константина-воина, Сергея-воина, Любови, Александра-воина».

Извещение: «Ваш муж Самсонов Алексей Михайлович, уроженец Тульской области, Узловского района, деревни Сыгчевки, находясь на фронте, пропал без вести в феврале 1942 года. Настоящее извещение является документом для возбуждения ходатайства о пенсии. Военный комиссар, подполковник Фокин».

Нет, он ничего не имеет против этой версии, дорогой подполковник Фокин, тем более, что и таковая давала, по Вашему собственному заверению, право на пенсию, ту самую пенсию, от которой не умирали с голоду лишь от того, что ее тратили целиком на спички, но в действительности же, и тому есть живые свидетели, Самсонов Алексей Михайлович был убит в самом начале войны, в окружении под Сухиничи, брошенный в числе других своими командирами на произвол судьбы. Боже упаси, его сыну сейчас не до сведения счетов, он отмечает этот факт только в порядке установления объективной истины!

Свидетельство о смерти: «Гражданка Самсонова Федосья Савельевна, умерла 24 октября 1956 года. Причина смерти: сдавление грудной клетки, о чем в книге записей актов гражданского состояния произведена соответствующая запись за номером 1627. Место смерти: Москва, Московской области, РСФСР. Место регистрации: Сокольническое бюро ЗАГС города Москвы. Заведующий бюро записей актов гражданского состояния. Подпись неразборчива».

О, сколько тайны кроется зачастую в изящной обтекаемости неразборчиво подписанных формулировок! «Сдавление грудной клетки» куда благопристойнее, чем «под колесами поезда», но было ли Самсоновой Федосье Савельевне от этого легче, неизвестно. Вот такие дела!

Влад листал этот долгий мартиролог несостоявшихся жизней и несбывшихся надежд, а сердцем переносился туда, к той, что еще цветет на земле, веточке своей фамилии: «Как вы там, дорогие мои, как вам живется-можетя и не очень ли горек хлеб дальней чужбины?»

Он отчетливо видел их всех и каждого в отдельности, беседовал то с одним, то с другим и получал ответы, но ощущение пропасти, разверзшейся между ними, все же не оставляло его, грозя им привычкой и забвением. «Нет, нет, никогда! — мысленно протестовал Влад. — Ни за что!» Но что-то, какой-то червь в самом сокровенном тайнике души его подтачивал этот протест: «Да, да, да!»

«Если только можешь, авва Отче, чашу эту мимо пронеси!»

Кирпичный завод: продолговатая, крытая соломой хата над крохотным озерцом, короткий ежик низко срезанного камыша поверх ледяной глади, два черепичных навеса печей с топками под высоким берегом, а крутом — степь, степь, степь в редких пятнах хуторов и станиц. По вечерам, когда на ближних выселках зажигались огоньки, а гулкий простор становился чутким, как басовая струна, сердце вдруг обжигала сладкая жуть давно минувшего. Казалось, где-то в степи, не разбирая дороги, скачет сейчас донской есаул с кличем мятежа на обветренных губах и концы его башлыка выются за ним, наподобие крыльев. Пронеси, Господи! И каждый огонек в наступающей тьме мог гореть именно для него, суля ему тепло и укрытие. И любой звук среди тишины — гудок паровоза вдали, собачий лай, зов птицы — мог быть условным сигналом в его пути. И всякая звезда — заветным ориентиром. Скакал казак через долину!

На заводе Влад застал еще четверых искателей счастья, поклонников бродяжьих малин, апологетов дальних странствий. Ленинградец из бежавших «реушников»* Витек Еремин — моторный пацан лет семнадцати с белыми зрачками заядлого онаниста; Левко Савченко — сонный мальч, блинообразный лик в россыпи крупных веснушек, почти профессиональный летун от сохи; приклатненное дитя «бессрочек» — Вовчик, по кличке «Дыня», и старик-молчун Петрович в свалявшейся бороде чуть не до самых глаз, оловянный крестик на бечевке в разрезе исподней, предельной древ-

* От сокращенного Р. У. — ремесленное училище.

ности рубахи. Вот компания какая. Бойцы под бурею ревущей. Друзья мои, прекрасен наш союз!

Единственная здесь хата делилась на две половины, в одной из которых обитали они, в другой — мастер Фрол Парфеньч со своей, необъятных размеров супругой Аксиньей, исправляющей по совместительству должность заводской стряпухи.

— На метехви* уйду, нет моей моченьки, — плаксиво жаловалась она, устав от прожорливости своих едоков и гремучей черноты глаза ее мученически увлажнились, — или на сетехви**. Хиба ж на вас настряпаешь, як гуски, скільки ни подай, усе склюють.

Впрочем, аппетит подопечных не мешал ей безбожно обкрадывать их. Каждый раз, отправляясь под воскресенье к родным на хутор, она до отказа загружала двухместную бедарку*** отпущенной для них со склада провизией. Даже мастер, с трудом размещаясь среди бидонов и сумок, смущенно багровел скуластым лицом, поварчивал:

— Хватит, хватит, мать, не в голодный край собралась. — Он был иногородним****, а потому супругу свою, урожденную казачку, ценил и слегка побаивался. — Садись уж...

Изголодавшись в долгой дороге, Влад действительно ел за троих, нисколько не озабоченный душевным равновесием жуликоватой поварихи. С каждым новым утром он чувствовал, как все ошутимей в нем расправляются мускулы, крепнут кости, упруго натягивается кожа. Впервые за много дней он снова осознал, что ему двадцать лет, что

* МТФ — молочно-товарная ферма.

** СТФ — свино-товарная ферма.

*** Бедарка — двухколесная повозка.

**** Иногородний — не коренной житель казачьего края.

жизнь впереди и что его бой за место под солнцем только начинается. Ожившая плоть ревниво требовала соответствующего внешнего оформления. Почти все свободное время Влад чинил, выстигивал, штопал свою ветхую одежку, стараясь хоть немного приспособить ее к обстоятельствам и предстоящей зиме. Предметом особой заботы сделались для него выданные ему на заводе чуни*. При всей их громоздкости, они оказались идеальной обувкой среди непролазной кубанской грязи. Влад ежедневно менял в них соломенную подстилку, сочинил к ним глухие застёжки, ни на минуту не расставаясь с запасной дратвой. Прямо-таки не чуни, а сапоги-сороходы из сказок братьев Grimm!

Кирпич в печных ямах был обожжен еще летом, так что его оставалось лишь достать оттуда, вывезти к обочине дороги и сложить в пирамиды. С утра они делились по двое и не спеша брались за дело. Петрович, как пятый лишний, пробавлялся на погрузке подвод. Темп работы рос медленно, и все же, по обыкновению к обеду, постепенно заваривалась азартная гонка: кто — больше. Втягиваясь в нее — эту гонку, — Влад самозабвенно отключался от внешнего мира. Сквозь соленый пот, застилавший ему глаза, он видел перед собой только узкую ленту настила, в конце которого маячила цель — красное пятно кирпичной горки. Сила распирала его изнутри, тачка под руками утяжелялась день ото дня: сорок, шестьдесят, восемьдесят, сто и, наконец, сто двадцать штук! За раз, в одну езду! Арифметика для первоклассников: сто двадцать на два с половиной — триста килограммов и ни осмьюшкой меньше! Только звенели ушные перепонки да скрипучая пыль оседала к концу смены на губах и ресницах.

* Чуни — обувь из автомобильных покрышек.

Верх выбирали в очередь, каждый со своей тачкой, но когда печи опустели наполовину, пришлось, волей-неволей, снова делиться, теперь уже по одному: кто — на подачу, кто — на вывозку. Работа, слегка усложнившись, вошла в размеренную колею, а ближе к концу и вообще поплелась через пень-колоду. Мастер, изредка заглядывая к ним, хмыкал, вздыхал, посмеивался:

— Укатали сивку крутые горки? — Бесовский глаз его вызывающе щурился. — Это вам не по вокзалам блох давить. Эх вы, хлебеды, горе-рабочники, мать вашу так!..

Длинными осенними вечерами они резались в карты, а если было воскресенье, бражничали, обменивая краденую с ближнего поля кукурузу на самогон у хуторских, благо мастер вместе со своей половиной в эти дни улетучивался с завода. Закуска бегала, как говорится, прямо под ногами: тот разводил кроликов в естественных условиях, счету им не знал, а потому оставалось лишь выманить одного из них на свет Божий, чтобы достойно завершить очередное пиршество.

У молодого пьянства есть великое преимущество: человек просыпается на другое утро, словно новорожденный, с хрустально звенящей головой и чистыми помыслами, готовый, что называется, петь и смеяться, как дети. Но грозный зверь похмелья, дремлющий в нем, когда-нибудь все же проснется, расправит когти и возьмет свое, протаскив его по всем девяти кругам адской горячки. Сколько раз потом, после мертвых запоев, низвергаясь в ложные бездны и возносясь на обманчивые высоты, будет кружить он по запутанным лабиринтам делирия, прежде чем окажется у той незримой черты, за которой уже нет спасения! Кто, какая сила удержит его у этой черты и повернет обратно, ни-

кому не ведомо, но чудо случится, обязательно случится! Человек должен, обязан повернуть!

Пили, как правило, по-черному, одну за другой, лишь бы поскорее оглушить себя, забыться, дать себе полную волю. Когда же явь, словно взбаламученная брошенным в нее камнем, раскальвалась, принимаясь рябить и дробиться перед глазами, восторг собственного «я», переполнив душу, бурно выплескивался наружу. Расступись, дрянь, дерьмо идет!

Первым срывался с места Витек.

— Из-е-ех! — рассыпался он мелким бесом вокруг стола. — «На горе стоит ишак и ушами машет. — Красноречивая пауза заполнялась виртуозным плясом. — Его семеро дерут, а он чечетку пляшет». Давай, братва!

И братва давала. В ход пускались миски и ложки, ножи и расчески, ладони и подошвы: оркестр не ахти слаженный, зато звучный. Плясал Витек, надо сказать, мастерски. Под аккомпанемент подручных инструментов он рассыпался по земляному полу ритмической дробью, в полузабытьи опуская веки:

— «Ой капут, капут, капут, теперь по-новому дерут, задом кверху, мордой вниз и родится кому-нис...» Держите, братцы, кончаю, моча не держится!..

«В Игарке бы мне такого, — хмелея, умилялся Влад, — дали бы мы с ним шороху на концертах!»

Когда, устав от крика и хохота, они разморенно затихали, на них вдруг наваливалась безотчетная тоска, им становилось жалко себя до слез, горькие спазмы сжимали горло и это их новое состояние само подсказывало выход. «Как в саду при долине...» — затягивал один из них. Остальные тут же и с охотой подхватывали: «Громко пел соловей, а я, мальчик, на чужбине, позабыт средь

людей». Каждый прекрасно сознавал, что не «забыт» он и не «позаброшен», а разыскивается родней через милицию по всему Союзу, что сиротство его добровольное и что «могилка» его «на чужбине» дело весьма туманного будущего, но сентиментальное колдовство песни уже пленило их, исторгая из них сладкую горечь пьяных слез. Горит душа, налей!

Мастер, видно, о многом догадывался, но молчал, предпочитая уголовную взаимозависимость хорошей ссоре, которая могла обойтись им всем гораздо дороже, чем худой мир, тем более, что кролям своим он давно потерял счет, а до колхозной кукурузы ему вообще не было никакого дела. Лишь порою язвил завистливо:

— От рвань посадочная, куда только милиция смотрит, скоро все добро артельное в распыл пустют, нет на вас удавки, мать вашу так!

Но карты и пьянки вскоре тоже приелись. Душа, однажды разнуздавшись, жаждала большего размаха и безобразия отчаяннее. Влад по прошлому опыту знал, что предел, за которым в таких случаях начинается всеобщее озверение, близок, а тогда, по неумолимому закону круговой поруки, он будет втянут в любую затеянную здесь авантюру. Перед ним вновь замаячил призрак лагерной зоны. Необходимо было что-то срочно предпринимать. Опасность делает человека изобретательным. Вот где сгодился ему давний его навык детдомовского и тюремного «романиста». Память Влада хранила десятки многосерийных «романов», на ходу сочиненных и тут же рассказанных им в тоскливые вечера камерных бдений. Освежить их в памяти и, стряхнув с них пыль, вновь ввести в дело, не составляло труда. И Влад пустился во все тяжкие. Выноси, Господи!

О, эти «романы» ночной лагерной выпечки! Как крут и извилист их замысловатый сюжет, как тонки и подробны психологические коллизии, как мощны и выпуклы характеры! Яд и кинжал, вампиры и принцы, миледи и карлики, переходя по воле рассказчика из серии в серию, участвовали в головокружительной погоне за славой, богатством, любовью. Гибель сменялась чудесными воскресениями, благородство торжествовало над вероломством, страсть преодолевала преграды. Чего стоили одни только имена! Принцесса Марго, граф де Полиньяк, главарь банды Забелло и ведьма Зара, трактирщик Чарли, сколько их было, упомянуть ли теперь!

Влад ликовал. Наспех отужинав, братва спешила поудобнее устроиться на лежаках, чтобы выслушать очередное продолжение дарового дурмана на сон грядущий. Влад старался во всю, заливался сиреной, придумывая для них все новые и новые перипетии, с самыми фантастическими окончаниями. Более благодарного слушателя ему уже никогда не встретить — этот слушатель требовал только одного и в этом требовании оставался непреклонен: конец должен был быть счастливым! И автор не заставлял себя просить, его развязкам позавидовал бы сам достопочтенный Андерсен. Прощу, господа, хеппи энд, поцелуй в диафрагму!

Влад и сам, незаметно для себя, втянулся в эту игру. Иллюзорный мир, будто воронка, втягивал его в свою расслабляющую западню, слова, как мыльные пузыри, кружились в темноте, сообщая ей обманчивую атмосферу неги и праздника. Но однажды, проснувшись утром, он оглянулся вокруг себя, увидел грязноватую комнату, засиженный мухами плакат на торцовой стене с рекламным набором из картин Брюллова, спящих под прелой ветошью ребят, кусок голой степи за окошком и

его вдруг сладостно обожгло: «А почему не об этом, почему? Разве это никому не интересно?» Инстинкт самосохранения еще протестовал в нем, лукаво подсказывая ему спасительные оправдания, вроде того, что это, мол, исключительно и нетипично, но искра сомнения уже тронула его готовую взорваться душу и священный пепел Клааса постучал в его сердце: «Да, да, об этом, только об этом, все остальное — ложь!»

Все, что хранилось сейчас у него в тюфяке, он помнил наизусть, от строчки до строчки, во множестве вариантов, но даже лучшее из этого Влад не решился бы теперь повторить. По сравнению с тем, что он вдруг прозрел в окружающем, его вирши о таежных романтиках и борьбе за мир показались ему чудовищным надругательством над самой сутью вещей. Просиживать ночи напролет у керосиновой лампы, с карандашным огрызком в руке, среди храпа и забытья нищей братии, после лагерей и случайных заимок, чтобы только выгудить в море бушующего вокруг языка дохлую рыбешку полых слов, стертых понятий, взятых напрокат имен! Экое извращение ума, ей-Богу!

К его теперешнему несчастью, состояние это длилось недолго. Наступал день, а с ним и утешительное самооправдание: «Не я первый, не я — последний, так было, так будет, поумнее тебя молчат, значит, надо». Благосклонное одобрение окружающих лишь помогало ему еще более укрепиться в этом.

— Ничтяк, — авторитетно, словно припечатывая, оценил Витек, выслушав его вдохновенные завывания. — Как в газете, точь-в-точь, у тебя, Владька, не голова, а совет министров.

Левко умильно — хохлацкая сентиментальность сказалась и тут — поддакнул:

— Складно, дюже складно! У нас в селе тоже один сочиняе и тоже дюже складно, так его даже в репродуктор передавали.

— Чего толковать, — к чести Вовчика, мысль его всегда функционировала целенаправленно, — вези в Краснодар, вагон денег огребешь, гульнем по буфету!

Сколько раз впоследствии услышит он эти же речи, лишь слегка закамouflированные многозначительной терминологией и скольким, далеко не бездарным, ломают они хребет, послужив оправданием для предательств и клятвопреступлений!

Петрович отмалчивался, тяжело, с надсадным криканием ворочаясь в своем углу: непонятно, то ли осуждает греховную затею, то ли примеривается к будущей выпивке?

Глас народа — глас Божий. Петрович не в счет, блажной старик и вообще не все дома! Брошенная вскользь идея поэтического налета на краевой центр стала прорастать в душе Влада и вскоре воплотилась в окончательную решимость: была не была!

Собирали Влада всем кагалом, тщательнее, чем примадонну перед премьерой, по принципу: с миру по нитке, нищему — веревка. Витек дал ему свою, еще вполне сносную «реушную» шинель. Левко не пожалел целых, и в этом роде единственных на заводе штанов, «Дыня» выделил из личного и более чем скудного гардероба довольно прочные ботинки. Даже старик не поспешил, поколдовал над своими записками, протянул замусоленную трещину:

— В городе без копейки куда сунешься, бери, разбогатеешь, с походом отдашь, где наше не пропало...

Смотри, не запамятуй этот день, Самсонов: второе декабря тысяча девятьсот пятьдесят первого года. Туманное утро над укрощенной морозом степью. Азартный холодок под сердцем и целая судьба впереди. Карфаген будет разрушен!

3

Сухой холод гнал по асфальту косяки каленого листопада. Печной дым стелился над крышами, окутывая город плавающей синевой. Сквозь кружевную вязь облетевших платанов небо гляделось низко и сиро. Зима властно одолевала осеннее упрямство, выметая изо всех углов его следы и останки.

Добравшись до Краснодара лишь минувшим вечером, Влад кое-как промаялся ночь в зале ожидания на вокзале, а едва забрежжило, пустился петлять по городу. Тот был пуст и опрятен, словно выгородка перед съемкой. Добротные особнячки цеплялись друг к другу глухими заборами, за которыми бесшумно осыпались потомственные сады. Жили здесь, как видно, основательно, устраивались всерьез и надолго, передавая нажитое из поколения в поколение. Во всем — резных ставнях, выложенных кирпичом дорожках, массивных ручках калиток — сквозило уверенное ощущение прочности и довольства.

Круги Влада, постепенно сужаясь, вывели его к городскому средоточию — шумному чреву Зеленого рынка. В отличие от скудных торжищ центральной России, местный базар поражал воображение новичка богатством выбора и щедростью красок. Но главное — чрезмерность. Чрезмерность во всем и повсюду. Если арбузы — то непременно горой, если виноград — то корзинами, если птица

или рыба — то сплошным навалом. Изобилие здесь являло себя броско, даже кичливо, как бы напоказ. Есть и ситец, и парча!

Потолкавшись в знакомом водовороте, в привычной среде купли-продажи, азарта и взаимных расчетов, Влад, ближе к девяти часам, потянулся на выход: где-то там, в сквозной перспективе прилегающей к рынку улицы его ожидали иные хлопоты и другой интерес.

Редакции краевых газет располагались в мрачном двухэтажном особняке на Красноармейской, с помещениями по номенклатурному старшинству: молодежная на первом, партийная — на втором этаже. Влад толкнул ближайшую от порога дверь и очутился в большой квадратной комнате, густо уставленной письменными столами, за одним из которых, около окна, он разглядел склонившегося над листом ватмана горбуна. Горбун, даже не повернув головы в сторону вошедшего, что-то размашисто вычерчивал перед собой.

— Здравсте, — внушительно, стараясь не уронить достоинства, кашлянул Влад, — мне бы кого-нибудь из отдела литературы и искусства.

Тот мгновенно скосил на него острый глаз, и по залитой зимней тусклостью комнате сразу заискрились, запрыгали, зацвели озорные, с веселым вызовом зайчики:

— Стишки, наверное? Сразу вижу — стишки. Садитесь, в ногах правды нет. Сейчас Гогин придет, посмотрит. — Он повернулся к гостю всем лицом, едко осклабился. — Ба-альшой знаток! — Узкий, мелкой резьбы, с хищным носом лик его смешливо вибрировал. — Ку-уда Белинскому!

Есьман, Есьман, теперь уже незабвенный Боря! Знать бы тогда, сколько вам еще пить вместе, сколько жить под одной крышей, в твоей крохотной комнатенке с оконным фонарем в потолке, на

улице Орджоникидзе, сколько разговоров разговаривать! У вас впереди два года встреч и разлук, смеха и слез, ссор и примирений, а затем твоя смерть, когда, выйдя из пивной, ты рухнешь вниз лицом на асфальт с заглохшим сердцем и немым криком в опаленных губах. До скорого, Боря, до скорого!..

Влад хотел было ответить горбуну, поддержать беседу, а, может быть, и завязать тактический, в целях предварительной разведки разговор, но первое же слово застряло у него в горле. Хлопнула дверь, он обернулся и не узнал, нет — для того, чтобы разглядеть ее понадобилось время, — всем существом своим ощутил: она! Матовое лицо под смоляной челкой, резкий, снизу вверх и сразу в сторону, взмах головы, неистребимо запечатлелись в нем с того дождливого дня на вокзале. Да, да, Ляля, из песни слова не выкинешь!

Дальнейшее происходило будто во сне. Женщина выходила в соседнюю комнату, возвращалась, раскладывала у себя на столе какие-то бумаги, рассеянно поглядывала сквозь Влада и снова куда-то скрывалась. Его же все это время бил мелкий озноб и жаркое марево стелилось перед глазами: «Кто она такая, что здесь делает, как зовут?»

Появился Гогин, вялый сыч в обсыпанной перхотью синей полувоенной паре, горбун свел их, после чего тот, проведя Влада в свой закуток в соседней комнате, копался в его стихах, хмыкал многозначительно, морщил брезгливо нос, отрывисто шепелявил:

— Ображности мало... Да, да, мало ображности... Жизнь плохо знаете, да... Работать над словом надо... Маяковского читайте, да... Пушкина... Это у нас не пойдет... Прожаижмов много... Несите што-нибудь еще. Будем считать. Приветик.

Из всего того, что тот городил, к Владу, в его

полуотключенное сознание пробился лишь приговор: не пойдет! Но этого оказалось достаточно, чтобы пол под ним накренился и поплыл. Сидя спиной к двери, он почему-то уверил себя, в эту минуту, что его провал, его позор, его поражение происходят у нее на глазах, в ее присутствии, и от этого готов был провалиться сейчас в тартарары, раствориться в воздухе, слиться, улечуться, не существовать вовсе. Идя мимо нее к выходу, он впервые в жизни поверил, что земля действительно может гореть под ногами. Вниз по ступенькам, вдоль улицы, мимо домов и заборов, сквозь декабрьский ветер его несло отчаянье, не давая ему остановиться или подумать. Не могу! Не могу! Не могу! Не хочу! Не хочу! Ничего не хочу! Оставьте, оставьте, оставьте!

Влад так и не смог отдать себе потом отчета, почему он все-таки остановился и перевел дух, когда в поле его зрения определилась обшарпанная табличка, венчавшая фронтоном неказистого крыльца: «Краснодарское краевое книжно-журнальное издательство». Рок, судьба, случай? Называйте как хотите, может быть и то, и другое, и третье, но то, что он, переведя дух, остановился именно перед нею, имело для него решающие последствия. Пан или пропал!

Поднявшись на второй этаж и миновав холодную галерею, он оказался перед настееж распахнутыми дверями, за которыми открывалось обширное помещение, подозрительно смахивающее на приспособленный под контору склад: окна в решетках изнутри, цементный пол, вытяжная труба по карнизу. Столы, сдвинутые впритык, один к одному, словно товар для отправки, лишь усугубляли это сходство. Здесь, судя по настольным атрибутам, размещалось все издательское поголовье: от директора до счетовода включительно.

Пожилая, похожая на гранд-даму со старинной фотографии, машинистка в пенсне, восседавшая почти вплотную к двери, даже не дослушав посетителя, надменно кивнула куда-то в глубь комнаты:

— Туда пожалте.

Проследив за ее взглядом, Влад встретился глазами с крупногабаритным толстяком, в упор смотревшим на него из-за крайнего справа в дальнем углу стола. Попыхивая трубочкой, толстяк заганно и виновато улыбался ему навстречу, как бы заранее просил извинения за возможный отказ.

— Стихи у меня. — Влад опустил на молча предложенный стул. — Может, посмотрите?

— Затем и сидим здесь, дорогой, затем и сидим. — Толстяк отодвинул от себя объемистую рукопись, доверительно наклоняясь к нему. — Давайте ваши стихи, дорогой.

— Понимаете, — потянувшись в карман, он только тут обнаружил, что сгоряча забыл свои листочки там, в молодежной газете, — я, кажется... Потерял... Нет, забыл. — И сразу же, как в омут головой, все равно нехорошо, двум смертям не бывать! — Можно, я вслух?

— Что вы! Что вы! — Толстяк протестующе загородился от него пухлой ладонью. — Я на слух не воспринимаю, дорогой. Литература, понимаете, дело интимное, она непосредственного глаза требует. Заходите в следующий раз...

Но от Влада теперь не так-то легко было отделаться. Сломая голову, он неся к пропасти и никакие разумные доводы уже не могли его остановить.

— Я одно или два только, — он поклялся себе стоять на смерть, — разрешите!

— Ну, разве что одно-два, — обреченно вздохнул тот, сдаваясь перед его натиском. — Валяйте.

Влад и сейчас, без запинки отбарабанил бы эту дребедень, да вспоминать стыдно. Но тогда, в то зимнее утро, он, словно токующий глухарь, упивался каждой своей строчкой, самозабвенно виршеплетствуя под перекрестным обстрелом чуть не двух десятков устремленных на него глаз. «Лира», разумеется, рифмовалась у него с «миром», «бою» со «своею», «верьте», конечно же, с «бессмертьем», а все вместе взятое посвящалось Назьму Хикмету, временному баловню капризной судьбы, кумиру вдовствующих редакторш и начинающих лысеть бардов. Влад пер напралом, сжигая мосты позади себя, и призрак окончательного краха придавал ему смелости. Смелости бегства.

Втайне Влад надеялся на успех, верил в удачу — кто, пускаясь во все тяжкие, не имеет надежды в запасе! — но оборота, какой последовал сразу после его чтения, все же не ожидал: ему аплодировали! Да, да, умильно улыбаясь, канцелярская челядь негромко, но дружно сдвигала вокруг него ладошки. Это была победа! Его первая победа на новом и таком заманчивом поприще. Влад готов был теперь благословлять даже злополучного Гогина из молодежной газеты, который, сам того не ведая, открыл перед ним дорогу к этому триумфу. О, если бы еще она видела его в эту минуту, о большем он не смел бы и мечтать!

— Прекрасно, дорогой, прекрасно! — Расчувствовавшись, толстяк даже вышел из-за стола, протянул ему руку. — Василий Попов, прозаик, но по долгу службы, так сказать, соприкасаюсь с поэзией. Садитесь на мое место, берите бумагу, записывайте все, что сейчас прочли, постараемся напечатать в ближайшем альманахе... Прошу вас!

Влад буквально купался в улыбках и восхищенном шепоте. Под их головокружительное сопровождение он переписывал стих, благодарно

прощался, шел к выходу, и даже на улице они не оставляли его, трепеща в нем напоподобие лучезарных крылышек. Чому я не сокил!

Мораль для начинающего: стучись во все двери подряд, одна да откроется!..

На вокзал он и впрямь летел, не чуя под собой ног. Город теперь не казался ему таким хмурым и скрытным, наоборот, приветливость построек, изгородей, деревьев за ними теперь бросалась в глаза. Синий дымок над опрятными улицами отдавал благостью и уютом, каленые листья на асфальте аппетитно похрустывали, перспектива впереди переливалась всеми цветами радуги. Судьба играет человеком!

Вокзал уже выявился в истоке улицы, когда на углу, перед винным погребом, дорогу ему заступил знакомый горбун из редакции:

— Ба, ба, ба, кого я вижу! — Тот был уже заметно навеселе, сотрясался от благодушного смеха, держась за рукав высокого, черный чуб над разбойно красивым лицом, парня, на костылях, с припиленной к поясу правой штаниной. — На щите или под щитом? У нас, я слышал, не прошло, а что по другим закромам? Известная воодушевленность чувствуется, значит, где-то клюнуло? Где? У нас наверху? Или в издательстве? Ладно, об этом потом. Знакомьтесь, финансовый бог издательства — Сережа, любитель дармовщины и душевного разговора, прошу учесть на будущее. А это, Сережа, еще одна твоя жертва... Как, простите, вас величать и сколько у вас наличности? Я — Борис Есьман, художник.

После короткого знакомства Влад достал из заначки затасканную трешницу Петровича, Сережа мрачно присоединил к этому такой же рубль, Есьман дополнил их своей десяткой, деловито заключив:

— По стакану на брата и даже с закусью. За мной, мушкетеры, нас ждет кабатчик Джон!

В перерывах между тостами Влад поведал собутыльникам свою издательскую эпопею, которая вызвала у них неподдельный энтузиазм, смешанный с восхищением. По этому случаю Есьман, пошушукавшись о чем-то с буфетчиком, выставил еще бутылку и произнес соответствующую моменту речь:

— Уважаемые дамы и господа! Сегодня, второго декабря тысяча девятьсот пятьдесят первого года в русской словесности загорелась еще одна восходящая звезда. Великий поэт Влад Самсонов вышел с кистенем на стезю книгопечатанья! Позвольте же мне поднять этот тост... И так далее, и тому подобное. — Он залпом опрокинул стакан и зашелся, замотал кудлатой головой, даваясь от распиравшего его смеха. — Ай да Вася, ай да Попов, сделает Васенька таперичи на этом политический бизнес. Еще бы! Нашел, можно сказать, взлелеял, выпестовал стихотворца из народа, колхозного Гомера наших дней без отрыва от производства...

В результате, как это всегда в таких случаях бывает, они ухитрились напиться: походя ссорились, заключали мировую, вновь ссорились, но, в конце концов, поклялись друг другу в дружбе до гроба. Лишь поздно вечером Влад в шумном сопровождении новых друзей добрался до вокзала, где Есьман слезно молил проводника с пригородного не потерять по дороге его лучшего друга, совесть нации, сокровище мировой литературы.

Растроганно-заплаканное лицо горбуна маячило в сивушных снах Влада до самой Пластуновской.

Жизнь на заводе шла своим чередом. После успешной поездки в Краснодар авторитет Влада здесь заметно укрепился, братва смотрела ему в рот, в перманентной жажде приказа или откровения, готовая по первому его знаку броситься в огонь и в воду. Через него ребята как бы вдруг ощутили свою сопричастность с миром, от которого до сих пор были, как им казалось, несправедливо отторгнуты. Уверенность в том, что каждый из них тоже не лыком шит и, когда понадобится, сумеет отвоевать себе место под солнцем, преобразила их: они осмелели, сделались четче обликом, раскованнее в движениях. Еще не вечер, мальчишки, еще не вечер!

— Эх, — мечтательно потягивался Витек, — с моими-то ногами мне тоже пора в краснознаменном ансамбле бацать, а я тут с вами загораю да со старухой путаюсь, заездила совсем...

Да, эта почти противоестественная связь ленинградца с женой мастера могла озадачить кого угодно. Никто даже не заметил, как и когда успела сорокалетняя баба приспособить его, чуть не мальчишку, к своим надобностям. Влад не мог без улыбки представить их рядом: мужеподобная казачка с жестким пухом над верхней губой, и малорослое дитя блокады, недомерок Петроградской стороны, в прыщках и цыпках. Тот явно тяготился ею, но отказаться от ее услуг было выше его сил: соблазн дополнительного харча оказывался сильнее его к ней неприязни. Аксиныя же не сводила с него глаз, старалась угодить ему, подкармливая тайком от заводских и мужа. Кстати, мастер, видно, о чем-то догадывался, но виду не подавал, и только стал все чаще появляться на заводе под изрядным хмельком.

Сколько бы это продолжалось, неизвестно, если бы после очередной субботней пьянки Витек не исчез, прихватив с собой деньги мастера, заначку в тысячу двести рублей. Дело для заводских обитателей запахло керосином: казаки в таких случаях скоры на расправу. На общем совете решено было смотаться на хутор за мастером, чем и обеспечить себе алиби. Снарядили Левко и уже через час мастерава бедарка была на заводе.

— Ну, соколики, — от того густо несло самогоном, — значит, где жрете, там и гадите? Вы мне его сами из-под земли найдете, а нет, пеняйте на себя. Делитесь по двое и айда, кто на станцию в Пластуновскую, а кто в Динскую. Далеко не ушел, где-нибудь там и ошивается. По коням! С пустыми руками вам здесь делать нечего.

Морозная ночь над степью светилась редкими огоньками хуторов и ферм. Сидя с мастером в его бедарке, Влад уже чувствовал, знал, что в эту ночь должно случиться что-то непостижимо страшное и во всем этом ему придется, если не участвовать, то быть тому свидетелем. Жуть предстоящего мелко колотила его, и он не выдержал, сказал:

— Отпусти его, Парфеньч, мальчишка ведь совсем. Все под Богом ходим, с кем не бывает?

— Бог и решит. — Голос у того сорвался. — Мне не денег жалко, парень, у меня к нему другие счета.

— Не надо, Парфеньч, живая душа, какая ни есть, что было, то было, душу загубить из-за этого — дороговато будет.

— Откуда ты такой жалостливый, парень?

— Тебе бы мою жизнь, Парфеньч, стал бы и ты подбрее.

— А откуда тебе моя жизнь известная, может, мы с тобой в лагерях у немцев вместе были или, может, потом на Кольме вдвоем лес валили да по

гнилым баракам вшей давили? Вот так-то оно, парень, всякая душа потемки и моя — тоже.

— Извини, мастер, только все равно жалко мальчишку. Сопли под носом.

— Ладно, — хмуро отозвался тот, — там видно будет... Он у меня нынче другой соплей умоется. Красной...

Ночь неслась им навстречу, сухая, морозная, и, проникаясь ее безмерным простором, Влад вздохнул про себя: «И чего нам не жить по-людски, места-то всем хватит, за что грыземся?» И еще он подумал: «Сколько людей по земле ходит и почти за каждым — загадка да еще какая!»

Они сходу проскочили станицу, вдали показались огни станции, и у Влада снова заньгло сердце. Страх перед неизбежным словно уменьшал его в размерах. «Хоть бы его там не оказалось, — взмолился Влад про себя, — хоть бы он догадался пойти в Динскую! Там все-таки свои, поколотили бы для порядка и отпустили».

На станции мастер резко осадил, привязал лошадь к коновязи и все так же хмуро сказал:

— Ладно, сиди здесь, сердобольный. Развелось вас, малокольных, хоть огороды городи, я сам пошукаю стервеца.

Влад так надеялся, так рассчитывал, что Витькá там не окажется, только последний пижон мог пойти сюда после такой кражи, но тот, видно, понадеялся, что мастер до утра не вернется, а ребята его не хватятся, а если и хватятся, то не выдают. Но для них такое благородство было смерти подобно: станичники изуродовали бы их всех, а то перебили бы. У ребят просто не было другого выхода.

Сейчас, сидя в бедарке, Влад чутко прислушивался к малейшему шуму на вокзале: к стуку двери, редким голосам, звучанию зуммера в дежурке.

Он уже начал было успокаиваться, когда темнота оборвалась пронзительным мальчишеским криком. Витек кричал почти нечеловечески. Похоже было, его выволокли в ночь и здесь же, рядом с лесополосой, добивали. Мастер неожиданно вынырнул из темноты и, вскакивая на сиденье, хрипло выдохнул:

— Гони! — и уже по пути добавил: — Я его не трогал, там его казаки топчут. Мое дело сторона, я только деньги забрал.

Влад бросил вожжи:

— Я вернусь, мастер, век себе не прощу. — И прыгнул. — Не могу, Парфеньч, на мне тоже кровь будет.

— Дурак, они и тебя прикончат!

— Не могу, Парфеньч, пускай кончают, не могу.

— Будь ты проклят, малохольный, садись, со мной вернешься, без меня они тебе враз шею свернут. И откуда ты только дурной такой!

Когда они вернулись, кучка людей еще окружала Витька, но тот уже не стонал даже, а только икал. Мастер протиснулся сквозь мужиков, сказал тихо:

— Хватит, станичники, чего с него взять, пацан совсем.

Кто-то недовольно буркнул из темноты:

— Жалкуешь, москаль? Усех бы их на одном суку, москалей этих!

— Вы меня знаете, казаки, я с вами всю жизнь прожил, плохого от меня никто не видел. Отвели душу и будя. Мне теперь за него ответ держать. У меня на заводе отлежится.

— Эх ты, москаль, у вас, москалей, душа хлипкая. Забирай своего посадочника!

Вдвоем они сложили его хрупкое, словно без костей, тело и двинулись обратно, ведя лошадь на

поводу. После долгого и тяжелого молчания мастер сказал Владу:

— Не знаю, откуда народ вроде тебя берется, может, на таких и земля держится, а то бы давно поели друг дружку. Нечего тебе делать у меня на заводе, завтра с председателем поговорю, пускай тебя к стоящему делу приставит.

Остальную дорогу до самого завода они прошли молча. Ко всему, что произошло в эту ночь, им больше нечего было добавить.

5

Грязно-белая весна за окном заливала помещение тоскливым сумеречным светом. В школе трактористов, куда Влада определили по просьбе мастера, он выглядел белой вороной. Крепкие и добротнo одетые ребята посматривали на него искоса, сторонясь его и почти не разговаривая. Жил он в общежитии на свиноферме, где к нему тоже относились настороженно. Он считался в станице только терпимым, но нежелательным чужаком. Здесь не любили пришлых, особенно из России, заранее считая их врагами.

С утра до второй половины дня Влад выслушивал наставления косноязычного инструктора о карбюраторах, поршнях, маслопроводах. Инструктор этот тоже смотрел на него довольно косо, как на паршивую овцу в краснощеком стаде молодых станичников.

Весна в этом году выдалась сырая, со знобкими ветрами, и Владу в его убогой телогреечке было зябко даже в классе. Чуни теперь приходилось подшивать чуть не ежедневно, но они все равно ползли, отчего ноги у Влада никогда не просыхали. Он смотрел в окно, на сырую серость весны, и бу-

дущее его виделось ему предельно безотрадным. Инструктор бубнил что-то о гусеничной системе, а он в это время думал о том, что делать дальше, как и чем жить?

Именно в эту минуту и произошел в судьбе Влада тот самый перелом, после которого жизнь его устремилась по головокружительной спирали гонки за призраком, фата-морганой, миражом победы и признания. Влад вначале даже не понял, что же именно случилось, но предчувствие, эдакое дуновение события уже коснулось его сердца и душа в нем встрепенулась и потеплела. Рядом с окном остановилась новенькая «Победа», а через минуту в класс с шумом влетело трое. Первого из них в районе не знали разве что слепые: секретарь райкома Бережной. Двое других числились в округе среди головного десятка: председатель колхоза Сивак со своим партторгом, протежером Влада Косивцовым. Класс замер, а инструктор засучил ручками и ножками, заюлил глазами, изображая восторг и восхищение.

Все в Бережном — зеленая униформа «а ля Сталин», медальное лицо, хоть сейчас на монумент, грозный взор — выражало власть и привычку приказывать. Надменным оком он окинул помещение и отрывисто бросил:

— Кто Самсонов?

Влад встал, подавляя волнение и догадываясь, что секретарь райкома не посещает слушателей тракторных курсов за здорово живешь:

— Я...

Столько брезгливости и презрения Влад не испытывал на себе никогда — ни до, ни после. Затем Бережной, казалось, решив испепелить его взглядом, отрывисто, с тем же презрением, бросил:

— Писатель!.. А ну — за мной!

Влада усадили в машину, причем Косивцов тайком дружески ему подмигнул: не робей, мол!

Бережной скомандовал:

— В потребсоюз!

Подобострастность продавцов превосходила все меры услужливости. Они пожирали высокого гостя преданными глазами, готовые, казалось, на самое невозможное.

— Костюм, белье, рубашку, — цедил он сквозь зубы, глядя куда-то поверх их голов, — пальто, ботинки, а лучше сапоги. Счет на райком. — И, поворачиваясь к сопровождающим. — Теперь в баню!

В бане его драил сам директор, после чего Влада отвезли в фотографию, откуда — в милицию, где ему сменили просроченный паспорт. Потом, в отдельном кабинете местной чайной первый секретарь соблаговолил вступить с ним в разговор:

— Вот, Самсонов, район оказывает тебе большое доверие, отправляем тебя на краевое совещание писателей. Смотри, не подведи нас, не ударь там в грязь лицом. Вернешься, подыщем тебе работу на культурном фронте. А теперь ешь и дуй в райком, получай командировку. Команду я дал. Колхоз тебе тоже малость подкинет. Все, мне еще в МТС ехать. Вы тут без меня договорите. Пока...

И Бережной исчез так же стремительно, как и появился. Сивак вкратце объяснил Владу ситуацию. Пришла телеграмма из края, из Союза писателей с предписанием прислать на совещание молодого поэта-колхозника.

— Мы, знаешь, — заключил он, — долго голову на правлении ломали, кто же это такой может быть? Спасибо, мастер с кирпичного надоумил. Работенку мы уже тебе подыскали, нам заведующий в дом сельхозкультуры позарез нужен. Сорок

пять трудодней положим, жить и питаться будешь у нас в колхозной гостинице. А теперь иди собирайся, завтра начало...

Когда прощались, Косивцов отвел его в сторону, сказал, полуобняв:

— Не ошибся я в тебе, парень. Теперь вся судьба твоя в твоих руках. Смотри, не сорвись, еще раз упадешь, не подымешься. Вернешься, заходи, потолкуем... Ну, бывай!

Как он был счастлив тогда, как окрылен! Если бы Владу знать в тот день, какой тяжкий, почти невыносимый крест взваливает на себя! Но теперь, когда судьба доказала ему это, он, повторись его жизнь сначала, даже зная о ее тяжести, не променял бы ее ни на какую другую...

В Краснодар он ехал полный надежд и ожиданий. Его почти все радовало по дороге: вагон, пассажиры, степь за окном. Эта резкая перемена в его судьбе казалась ему преддверием чего-то очень важного и значительного впереди. В купе рядом с ним ехал хмурый и на сильном взводе мужичок в потертой «москвичке», который время от времени отпивал из бутылки, торчавшей у него из верхнего кармана. После многих прикладываний заговорил:

— Упрекаешь, сынка? Придет и твой черед, такая уж наша жизнь. Я здесь в газете работал, в районной. Вот прогнали, еду места искать. Ты нашего дела не знаешь: не совершь — не проживешь. Чуть правду сказал, приказ по сорок седьмой. Вот и катаюсь по стране. Уж пора бы за ум взяться и строчить помаленьку, как люди, а мне все нейдет. Фельетон про директора элеватора насобачил, а он член бюро. Вчера же и уволили, опять еду, может, на Ставрополье подвернется что...

Тогда, в щенячьем своем восторге, Влад не поверил мужичку, посчитал, что за пьянство и прогнали, но потом, меняя редакции по той же самой причине, часто вспоминал о нем.

В Краснодаре с ним носились, как с писаной торбой, наперебой таскали по кабинетам, громогласно рекомендуя:

— Поэт-колхозник! Просим любить и жаловать. Можете заказывать стихи на сельскую тему.

А Влад упивался всем этим, даже не подозревая, что его просто-напросто используют как приманку для начальства, которому позарез требовались в обзорных докладах ссылки на кондовые таланты из народа.

Есьман, встречаясь с ним, снисходительно посмеивался:

— А, самородок, привет, привет, смотри, до смерти загоняют, потом так и не отойдешь. Пойдем лучше тяпнем кубанского.

Окрыленность успехом делала Влада щедрым. Угощая художника, он не скупился и ставил стакан за стаканом, а тот, быстро пьянея, громко витийствовал:

— Эх, мальчик, мальчик, жаждешь сделаться кубанским Джамбулом? Настоящего поэта тошнило бы от одного звания «поэт-колхозник». Знаешь ли ты, что такое «настоящий поэт»? «О, знал бы я, что так бывает, когда пускался на дебют, что строчки с кровью — убивают, нахлынут горлом и убьют». Вот что такое настоящий поэт! Владик, Владик, как тебе объяснить, что на этом пути тебя не ждет ничего, кроме позора и забвения. Но сейчас ты, как глухарь, ничего не слышишь. Возьми-ка еще стаканчик!

Влад действительно не слышал его, он считал все эти разговоры обычной пьяной блажью. Затаканный по высоким приемным, он как бы справ-

лял свою первую в жизни тризну. А потом и вовсе произошло событие, которое заслонило от него весь остальной мир, и даже упоение признанием отошло на задний план. Он встретил ее. Она обслуживала совещание от молодежной газеты. С этого часа все слова, какими осыпали его с почетной трибуны, потеряли для него всякое значение. Влад видел только ее и думал только о ней. Она сама подошла к нему взять небольшое интервью. Задыхаясь, Влад что-то лепетал, тут же забывая о сказанном. Она же, не замечая его состояния, задавала какие-то вопросы, что-то записывала, а прощаясь, деловито отрекомендовалась:

— Ляля Творогова. Загляните к нам в редакцию, подпишите гранку. Такое правило.

В редакции она вела себя с ним так же просто и деловито и лишь на прощанье немного смягчилась:

— Вы ужинали сегодня? У нас в редакции есть хороший буфет.

Голова у него пошла кругом. Сидеть с ней рядом, видеть ее совсем близко от себя, о чем он мог еще мечтать!

За столом она спрашивала его о жизни, о работе в колхозе, и он посчитал себя вправе сказать, что заведует домом сельхозкультуры. Потом Влад провожал Лялю, они долго ходили вокруг ее дома, и он говорил, говорил, говорил. Пожалуй, именно в тот вечер он рассказал ей о себе все, всю подноготную, и, прощаясь, она впервые посмотрела на него с нескрываемым интересом.

— Все позади, Владик, все позади, — она тихонько погладила ему руку, — мне кажется, у вас должно получиться все. Заходите, когда будете в городе, я буду рада...

Идя на вокзал, Влад почти пел, а может быть, и вправду пел, в эти минуты он не помнил себя от

радости. И жизнь казалась ему полной смысла, и все прошлое виделось сном — тяжелым, но вещим.

Кто знал в те поры, кто мог предположить, что путь этот, начатый в глухой станице, извилисто покружив героя по замысловатому лабиринту двух десятилетий, через Кавказ, через Среднюю Азию, через отчий двор в Сокольниках, выведет его на чужбину, в Грец под Парижем, откуда затем вновь позовет в темь, в ночь, в неизвестность. Посвети ему, Господи, посвети!

Но тогда, в тот февральский день, захлебываясь от переполняющего душу восторга, Влад видел свое будущее простым и безоблачным, как детское утро перед новогодней елкой. В предвечерних сумерках степь вокруг казалась еще более сквозной и гулкой, чем обычно. Рябые, в снежных гребешках, поля, остывая, дымилась лиловой мглой, в которой колдовски мерцали затеплившиеся огоньки окрестных хуторов. Упругий воздух распирал Владу легкие, и первая звезда обозначилась у него впереди. Звезда полей, звезда его отчизны.

Если бы знать ему в тот вечер, если б ведать, в какой непомерно тяжкий путь он вышел и что Звезда Полей через двадцать с небольшим лет обернется для него Звездой-Польнью.

Не торопись, мой мальчик, не торопись!

6

Старичок-агроном, у которого Влад принимал дела по дому сельхозкультуры, был явно обижен и потому довольно зло подтрунивал над ним:

— Выходит, теперь своего штатного писателя иметь будем, глядишь, так и мы на скрижали попадем.

Влад старался не перечить ему, к тому же ситуация и впрямь складывалась для старика обидная. Какой-то пришлый сосунок уводил у него из-под носа вполне непыльную, но хлебную синекуру. Влад старался перевести все в шутку, вежливо посмеивался, рассказывал даже подходящие к случаю анекдоты, но того не так-то легко было задобрить, обида буквально клокотала в нем, то и дело выплескиваясь наружу:

— Мы теперь миллионерами сделались, нам теперь без своего писателя не обойтись, пыль будем всей стране в глаза пускать, своего Пушкина наняли, шутка ли сказать! А что этот Пушкин проса от овса не отличит, это уже не важно. По нынешним временам иные председатели в этом ни бельмеса, а тоже начальствуют.

Они покончили с делом, так ни о чем и не договорившись. Но Владу было не до самочувствия старого агронома. Впервые в своей жизни он имел, хоть и казенный, но угол, где в полном одиночестве мог безо всяких помех читать и писать сколько угодно и о чем угодно. Посетители особо не обременяли его: пахать и сеять люди умели и без его помощи, дом содержался скорее для показухи, чем для научной пропаганды. Правда, раз в неделю, по субботам, здесь проводились политзанятия, но и на них собирались вяло и только потому, что они были обязательными. Отзвонил, мол, и с колокольни долой!

Вел эту словесную бодягу учетчик из тракторной бригады Николай Горобец, который, путая падежи и местоимения, наскоро отбарабанивал своим слушателям недельную сводку новостей из районной газеты, и все расходились, довольные друг другом. Сначала Влад пытался поставить ему хотя бы ударения, но вскоре махнул рукой и даже забавлялся про себя, когда тот в выражении «под-

линная демократия», в первом слове упорно нажимал на второй слог.

Единственное новшество, какое Влад себе позволил, это начать собирать колхозную библиотеку, благо правление денег по такому случаю не жалело. Ему запрягали старенький тарантасик и он пускался на добычу в район, где в книжном магазине его встречали как дорогого гостя: покупателем он был редким, но крупнооптовым и каждый приезд Влада означал для заведующего полное месячное выполнение.

С этих-то книжек все и началось. Влад вдруг заметил, что к нему впервые зачастили гости, по большей части школьницы. Входя, они смущенно мялись, потом, краснея, лепетали:

— Записаться бы...

Книги они возвращали с завидной аккуратностью, но, что было сразу отмечено Владом, непрочитанными. Среди них особенно выделялась маленькая толстушка, типичная казачка, крепкощечка, с карими, всегда настороже, глазами. После уроков она часами просиживала у него в библиотеке, склонившись над какой-нибудь книжкой или журналом, но Влад-то видел, отлично видел, что взгляд ее отсутствующе скользил поверх строчек, а голова оставалась занята чем-то совсем другим. Сначала Влад мало обращал на это внимания. В почти невыносимом однообразии станичного быта поневоле потянешься на огонек, где сидит новый человек да еще и поэт, по их понятиям, существо необыкновенное. Но молодость брала свое и вскоре он уже исподтишка поглядывал на нее, чувствуя в себе ответную тягу. Сколько бы продолжалось это молчаливое сближение, неизвестно: на него, чужака, станичное табу действовало отрезвляюще, если бы однажды, поздним вечером, она сама не

вышла ему навстречу из темноты. Вышла и совсем буднично сказала:

— Владик, вы не бойтесь, я никому не скажу...

Ляля, Ляля, прости меня, ты была так высоко, так недосыгаема для меня, а я так слаб и беззащитен против своей плоти, что не выдержал соблазна и, как говорится, пал. Пал, проклиная себя за свою слабость. В свое оправдание могу сказать только, что падение это обошлось мне дорогой ценой. Мучительно и долго, много лет я расплачивался за минутный соблазн и она — эта расплата — все еще тянется за мной до сих пор, как проклятье!

Но в станице ничто не остается незамеченным, вскоре об этой, запретной, по мнению станичников, связи, знала вся Пластуновская. Особым отступлением от правил здесь это не считалось, молодежь в этих местах сходилась до брака сплошь и рядом, но где это было видано, чтобы чистокровная казачка жила в грехе с безродным москалем да еще бывшим посадочником! Мать ее, женщина нрава в общем-то тихого и беззлобного, подхваченная повсеместным негодованием, с плачем и угрозами через несколько дней ворвалась к нему в библиотеку:

— Чого ж ты з нами творишь, скаженный! — Она кончиками платка вытирала сухие глаза. — Стыда на тебе нема, испортил дивчину, опозорил на усю станицу, а вона ще в десятый класс бегае. От стыда хучь руки на себе накладувай, а у мзне их ще двое! Як же у тебе не повылазило, що ты дивчину не пожалел, дитю зовсим? — Она еще долго причитала у его стола, ругала на чем свет стоит, а закончила жалобно и почти мирно: «Женись, хучь...»

Легко сказать, женись! Срок его трехмесячного паспорта давно кончился, а новый ему выдавать

не спешили, явно остерегаясь, что тогда он в станице не задержится. Потерять так счастливо найденную знаменитость, которой при случае удавалось козырнуть в докладах, было выше сил местного начальства. Положение Влада усложнялось еще и тем, что в колхозном доме приезжих он обитал теперь чуть ли не на птичьих правах. Хозяйка, в знак солидарности со всей станицей, отказала ему в довольствии, а о том, чтобы встать к кому-нибудь на постой, он не смел даже и думать: бойкот проводился по всем правилам круговой поруки.

Положение показалось Владу безвыходным и тогда он бросился за помощью все к тому же Косивцову. Тот выслушал его, понятливо хмыкнул, пожевал безвольными губами, вздохнул:

— Эх, молодость, молодость, наломают дров, а потом: «дядя, выручай»! Слышал я твою баталию. Что мать ее гонит, тоже слышал. У нас, брат, знаешь, какой телеграф, куда тебе «вч»* или международный! Угла вам тут или комнаты, это ясно, никто не сдаст, такой уж народ — станишники. — Парторг задумчиво потер острый подбородок. — Ладно, под мою ответственность, занимай у себя в «Доме» кладовку, а там что-нибудь придумаем. Валяй...

Их общий скарб — мешок муки, выданный ему авансом под трудодни и узелок с ее бельишком — едва ли занял и половину брички, на которой они через всю станицу двинулись к первому своему жилью. Сотни глаз из окон и от калиток устлали им путь злорадством и неприязнью. Пыль этой дороги навсегда осела в нем неистребимым стоном унижения и обиды. Так, наверное, должны были

* «ВЧ» — буквально: внеочередной. Специальная связь для номенклатурных работников.

чувствовать себя военнопленные, проходя по улицам вражеского поселения.

Трудно, да и незачем судить сейчас, Надя, кто из вас прав, а кто виноват в том вашем случайном и бессмысленном сожителстве, единственным результатом которого стала лишь дочь, двадцатилетнее теперь уже чадо, странное «перекасти», без определенных наклонностей и доли, но сегодня, вспоминая минувшее, он готов простить тебе все за одну только эту дорогу, проделанную вами в то утро вместе, и сам просит у тебя прощения!

Вот так началась их совместная жизнь, а лучше бы и не было ее вовсе, до того короткой и горькой она — эта жизнь — оказалась. Весь их продовольственный запас — единственный мешок муки — таял на глазах, что не мудрено: с утра до вечера, в коротких перерывах между работой и любовью, с неутоляемой жадностью молодой плоти они в огромных количествах поглощали галушки. Галушки, галушки, галушки! И эти мучные комочки в почти ничем не заправленном кипятке казались ему в те поры лучшей едой на свете, пищей богов, амброзией нищих. Когда же, тайком, его незаконная теща приносила им бутылку-другую подсолнечного масла с вязкой лука впридачу, блюдо это и впрямь начинало распространять вокруг себя отсвет и запах нездешних пиров Валтасара.

Скромным подспорьем в их скудном рационе служило также кое-что из экспонатов. На стендах и стеллажах постепенно появлялись зияющие пустоты. Яблоки последнего урожая и прошлогодняя кукуруза-рекордистка, бессмертные тыквы и семечки залежавшихся подсолнухов, семенная свекла и даже просо — все шло в дело. К сожалению, продукты подефицитнее — помидоры, огурцы, свежие персики — были заформалинены в литровых

банках, а то бы им тоже нашлось применение. К осени пошли арбузы, и Влад выписывал их для экспозиции Дома сельхозкультуры в таком количестве, которого хватило бы, чтобы оформить павильон ВДНХ средних размеров. Голь на выдумки хитра.

Надежда ела теперь за двоих. Живот ее рос, лицо опадало, заострялось, зацветало желтыми пятнами: дыхание другого существа, как бы обжигавшее женщину изнутри, источало ее и внешне. Едва ли Влад когда-либо любил ее, но именно в эти дни, прислушиваясь по ночам к едва слышному биению зачатого от него комочка, он чувствовал по отношению к ней нечто вроде нежности. Сознание того, что ему предстоит вскоре стать отцом, наполняло его ощущением ответственности, по сравнению с которой долгие тревоги прошлого выглядели сейчас призрачными и пустячными. В мире должна была появиться часть его, но уже в ином облике и с другой судьбой. Какова-то она будет — эта судьба?

После затяжной и сухой осени к станице исподволь подкралась зима: стыла степь за околицей, исходя по утрам легкой изморозью, чугунно затвердели колеи и дорогах, дымки над крышами становились гуще и продолжительней. Однажды утром Влад вышел из своей темной кладовки и зажмурился: во все окна старого кулацкого особняка, в котором размещался его «Дом», светила снежная белизна. По-южному слабый снег, наподобие трепетной фаты, воздушно оседал вокруг, но и в этой его непрочности сквозила уверенность в своем постоянстве. Зима предъявляла Кубани первую визитную карточку.

Потянулись дни утренних хрупких и устойчивых морозов и дневной оттепели, переходившей к вечеру в слякоть. К тому времени Владу, за выче-

том авансов, выдали годовой расчет, и быт в их кладовке заметно окреп. Муки и масла оказалось достаточно, чтобы дожить до весны. Надежда ожила, повеселела, не раздражалась по пустякам. К ней изредка стали заглядывать бывшие подружки: станица, кажется, скрепя сердце, постепенно смирялись с их затянувшимся союзом. Но урочный день приближался...

Она закричала неожиданно, ночью, в начале февраля, и уже не замолкала ни на минуту. Влад пытался было засветить огонь, чтобы хотя бы обуться, но трясущиеся пальцы его не слушались, и тогда, махнув на все рукой, он бросился босой через февральское месиво грязи и снега к пожарке. Не разбирая дороги мчался он к светившему огоньком сараю за дальними огородами и сладкий восторг страха за тех, что остались у него позади, помогал ему в этом пути. Марафон той февральской ночи ему тоже никогда не забыть.

Дежурный пожарник Степан Стеценко, едва ли не главный их ненавистник в Пластуновской — он приходился дальним родственником Надежде, — едва завидев Влада на пороге депо и все мгновенно сообразив, как-то враз обмяк, забегал, засуетился, успокаивая, судя по голосу, не его, а скорее себя:

— Ты не бойсь, браток, не бойсь, у мэне их трое, я мигом застромлю, в момент обернемся. Ты, главное, сичас не бойсь. — Он заводил в оглобли лучшего мерина, запрягая и взнуздывая привыкшую к неожиданностям животину. — В лучшем виде, братишка, в лучшем виде... у мэне их трое, братуха, мне не в новину...

На обратном пути, попыхивая в промозглой ночи дешевой папироской, Степан примирительно гудел:

— Ты на тутошних, братишка, не обижайся, мы друг к дружке притерлись, нам чужак, вроде, як еж за пазухой, больно колко. Отойдут ноне станишники, хошь — не хошь, казак народится, або казачка, примут. — Он подогнал полуход к самому крыльцу «Дома». — Дуй, грейся, от бисов сын, зовсим босый! Выпить бы тебе самый раз!..

Он увидел тебя, Татьяна, уже на следующий день в окно роддома, на руках у твоей матери. Тогда ты была еще крохотным комочком плоти, без имени и судьбы, ибо Господь так и не коснулся тебя своим Крещением. Но теперь, через двадцать лет, я полностью принимаю на себя великий грех за это твое отпадение. Я не знаю, как сложится отныне твоя жизнь, и я несу свой крест, не ведая, что у меня впереди — узилище или чужбина? — мне только хотелось бы на прощанье оставить тебе одно выстраданное мною знание: никогда не поздно, Татьяна, никогда не поздно, лишь сделай усилие и ты увидишь Его. Он в нас, Он всегда с нами. Он ждет и страждет за нас!..

Еще задолго до выписки Надежды Влада вызвал к себе Косивцов.

— Поздравляю, брат, с дочерью! — Он вышел из-за стола, обнял его, усадил, а сам сел напротив. — Подарок мы тебе от правления заготовили, но есть решение райкома перевести тебя в газету литработником, так что собирайся. Поезжай в Динскую, войди в курс, сними комнату и вези жену прямо туда. Хватит, потянули вам душу гражданестанишники. Жалко мне тебя отпускать, нам бы тут двух-трех таких парней, мы бы делов понаделали! Эх... Не поминай лихом, заглядывай...

Вы проводили его до дверей, Николай Гаврилович, прикрыли ее за ним, и связь между вами с тех давних пор оборвалась навсегда. Вернее, обор-

валась ее видимая, так сказать, физическая сторона, но в нем она — эта связь — живет до сих пор, одаряя его уверенностью в том, что люди есть люди. И не принадлежность к партиям или взглядам разделяет их, а лишь свет и тьма, какие борются в них за победу над сердцем. И важно, что побеждает — в зависимости от этого человек живет и действует. Этот урок стоит благодарности, дорогой Николай Гаврилович! Прощайте...

С утра Влад отправился в райцентр, станицу Динскую, чтобы начать очередную и немаловажную часть своей жизни.

7

— Что такое печать? — Редактор смотрел на Влада сквозь очки с вызывающей победительностью человека, который заранее знает ответ. — Печать — это самое острое, самое грозное оружие нашей партии. А кто это сказал? Товарищ Сталин. Ты видел Сталина?

— Видел, — Влад малость оторопел от такого натиска, — в детстве... На демонстрации... В кино тоже.

— На демонстрации? Москвич, значит?

— Москвич.

— Эх вы, москвичи! — Он поднялся, перхоть с его зеленого кителя осыпалась с него наподобие пороши. — На демонстрации! А я вот его как тебя видел, руку мудрому вождю пожимал.

Словно опасаясь, чтобы собеседник не сбежал, редактор загородил собою дверь, что позволило Владу довольно подробно рассмотреть его: высокий, с немного бабьим лицом, начинающий сидеть человек в партийной униформе и трофейных крагах. Краги на нем гляделись особенно нелепо.

— Работал я тогда секретарем Новороссийского горкома партии. — Врал тот, как выяснилось впоследствии, вдохновенно, искренне веря в собственное вранье. — Заезжает как-то в город Калинин Михаил Иванович, всесоюзный староста наш дорогой. «Ты, — говорит, — Роман Замятин?» — «Я, — говорю, — тот самый.» — «Что же это, — говорит, — Роман, в таком городе секретарствуешь, а настоящий порт все еще не отстроил.» — «Виноват, — говорю, — товарищ всесоюзный староста, сделаем.» — «Даю, — говорит, — тебе, Роман, сроку три дня, лично проверю.» Сам понимаешь, нет для коммунистов таких крепостей, которых они не могли бы взять. Кто это сказал, знаешь? Товарищ Сталин это сказал, запомни. В общем, мобилизовал актив, молодежь, население, изыскал ресурсы, неиспользованные возможности, уложился в срок, не подвел старика, свою большевистскую честь тоже не подвел. Памятливый был старикан, не забыл, заехал проверить. «Молодец, — говорит, — Роман, не подвел старика.» Веду это я его по трапу на катер, прокатиться захотелось нашему старосте, так сказать, с ветерком, а он возьми да и споткнись, и — в воду. Я в чем был — за ним, глубина там хоть и небольшая была, а пришлось повозиться, прежде, чем я с ним до берега добрался. Ну, сам понимаешь, спецпомощь, охрана и все такое прочее. Увезли дорогого гостюшку под особый врачебный присмотр. Не успела еще вода с меня стечь, как, вижу, к самому пирсу вырывают три легковые машины: жжи, жжи, жжи! Из двух охрана высыпала, а из третьей, гляжу, сам выходит. — «Где, — говорит, — Роман Замятин?» Я, брат, на Дальнем Востоке дивизией командовал, службу знаю, вытягиваюсь в струнку: «Я, — говорю, — товарищ Сталин». Верись, ни слова больше не сказал, подошел, склонил гордую свою голову, взял двумя

своими дорогими руками мою руку и горячо потряс. Понимаешь, ни слова не сказал, только руку взял и потряс. Взял и потряс. — Его заело, словно заигранную пластинку, глаза подернулись надмирным блеском. — Взял и потряс. — Наконец, он спохватился и снисходительно заключил. — А ты говоришь: «на демонстрации»! Иди работай, входи в курс...

Но нет худа без добра. Шок, который испытал Влад после первого разговора с редактором, несколько охладил его готовый разгореться для новой деятельности пыл, и он приступил к работе без прежнего благоговения перед печатным органом районного масштаба.

Ему поручили культурную жизнь, каковую по должности курировал ответственный секретарь редакции Иван Гержод, меланхоличный выкрест, в рыжей курчавости чуть не до бровей.

— Про печать спрашивал? — встретил он Влада по выходе из редакторского кабинета. — Только честно?

— Спрашивал.

— О Сталине рассказывал?

— Рассказывал.

— А о Ворошилове?

— Нет.

— Еще расскажет. — Гержод посветил на него насмешливыми глазами, полюбнял, повел к себе, в своей закуток. — Если есть стишки для начала, поставлю в номер. — Сам балуясь виршеплетством, ответсекретарь знал, чем и как расположить к себе нового сотрудника. — А вот тебе вся папка по твоей части: заметки с мест, самостоятельность, школа, поэзия километрами и на пуды. А свои тащи сейчас же, а то после обеда поздно будет, типография у нас капризная.

Наутро Влад держал перед собой свежий номер газеты, где на третьей полосе, набранная нонпарелью в нижнем правом углу, красовалась его первая в жизни публикация. Стихи, разумеется, был из рук вон плохи, но тогда, в угаре авторского честолюбия, полузадохшемся от радости, они казались ему если не верхом совершенства, то, во всяком случае, не хуже тех, что чуть не ежедневно приходилось читать в газетах и журналах. Так, наверное, оно и было на самом деле, если это только могло служить им хоть каким-то оправданием.

Что уж там вроде бы хитрого — обычный алфавит, тридцать два знака: а, б, в, г, д и так далее, но почему же, почему в одном случае из них складывается «Я помню чудное мгновенье», а в другом — «Широка страна моя родная»? Какой Добрый Дух посещает человека, чтобы сочетание одних и тех же знаков становилось под его рукой Любовью и Откровением, а какая Злая Воля выстраивает их — эти буквы в пошлый до неправдоподобности бред? Когда-нибудь он узнает об этом, но не слишком ли поздно, не слишком ли?..

Уже на следующий день к нему явилась первая поклонница, шарообразная дама лет шестидесяти, оказавшаяся словесницей с дореволюционным стажем из местной десятилетки.

— Вы поэт, — безапелляционно утвердила она, опарой опадая на предложенный стул. — Да, да, не возражайте, вы — поэт. Это я почувствовала сразу, как только прочла ваше стихотворение. Я тоже пишу и понимаю в этом толк, поверьте мне. — Она форсировала события с молниеносной скоростью. — Я думаю, вам любопытно будет прочесть. — Она подвинула к нему свернутую в трубочку общую тетрадь. — Вот, пожалуйста.

Голова у него начала болеть с первых же строчек. Потом это станет в нем почти патологией: при

чтении чепухи головная боль, словно барометр, определит его отношение к прочитанному. Все поэтажные комплексы этой состарившейся маньячки, все, о чем она никогда не осмелилась бы проговориться в быту, с воинствующим бесстыдством изливалось на линованную бумагу. «Поцалуй (именно через кокетливое «а») мои белые груди, пред тобой я предстала нагой, мы с тобою безумствовать будем, как безумствуешь ты и с другой». Или: «Оставь напрасные надежды, чувств безнадежных не буди. Ты не сорвешь мои одежды и не узришь моей груди». И прочее, прочее, в том же духе, преимущественно с участием «грудей» в разных видах и положениях. Глядя на нее, на ее девственно заду-белое, без проблеска материнства лицо, можно было смело определить, что если она когда-либо и безумствовала, то лишь на бумаге.

Много их, присной памяти графоманов разных возрастов, профессий и темпераментов, пройдет перед ним впоследствии, каждый из них будет вызывать у него только скуку и головную боль, то, в конце концов, всласть отведав от щедрот окружающего его печатного дерьма, он проникнется к этим искренним фанатикам даже симпатией: по крайней мере, в своей слабости они честны...

— Недурно, — ошарашенно промышчал Влад, лихорадочно подбирая в уме сносную формулировку для отказа. — Только знаете... Газета... Политический орган райкома. Нам бы что-нибудь на злобу дня...

Дама величественно поднялась:

— Вы меня неправильно поняли, молодой человек. Печататься — это пошлость. Я пришла к вам как поэт к поэту. — Она взяла протянутую им тетрадку и одарила его на прощанье снисходительным великодушием. — И все-таки, вы — поэт! Да, да — поэт!

После нее из комнаты еще долго выветривался запах дешевых духов и пудры. «Да, — тяжело вздохнул Влад, — диковинная старушенция, а сколько их еще предстоит!»

В распахнутую настежь дверь заглянул Гержод, издевательски подмигнул:

— Ну, как?

— Чего?

— Экземпляр.

— Это ты мне подкинул?

— А кто же, — довольный, хохотнул тот, — ничего, привыкай, вырабатывай иммунитет. Имею я, в конце-концов, право от нее отдохнуть, ты еще молодой, выдюжишь, а я уже не могу.

Сказал и скрылся в папиросном дыму у соседей.

Так, незаметно для себя, Влад и вошел в редакционный быт, а быт этот, в свою очередь, естественным порядком слился с ним, быстро растворив его в повседневной текучке. Целыми днями он мотался по району на попутных машинах, а чаще пешим ходом: собирал информацию, писал, обрабатывал, правил, торопясь к сроку поставить в номер двести отведенных ему строк.

Роман Замятин делал газету по каким-то только ему одному ведомым законам, но уж такова особенность всякого печатного органа: кто бы им ни руководил и что бы ни печатал, в свет он все-таки выходит. Сам Замятин писать не умел и не хотел, а потому целыми днями играл с кем-нибудь из свободных сотрудников или посетителей в шахматы. Будучи феноменально темным человеком, он считался лучшим в районе шахматистом и даже участвовал в краевых соревнованиях. В газете же он оставил за собой лишь рубрику «Знаешь ли ты?», которую придумал сам и которой очень гордился. У него хранилась затрепанная до основания

записная книжка, из каковой редактор и черпал афоризмы, пословицы и сведения для своей рубрики. А поскольку цитат в ней хранилось множество, к тому же самых разнообразных, то нередко в любимом разделе Замятина появлялись рядом высказывания вроде: «Учиться, учиться, учиться» и «Вошь может снести за месяц три тысячи триста пятьдесят яиц». Передовицы, которые редактор был обязан писать по должности, делались отделами согласно тематике, а к макету, намеченному Гержодом, он обычно даже не прикасался. Правда, имел порою слабость проявить власть, поправить что-нибудь, видимости ради. Например, в заголовке «Медлят с подъемом зяби» вдруг убирал последнее слово, объясняя правку с помощью Антона Павловича Чехова:

— Краткость — сестра таланта. — И, хотя такого рода сестра не имела к Роману Замятину никакого отношения, приходилось смиряться, чтобы не усугублять его литературного рвення. — Кто это сказал? Чехов. Знать надо, не на мельнице работаете.

И надо же было тому случиться, что не прослужив и полугода, Влад сунулся к нему с очерком о летнем походе старшеклассников именно в минуту этого редакторского зуда. Замятин читал, морщился, вздыхал, делал пометки, после чего откинулся на спинку стула, пустив вокруг себя облачко перхоти:

— Для начала неплохо. — Он смотрел на Влада сквозь очки с видом усталого мэтра, вынужденного преподавать начинающему коллеге элементарные азы профессии. — Только придется хорошенько подправить. Вот у тебя, к примеру, написано: «Перед ними открылся сквозной простор долины». Что это такое — «сквозной»? Сквозной может быть дыра, ранение может быть сквозным,

ветер тоже, а простор — нет, никогда. Выброси. Или вот еще...

— Нет, Роман Николаич, — Владу вдрут, словно вожжа под хвост попала, до того тошнотворным показалось ему замятинское учительство, — не поправлю.

— То есть, как это?

— А очень просто, не стану править и все, потому что имеется в литературе такое понятие «образность», о котором вам еще пока неизвестно.

По быстрой смене расцветки на редакторском лице Влад удовлетворенно следил, как растерянность в нем сменялась недоумением, которое тут же переходило в откровенное бешенство.

— Слушай сюда, дитя, — едва тот заговорил, как на Влада пахнуло густым духом воровского барака, свирепой матерностью «толковищ» и «правилоч»*, — таких, как ты, я глотаю вместе с пуговицами. Иди, пиши «по собственному желанию», пока я добрый.

— Пошел ты...

Теперь Влад знал, с кем имеет дело и поэтому в словах не стеснялся. К тому же, семейная жизнь его не складывалась, держась в последние дни лишь на инерции и привычке. В Краснодаре Владу давно обещали договор под книжку стихов, который светил ему со дня на день. «Была — не была! — махнул он на все рукой. — Двину!»

Влад рассчитался с редакцией в течение часа, так и не услышав обещанную Герждом редакторскую байку о Ворошилове. В Краснодар!

* «Толковище», «правилка» — выяснение отношений между ворами (жарг.).

Борис Есьман славился в городе счастливым умением встречать первым человека, получающего аванс. Влад столкнулся с ним сразу же по выходе из книгоиздательства, словно тот стоял здесь и ждал его заранее.

— Ба, — затрясся в беззвучном смешке горбун, — кого я вижу! С чем поздравить?

— Получил.

— Не спрашиваю сколько, спрашиваю, куда пойдём?

— Что ты предлагаешь?

— У меня есть одна кинжальная мысль. — Есьман задумчиво почесал в затылке. — Сегодня в «Кубани» наш прозаический зубр Адриан Румер обмывает «сигнал» второго издания романа «Море». Там будет вся наша, так сказать, элита, пора бы тебе со всеми перезнакомиться.

— Веди. — Он быстро привыкал к своему положению, а потому излишнего восторга проявлять не рвался. — Посмотрим эту вашу элиту...

Пир они застали в самом разгаре. Посреди сдвинутых столов и доброго десятка сотрапезников восседал массивный дядя, седая грива над высоким, в резких морщинах лбом, с васильковьями в хмельном дыму глазами, громогласно вещая на весь зал:

— Жизнь, братцы, пройти — не поле перейти, сколько, как говорится, попито, поедено и похожено тоже, с подтянутым до последней дырочки ремешком. Помню, заявился я с Каспия к Горькому, Алексею Максимовичу, с котомкой и в каких-то опорках...

Пристраиваясь к компании, Есьман озорно подмигнул Владу смеющимся оком:

— Терпи, брат, это он теперь надолго.

По ленивой снисходительности окружающих было видно, что историю эту слышали здесь множество раз и что она — эта история — порядком всем надоела, но положение обязывало и гости, словно отбывая какую-то традиционную повинность, изображали на своих лицах подобие заинтересованности, в напряженном ожидании очередного госта. Экскурс хозяина стола в прошлое затянулся, народ поскучнел, и, чтобы спасти готовую распасться попойку, Есьман, воспользовавшись мгновенной паузой, прервал его излияния:

— Минуточку, Адриан, важное сообщение! — Он положил руку на плечо Влада. — Среди нас находится наш новый товарищ, поэт Самсонов, о котором, надеюсь, вы уже наслышаны. И, сами понимаете, первый аванс...

Энтузиазм, подогреваемый возможностью наконец-то возвратиться к основному занятию — выпивке, — не поддавался описанию. Надо думать, что в эту минуту живого Пушкина здесь встретили бы с куда меньшим воодушевлением. Тут же было налито и выпито за молодое дарование, новое светило на небосклоне кубанской поэзии. Гости следовали один за другим, каждый старался добросовестно отработать свое участие в доле его аванса.

Сосед Влада справа, сухощавый, с мелкими, но выразительными чертами парень, потухшая папироса в мокрых губах, еле ворочая языком, бубнил ему на ухо:

— Я — Завалов!.. Завалова знаешь?.. Завалова все знают, не было еще такого актера на земле и не будет... Понял? Брось ты их всех к чёртовой матери, пойдем в наше общежитие, такие девочки есть, что обалдеть можно... Пошли, а? Устроим игры на лужайке, «тяги-толкай» и все такое прочее... Не пожалеешь... Я — Завалов, Георгий Завалов! Понял?

Как ни странно, но это случайное их знакомство не прерывалось потом все последующие двадцать лет. Спиваясь и опускаясь все ниже и ниже, бывший первый любовник театрального Юга заваливался к нему в Москве с ежегодной актерской биржи в августе, неизменно пьяный и в сопровождении новой жены. Он был бескорыстен, этот Жора, во всем — в неверности и постоянной лжи, в долгах и обмане, в маниакальном самомнении и полной необязательности. Богата земля российская этой пустой, но трогательной породой!

В хмельном парении, заключенный в замкнутую сферу застольного гвалта, Влад увидел ее уже в тот момент, когда она по-хозяйски расчищала себе место между ним и актером. Вместе с ней к столу протискивался и ее спутник, рослый фронт с врожденным высокомерием на уверенном лице. Вторжение новых гостей было встречено всеобщими рукоплесканиями:

— Ляля!

— Штрафную им!

— По маленькой, по маленькой, чем поят лошадей!

— Эх, Ляля, — суммировал коллективный восторг хозяин стола, глядя на нее замаслившимся взором, — был бы я помоложе!

После того, первого знакомства, они походя встречались несколько раз в редакции и на улице, даже разговаривали, но дистанция, разделявшая их, была слишком велика, чтобы он мог позволить себе что-либо большее. Всякий раз при встречах с ней Влад терялся и ему едва-едва хватало дыхания на несколько полых, ничего не означавших слов. Сейчас, сидя около нее, он внутренне сжался в горячечно пульсирующий комок, боясь неосторожным словом или движением выдать источав-

шую его муку. От нас на земле не останется даже тени, но, живя, мы неизменно жаждем!

В надежде расковаться, расправиться, почувствовать себя хоть немного свободнее, он схватился было за бутылку, но тут же, как электрический удар, как ожог, ощутил на своем локте ее руку:

— Вам не надо больше пить, Владик, — она говорила, не глядя в его сторону и почти не разжимая губ, — и лучше уйти отсюда... Хотите, я вас провожу?

Внезапно прихлынувшая к сердцу Влада радость вмиг отрезвила его, обострив в нем слух и зоркость. Он уловил, как она чуть слышно обронила спутнику свое небрежное «позвоню», отметил про себя высокомерно обиженный кивок этого пижона, после чего весь напрягся от неприязни и готовности броситься в драку, но она уже увлекала его за собой, через весь зал, в сентябрьскую ночь, в городские огни, в уличные звезды.

Они куда-то шли, кружа по переулкам, Ляля держала его руку в своей и Владу казалось, что он не идет, а парит над землей и земля подкатывает к нему под ноги наподобие ковровой дорожки.

— Это не путь, Владик, — тихо уговаривала она его, сопровождая каждую фразу легким пожатием, — это не путь. Зачем вам брать пример с этих живых покойников. Все это обычные неудачники, которые жаждут самоутверждения, хотя бы в провинции. Шуты, стареющие провинциальные шуты!

— Если вы захотите, Ляля, я не буду. Никогда не буду, если вы захотите, честное слово!

— Ах, Владик, Владик, глупый, я много старше вас, через десять-пятнадцать лет я буду старухой, а вы еще только начнете по-настоящему жить!

— Без вас — никогда.

— Глупый вы, глупый мальчик...

- Никогда, Ляля, никогда!
- Боже мой, какой глупый...
- Ляля!..

И он поцеловал ее. Все замерло в нем, чтобы уже в следующее мгновение взорваться перед глазами ослепительностью и полнотой окружающего: сквозь бережно шелестящие листья платанов светилося подернутое звездной туманностью небо, со стороны Кубани веяло едва ощутимой прохладой, из-за палисадников к нему густо тянулись пряные запахи близкой осени. Боже, как же прекрасен мир, который Ты создал!

Слова сейчас ничего не значили, но они сами слетали с губ, окрашивая эту ночь для него первой и последней неповторимостью:

- Если бы ты знала, Ляля...
- Молчи, Владик, молчи...
- Не могу.
- Зачем?
- Я хочу, чтобы ты знала...
- Я и так все знаю.
- Откуда?
- Женщина всегда знает об этом...
- Чувствует?
- Конечно...
- Все?
- Да — все...

Где-то в самом истоке улицы, вернее, еще дальше, занималась светлеющая полоса нового дня, а они все еще кружили по городу, взявшись за руки и не замечая ничего вокруг. Остановись, мгновенье!

Есть в осени первоначальной. Глухая пора листопада. Пустых небес прозрачное стекло. Влад

поил Есьмана на веранде городского сада, среди опадающей листвы и залитых холодным солнцем аллей, в безлюдной тишине октябрьского полдня. Соловья от рюмки к рюмке, тот все пытался соблазнить и его:

— Ты заставляешь пить меня в одиночку, — оскорблялся он после каждой порции, — это нечестно. Ну, хотя бы одну вместе!

— Нет, Борис. — Душевная легкость, с какой он жил все последние дни, была ему сейчас дороже обманчивой свободы опьянения. — Не буду и не упрашивай. Тебе, если хочешь, я закажу еще, а сам не буду.

— Ну, Владик!

— Тогда я уйду, Борис.

— Ладно, — покорно сдался тот. — Может быть ты и прав. Разумеется, если ты выдержишь до конца. Но здесь, в чертовой глуши, это очень трудно, очень. Рано или поздно все ломаются и текут по наклонной. Вон Руммер, каким молодцом сюда прикатил, хоть Илью Муромца с него пиши, а теперь это алкогольная развалина на двух ногах. «Море», «Море», «Горький хвалил!» Что толку? Горький этот от помоев плакал, обычный старческий маразм. «Море» его от этого лучше не становится. Ничего себе, эпохальное произведение о проблемах колхозного улова в разрезе механизации трудоемких процессов! Тьфу, мать ее так! Правильно делаешь, Владька, не смотри на нас, мы — труха искусства, отработанная порода, балласт. Играем в дело, а дела нет. Истинные мастера живут другой жизнью, Владька, совсем другой. У них не жизнь, а житие, они не умирают, а растворяются в своем творении. Смерть для них — это лишь завершение и ничего более, поэтому в смертный час мастер всегда спокоен, у него есть, за что умереть. Нам, помню, старый художник в училище

еще рассказывал легенду одну, по-моему, грузинскую, а может быть и армянскую. Впрочем, это не имеет значения, не в этом суть...

О МАСТЕРЕ, КОТОРЫЙ ЗНАЛ...

— Это случилось Бог знает когда, чуть не полтысячелетия тому назад, где-то на Кавказе. Некий князек-разбойник, сколотивший себе, говоря современным языком, приличное состояние набегами и грабежом соседей, вознамерился отомолить у Всевышнего свои грехи постройкой храма, который бы затмил своим величием все, что имелось в этом роде до этого. Ох, эта мне древняя слабость тиранов — ставить копеечные свечки по убиенным в виде церквей, пирамид и памятников! Но тиран скомандовал, дело сатрапа — выполнить. Понадобился Мастер, равного какому не нашлось бы в сопредельных княжеских малинах. Его нашли, этого Мастера, сразу. Мастера — они всегда мозолят людям глаза и от них отделяются при первой же возможности. Уже на другой день он был доставлен пред светлые очи Его Разбойного Величия. Когда тот изложил свою волю, Мастер спросил его: «Ты не будешь вмешиваться?» — «Нет, — ответил князь, — даю слово!» — «Тогда я согласен». — «Почему ты не спрашиваешь о награде, — не выдержала воровская душа князя, — разве у тебя нет никаких желаний, проси!» — «Я знаю, какая награда меня ждет», — ответил Мастер. «Какая же?» — удивился князь. «Смерть», — ответил Мастер. Мозги родовитого налетчика не постигали такой логики: «Почему?» — «Когда я закончу, ты не захочешь, чтобы я построил кому-нибудь еще лучше». — «И все же ты берешься?» — «Берусь», — ответил Мастер. «Что движет тобою? — обалдел

тот. — Скажи мне». — «Бог», — спокойно ответил Мастер. «Тогда начинай, — зловеще усмехнулся властительный бандит, — как говорится, с Богом». И работа закипела. День и ночь вместе с подмастерьями и рабами не отходил Мастер от своего детища, помогая ему расти и шириться. День и ночь, зимою и летом, весною и осенью, многие годы не сходил Мастер с лесов, работая за четверых, и никто не видел, когда бы он ел или спал. «Безумец! — шепталась по углам чернь. — Он подгоняет свою смерть!» Но Мастер-то знал, что жизни ему отпущено ровно столько, чтобы закончить строительство и поэтому не берег себя, ибо за него это делал Всевышний. Дрях и старел князь, с завистью глядя на неувыдающего в работе Мастера, но даже к старости, изъязвленный болячками и злобой, он силился и не мог постичь этого рвения. «В чем же здесь дело? — мучительно маразмировал он, судя о Мастере в меру собственной испорченности. — Видно, он что-то скрыл от меня, для какой-то своей выгоды». Но Мастеру было не до комплексующего хозяина, он работал, из-под его рук выросло его лучшее детище, равного которому действительно не было на тысячи верст вокруг. Когда для завершения оставалось лишь увенчать прекрасное строение соответствующим шпилем, князь вновь вызвал Мастера на аудиенцию. «Может быть, ты остановишься? — вкрадчиво позондировал он. — Работы тебе осталось на три дня, значит, через три дня ты умрешь». — «Я знаю, — ответил Мастер, — но позволь мне уйти, работа не ждет». — «Мы старики, — стал плакаться князь, — я доволен твоей работой, но пусть ее доделают наши дети, а мы с тобой умрем своею смертью». — «Ты великодушен, мой господин, — но я должен закончить свою работу сам». — «Но ты принадлежишь мне и я могу приказать!» —

«Тебе принадлежит моя жизнь, господин, — склонился Мастер, — но над душой моей волен только Бог». — «Иди, — сказал князь, — и будь ты проклят!» Последние трое суток Мастер окончательно забыл, что такое еда и сон, заканчивая свое творение, а когда на четвертые сутки леса были сняты, перед взором огромного стечения народа возник прекрасный храм, стремительно подпирающий безоблачное небо позолоченным шпилем. Божественная законченность его пропорций гармонически сочеталась с гористым фоном и рекой, причудливо пересекающей долину. До последней минуты князь еще не знал, точнее, не был уверен, что казнит Мастера, но стоило ему увидеть чудо, возникшее перед бойницами замка, как все сомнения покинули его. «Этот гордец должен умереть, — повелел он, — ибо не успокоится, если не сделает еще лучше, а у меня так много врагов!» И Мастер умер. Умер, как и следовало ожидать, на плахе, при стечении того же народа, который еще вчера восторженно приветствовал его дар: у черни короткая память, она живет одним днем. Но старому жулику из княжеского рода не пришлось торжествовать победу: он испустил дух в одно мгновение с Мастером, только куда менее героически, он умер от ранней старости, в результате дурной болезни, которую в наше время ученые называют просто сифилис. Их похоронили в один день и час, каждого по своему разряду. Одного — с плачем и причитаниями в фамильной усыпальнице, другого — неизвестно где и неясно, каким образом. От их могил время давно не оставило и следа. Но храм, в который вложил свою жизнь Мастер, стоит и поныне, а после князя не сохранилось даже его имени. Правда, какой-то смурной националист, говорят, наказывал в честь разбойного предка кандидатскую, пытаясь доказать, что тот все-таки

существовал, но ее, кажется, даже не приняли к защите. А храм стоит, Владька, говорят, такой храм!..

— Это ты мне, Боря?

— Тебе. На память. — Горбун допил коньяк, занюхал кончиком салфетки. — Ко всем дням рождения сразу.

— Учту.

— Хорошо бы.

— Еще заказать?

— Закажи и ступай, я посижу один, это иногда не вредно, в известном смысле одиночество — гигиена души...

На повороте аллеи Влад обернулся. В свете солнечного полдня, среди ослепительного листопада, в сгорбленной фигурке Есьмана ему вдруг увиделось столько печали и безнадежности, что он зажмурился от пронзившей его в этот миг жалости: там, на веранде, в полном одиночестве человек подводил итоги и они — эти самые итоги, — судя по всему, оказывались неутешительными. Думай, мальчик, жизнь коротка, думай быстрее, спеши, иначе этим же кончишь и ты!

10

Краснодар утопал в мартовской слякоти. Низкое небо, казалось, цеплялось за кровли, с тем, чтобы уже никогда не подняться выше. Мир вокруг словно бы растворялся в гриппозном ненастье ранней весны. Перспектива улицы сузилась до предела ближайшего квартала, за которым все остальное лишь смутно маячило в сыром тумане. Даже люди в этой прорве выглядели полыми и как бы навсегда отсыревшими.

Влад хлюпал сквозь это ненастье в сторону издательства в надежде узнать там что-нибудь о своей давно ожидаемой книжке, а может быть, и кое-что под нее получить. Поденная литературная жизнь давно стала для него тягостной повседневностью. Праздничный карнавал постепенно терял свои краски, тускнел, измочаливался. Куда, куда вы удалились, весны моей златые дни?

Издательство оказалось почти пустым и только Василий Ильич, его первый благодетель, сидел за своим столом с неизменной трубочкой во рту, но только без обычной раблезианской улыбки на толстых губах. Что-то в нем потухло, съежилось, стало бесцветным. Даже трубочка его дымила на этот раз без привычного паровозного воодушевления. На приветствие Влада он лишь кивнул, предлагая садиться.

— Как тут с книжкой у меня, Василий Ильич?
— Чувствуя неладное, Влад взял минорную ноту.
— Вроде, пора бы уже?

Нет, сначала он ничего не сказал ему, этот Василий Ильич Попов, он лишь посмотрел на него, но даже слепому стало бы ясно, что такого презренного человека здесь еще не видели и что лучше ему сейчас же уйти, вернее, обратиться отсюда, пока его не убили на месте. И только после этой красноречивой паузы Попов загробно протрубил:

— Какая книжка, товарищ!.. Сталин, вождь наш умер!

Попов пыхнул трубочкой, облачко дыма окутало его лицо и этим он как бы раз и навсегда отгородился от Влада, который тут же перестал для него существовать.

Выходя, Влад даже не мог определить своего отношения к внезапному известию. Его мало волновала фигура усатого генералиссимуса, возглавлявшего их государство. Тот находился на такой

почти заоблачной высоте, что воспринимался Владом, как нечто неподдающееся оценке. В эту минуту он не испытывал ничего, кроме безотчетного равнодушия. Судьба книжки трогала его сейчас куда определеннее.

На пороге издательства он столкнулся с Руммером, сильно навеселе, за спиной которого Влад разглядел высокого парня, лет тридцати, в поношенном, но модном реглане.

— Владька, чёрт, вот кого я всегда рад видеть! — Как обычно, в пьянстве тот был широк и радушен. — Знакомься, Серега, — обернулся он к спутнику. — Наша, можно сказать, надежда, поэт Самсонов. Будь она проклята, эта контора. Пойдемте-ка, гульнем по буфету, меня сегодня в газете отоварили...

Они вышли в слякоть, пересекли улицу и довольно уютно определились в отдельном кабинете самой знаменитой чебуречной города. Руммера, тем более Руммера гуляющего, здесь знали, а потому стол был оборудован почти мгновенно и по первому классу.

— Вот, Владик, — уже после первой тот пустился в высокий штиль, — смотри на этого человека и запоминай. Это, брат, такая личность, такая личность! Кладезь, можно сказать, источник! Не жизнь, а роман! Сам бы написал, только ведь, сукины дети, не напечатают!

Человек-роман походил на побитую жизнь, на гордую птицу, с печалью взирающую на опостылевший ей мир. Что-то в нем действительно было не от мира сего, этаким благородный ястреб, презревший суету.

— Да уж, пожил, — откликнулся гость лишь после третьей. Он пил, не закусывая, но почти не пьянел, только глаза у него печально и яростно стекленели. — Хотите байку под четвертую?

Вместо ответа все более радушный Руммер лишь приглашающе похлопал в ладоши.

Гость склонил гордо голову в знак благодарности.

БАЛЛАДА О ПРОДАННОМ ВЕРБЛЮДЕ

— Угораздило же меня, други, родиться сыном весьма ответственного деятеля с дореволюционным стажем. Да, да, того самого! С этого, наверное, и начались все мои несчастья. Рос я, сами понимаете, в оранжерейных условиях, в доме только птичьего молока не было, родители во мне души не чаяли, поэтому я с детства не привык отказывать себе ни в чем. Говорят, я был гениальным ребенком: недурно рисовал, сочинял стихи и даже пел на детских олимпиадах. Единственным, по мнению родителей, моим недостатком была лень. В скобках замечу, что до сих пор считаю ее, родимую, отпущенным мне свыше даром Божиим, который спас меня от соблазнов сомнительной карьеры и несправедливого обогащения за счет доверчивых налогоплательщиков. Сколько я себя помню, мне всегда ставили в пример моего старшего брата. Скромный, усидчивый мальчик средних способностей, он умилял окружающих трудолюбием и аккуратностью, благодаря которым он высидел себе серебряную медаль в школе и затем золотую, лауреатскую в документальном кинематографе. Теперь он купается в дерьме номенклатурной славы, стрижет купоны с лент о счастливой жизни туземцев в эпоху социализма, а ваш покорный слуга все еще пребывает в состоянии бедной, но благородной праздности. Когда моего уважаемого папашу низвергли с министерских высот и отправили с глаз долой, послем в одну пиренейскую

клоаку, он взял меня с собой. Но не доехав до места назначения, папаша мой не выдержал обиды своего должностного понижения и почил, как говорится, в Бозе в номере парижской гостиницы с надеждой хотя бы на почетные похороны. Надо отдать должное нашему правительству, оно не скупится на кремацию заслуженных революционных борцов: отец мой был отпет по первому разряду и похоронен в кремлевской стене.

После смерти отца мы с матерью несколько задержались в Париже, где нас и застала мировая война. Домой мы вернулись в сорок шестом году на волне эмигрантского патриотизма. Наверное, мы, как и большинство новоприбывших кроликов, отправилось бы по городам и весям родины с режимным ограничением в паспорте, если бы нас с братом не усыновил старинный друг отца, известный искусствовед, заведовавший в то время ломбардом передвижников, то-бишь Третьяковской галереей. Благоверный братец мой быстро приспособился к новой обстановке, шаркал ножкой, носил благодетелям на подпись дневник с пятерками, активно участвовал в общественной жизни, упорно карабкался по лестнице успеха к хлебным вершинам официального признания, а я, тем временем, пустился по иной стезе за другими радостями. На большой дороге богемной вольницы я вскоре накоротке сошелся с двумя мушкетерами подпольного искусства, бескорыстными жрецами муз и любителями насыщенно провести время. Где вы, золотые денечки моей бурной юности, розовая пора надежд и упований, весенний взлет пылкого воображения! Как мы жили тогда, как было хорошо нам втроем, какие перспективы манили нас в голубые дали! Пирры на Олимпе и Афинские ночи меркнут в сравнении с нашими резвыми игрищами на лужайке. Финансировал предприятие Эрик, са-

мый юный из нас, но уже хлебнувший домзака и фронта, гениальный скульптор — должен заметить, что в данном случае я не преувеличиваю: он доказал это на деле. Музыкальное сопровождение и культмассовый сектор обеспечивал Леша, автор известных вам теперь шедевров клубничного жанра «Отелло — мавр», «Он бил себя в белые груди», «На Кавказе росла алыча» и целого ряда других, не менее впечатляющих шлягеров. Мне доставалась интеллектуальная атмосфера, элегическое настроение, душевный разговор и так далее, в том же духе. Все вместе мы составляли такое идеальное трио, что ему могли бы позавидовать богатыри Васнецова, братья Раевские и сестры Федоровы. Но, к сожалению, гармония немислима в наше темное время, счастье недолговечно и фортуна неверна. Приемные родители встревожились моим будущим и забили в набат. В одно, как говорят, прекрасное утро Немезида в лице участкового и дворника взяла меня под белы ручки и отправила в юдоль алкоголиков на улице Радио для прохождения курса принудительной поправки и восстановления сил. Модное заведение, чистота и кафель, куриный бульон и задушевные лекции о вреде сивушного масла. Контингент — от сына Булганина до знаменитого летчика Водопьянова. Кажется, лежи себе, сало нагуливай, но я тосковал. О, как я тогда тосковал! По нашему маленькому, но почти кровному братству, по ночным бдениям с безотказными дивами Казанского вокзала, по словесному блюду в перерывах между занятиями. Они иногда прорывались ко мне, мои верные соратники и друзья. С великодушного благословения дежурной сестры, мы уединялись в укромном уголке и распивали пузырек-другой под черную корочку. Каждый из нас чувствовал, что славному содружеству нашему наступает конец, что мы стоим на

перекрестке трех дорог, где нам предстоит разойтись в разные стороны, и что жизнь двинулась под уклон, к своему пылающему закату. Печаль наша была светла, расставание коротко и немногословно. Хлопотами моего нового отца меня, с самыми высокими рекомендациями, спланировали в Ярославль для использования в местной печати — родня почему-то считала, что у меня выдающиеся публицистические способности. В древнем городе варяга из столицы встретили по первому разряду: шутка ли сказать — сын профессионального подпольщика и народного комиссара! Вожди аборигенов устроили в мою честь званый ужин, на котором вино лилось рекой, а закуска напоминала довоенную витрину Елисейского магазина. После своего вынужденного монашества на улице Радио я не смог выдержать такого соблазна и навалился на даровое угощение со всем пылом вчерашнего блокадника. И, разумеется, перешел черту дозволенного, съехал с резьбы, свинтился в вираж. Теперь мне лишь смутно мерещится, что в тот вечер со мною происходило. Кажется, я требовал водки, мне не давали, тогда я предложил им исполнить «Танец гномов», прекрасный танец, кстати сказать, и, по-моему, даже успел сделать первый пассаж, но меня не поняли, связали, а утром ваш покорный слуга очнулся в стерильной белизне больничной палаты, откуда вскоре был препровожден по месту жительства под конвоем двух дюжих санитаров. Родня билась в истерике. На семейном совете было решено отдать меня под моральную опеку старшего брата, уже блудившего к тому времени в отечественной документалистике. В тот год он как раз собирался снимать фильм о культурном расцвете диких племен Средней Азии после свержения ненавистного им ига баев-эксплуататоров и мулл-мракобесов. «Были сборы недолги», сказано — сде-

лано, через несколько дней экспресс Москва—Ашхабад уносил меня вместе с внушительной группой киноналетчиков в голубые дали экзотической глубинки. Должность у меня оказалась несложная, но ответственная: я был приставлен к переносной газовой плите, на которой, по мысли режиссера-постановщика, возрожденные к новой жизни кочевники, навсегда отказавшись от бедняцких костров, готовили себе пищу среди редких оазисов пустыни. В Ашхабаде киногруппа обзавелась внушительным стадом верблюдов, взятым в аренду у пригородного колхоза. Мне достался вполне сносный урод среднего возраста, но злой и надменный до крайности. Ума не приложу, чем я не понравился ему, но, презрительно глядя на меня, он постоянно и гнусно плевался. По утрам сонная киноватага тянулась в Каракумы, где в ближайшем стойбище их ожидала наскоро собранная массовка из местных тунеядцев, которые за тридцатку с охотой изображали мирных скотоводов, сидящих вокруг моей газовой плиты с пиалами и газетами в руках. На плите дымился котел с пловом, а в солнечном поднебесьи парил вольный орел. Эти пасторальные картинки должны были свидетельствовать широкому зрителю о зажиточной жизни обитателей песков, их тяге к знанию и удовлетворенном свободолюбии. Клюква получалась в лучших традициях незабвенного Дзиги Вертова, — не только отвечавшая всем требованиям отечественных стандартов, но и способная умилить прогрессивную общественность Запада. Я тоже не терял времени даром. Наладив дружеские связи с республиканской печатью, я поставлял туда прочувствованные заметки о трудовых буднях киноэкспедиции, что позволяло мне поддерживать привычный тонус жизни. Но бодяга наша затягивалась, знаете, как это бывает в кино, то свет не тот, то режиссер не в

духе, и вскоре спрос на мою публицистическую продукцию стал катастрофически падать; в моем бюджете образовалась зияющая дыра. О займах не могло быть и речи: занять у киношника рубль способен, пожалуй, только Вольф Мессинг или, на худой конец, Кио. Похмелье наваливалось на меня всей своей бредовой тяжестью, земля уходила из-под ног и зеленые черти затевали надо мной свои издевательские хороводы. Когда же я потерял сон и само существование стало мне неведомо, меня осенила простая, но тем не менее гениальная идея. Впрочем, все гениальные идеи потому и гениальны, что предельно просты — это аксиома. На следующее утро я, будто ненароком, проспал общий сбор и, в результате, отстал от каравана. Затем, устремляясь ему вдогонку, завернул на базар, где после жаркого, но плодотворного торга выменял своего изверга на такого же, хотя и чуть постарше, с солидной приплатой. Собственно, други, какая разница: два горба, грязный хвост, слюнявая челюсть, что тот, что этот, один чёрт! Кому, какому администратору придет в голову сверять их масти? К тому же, арендная плата капает колхозу независимо от возраста скотины. Сделка, казалось, никому не причинила ущерба, меня же она буквально спасала от неутолимой жажды. В отличие от верблюда, я не мог обходиться без соответствующей жидкости более суток. Опохмелившись в ближайшей забегаловке, с парой запасных бутылок в подмышке я пустился догонять товарищей по документальному несчастью. Но стоило мне пересечь городскую черту и углубиться в пески, как верблюд подо мной осел и стал заваливаться на бок, едва не придавив мне своей тяжестью ногу. Напрасно я ругался по-черному, напрасно пинал животное ногами, верблюд уже не поднялся. На моих глазах душа в нем расставалась с телом, бока

опадали, взор тускнел и отдалялся. Через минуту он затих окончательно. Вы жертвою пали, можно сказать, в борьбе роковой. Только тут я сообразил, что меня обманули. Объегорили подло, мелко, предательски. У кого на моем месте не опустились бы руки, но я человек долга, долг для меня превыше всего. Водрузив злополучную плиту на плечи, я двинулся через Каракумы, вдогонку за ушедшей группой. Это, доложу я вам, был поход! Что там Герой Советского Союза Алексей Маресьев, пусть он попробовал бы выжить в этом чёртовом пекле! В бедной моей голове цвели и раскалывались огненные шары, во рту и горле наждачно саднило, ноги медленно, но верно обутливались. В соленом мареве перед глазами я не различал ничего, кроме желто-белесого месива, пронизанного испепеляющим солнцем. Мне казалось тогда, что я заблудился и уже по крайней мере дважды прошел пустыню из конца в конец. Когда же до меня дошло, что самостоятельно мне из этой жарки не выбраться, я залег, отдав себя воле волн и судьбы. Не помню, сколько я пролежал вот так, запекаясь в песке, словно пирог в духовке, но, в конце концов, меня нашел специально прикрепленный к экспедиции погонщик, пустившийся на розыски оставшей скотины. Очнувшись, я увидел над собой раскосые азиатские глаза с неммым вопросом в них: «Где верблюд?» — «Сдох, — так же молча ответил я и кивнул себе за спину. — Там». Он без слов поднял меня и потащил в обратном направлении. При этом он зло и, по-моему, грязно лаялся. Оказалось, что мне удалось отойти от своего павшего товарища не более, чем на километр. За это время верблюд успел довольно заметно усохнуть и съежиться, мне его стало даже искренне жаль, этого незадачливого бедолагу пустыни. «Нет, — прицокнул языком азиат-погонщик, — это не тот.» Я мог

только беспомощно настаивать на своем. «Как, говорю, не тот, тот, говорю, какого же тебе еще нужно?» Тогда он поднял заднюю ногу покойника и я с прискорбием убедился, что обманут вдвойне. Мало того, что мне подсунули дохлятину взамен спесивого, но полноценного верблюда, но к тому же дохлятина эта оказалась верблюдницей.

Нет предела у человеческого коварства! Не слушая моих слабых оправданий, погонщик сел на песок и затрясся, запричитал, заплакал над остывшим телом бедной скотинки. Признаюсь, друзья, я никогда ни до этого, ни после не наблюдал более неподдельного горя. Так горюют только по очень близкому и дорогому существу, после которого жизнь становится пустой и бессмысленной, как закусь без выпивки. Я не мог этого выдержать, я вынул бутылку и покачал ею перед его глазами. Сначала он отрицательно мотал головой, но после долгих моих настояний все же откликнулся на зов, глотнул чуток, влага легла, как говорится, на кристалл, татаро-монгольский взор его подернулся благостной поволокой: душа пустила сок. Повеселел мой сын степей, мой соцбасмач, разлопотался, а потом и запел. Я, разумеется, подтянул ему, голоса наши слились в прелестный дуэт двух страждущих душ среди знойных просторов Азии в пригородных барханах Ашхабада. Это нас и спасло. Сплав восточной газели с разбойничьим «Из-за острова на стрежень» привлек внимание проходивших мимо туземцев, нас подобрали и к вечеру, вместе с газовой плитой, доставили в горотдел милиции, откуда утром меня вызволил директор фильма. Скандал получился грандиозный, хотели судить за хищение социалистической собственности, но, снисходя к заслугам старшего брата, ограничились исполнительным листом по месту работы. С тех пор, проклятый близкими и гонимый

судьбой, я меняю эти самые «места» как можно чаще, не желая, по принципиальным соображениям, расплачиваться за людскую подлость. Это же надо, всучить мне такую дрянь да еще другого пола! Пойду искать по белу свету, где оскорбленному есть чувству уголок!

Байку заезжего чудака Влад слушал вполуха, с болезненным в то же время любопытством всматриваясь в его лицо, движения, жесты. Впервые в жизни он видел перед собой русского человека «оттуда». Этот человек был «там», дышал «тем» воздухом, встречался с «теми» людьми! Гость казался ему сейчас посланцем других миров, гонцом из легенды, вестником иного измерения. Тень Грозного меня усновила!

— Вы жили «там»? — Он почти задыхался в жарком опалении вещего предчувствия. — И как же «там»?

Тот лишь вяло отмахнулся в ответ:

— Как везде, мой юный друг, как везде, тех же щей да пожиге влей, такое же дерьмо, только без крови. Не стоит разговора. Давайте-ка лучше по четвертой...

Четвертая прошла в соответствующем моменту молчании, после чего, Влад, пытаясь поправить свою оплошность, снова неуверенно подал голос:

— Сталин умер...

И снова ему пришлось пережить мучительное недоумение, но уже в другом роде. Оба собутыльника посмотрели на него с высокомерным сожалением, от которого он показался себе мелко напраказившим пацаном.

Гость, безлично усмехнувшись, обронил:

— Я сожалею, мой друг.

Руммер даже не соизволил откликнуться. Он лишь повернулся в сторону дверной шторы и зычно скомандовал:

— Еще бутылку!

Потом они еще долго пили, но все их последующее пьянство шло как бы раздельно: Влад был демонстративно выделен из компании, к нему почти не обращались, между двумя шел свой молчаливый непонятный ему разговор и от этого мужского бойкота на душе у него скребли тоскливые кошки. В этот вечер он впервые мертвецки упился.

И снился ему сон, будто летит он над огромным пустынным городом, испещренным сетью тесных улочек, и, сколько ни оглядывается, не видит этому городу ни конца, ни края. Уставая, он низвергается к земле, но какая-то грозная сила подхватывает его и вновь поднимает вверх. Так, взлетая и падая, он несется в тягостную неизвестность, пока добродушный хохоток Есьмана не прерывает этот полет:

— Подъем, Владька, похмеляться пора!..

11

В России каждый город — одна улица. Краснодар — в том же роде, особенно летом. Она называлась Красная. Влад любил эту улицу, ее пеструю, неизменно праздничную толпу, ее огни сквозь трепетную листву платанов, ее подвалы и забегаловки. Любил затеряться в людском потоке и наблюдать, как текуче меняется его расцветка и возраст. Часам к шести вечера серый цвет пожилого и командировочного люда растекался по смежным улицам и переулкам, уступая место радужной карусели юности, а после семи молодежь окончательно заливала Красную карнавальной яркостью до самой глубокой ночи.

Обычно Влад сходился около девяти с Есьманом. У первой же палатки они выпивали «адриа-

новки» — пятьдесят грамм водки, залитые подкрашенной газировкой, — и отправлялись на личную встречу с изобретателем этого коктейля Руммером в знакомую чебуречную. Тот уже ждал их там в отдельном кабинете или на общей веранде, в зависимости от кредитоспособности, всегда в окружении нескольких почитателей и собутыльников, со своим верным Санчо Пансо, бухгалтером издательства Сережей-безногим под рукой.

— Разве теперь едят! — трубил он, снисходительно обводя слушателей кроличьим оком. — Семка Бабаевский да Юрка Лаптев, тоже мне, классики! Вот тогда, в наше время, вокруг незабвенного Максима действительно была целая когорта художников. Лешка Толстой, какая силища, какая пластика! Ленька Леонов, Сашка Фадеев, Мишка Шолохов! Молодцы — один к одному! И сам Максим среди нас, как старый сокол в окружении соколят. Как это в песне поется: «а кругом летала соколят стая». Он научил нас самому главному в жизни советского писателя — социалистическому реализму. Социалистический реализм, друзья мои, это...

Старый циник Адриан, прошедший за свою пятидесятипятiletнюю жизнь такие огни, такие воды и медные трубы, что не было наверное на земле предмета, которому Руммер не знал настоящей цены, но он, таким образом, облегчая работу возможным стукачам, сам поставлял информацию о себе в соответствующие организации. Представляю, что думал он об этом самом соцреализме, когда всего через два года захлестывал вокруг шеи петлю в клозете собственной квартиры. Да простится, тебе, Адриан, добрая, но слабая душа!

Восторженный шёпот, подогретый предстоящей дармовщиной, сопровождал его пространные речи «на вынос»:

- Адриан — голова!
- Дар Божий, искра в человеке!
- Скажет, так скажет!
- Есть у человека, что вспомнить.
- Да уж — биография!
- Учись, пока он жив...

Получив свое, собутыльники разбредались, и, оставшись наедине с Владом и Есьманом, тот становился язвительным и печальным.

— Встретил сегодня утром Жорку Соколова, бежит, сукин сын, бутылки на Сенной сдавать. «Что, — говорю, — Жора, все суетишься?» А он мне: «Трудно пишется, — говорит, — Адриан, сегодня вот ночь только на пиве и продержался, полемизирую с Сартром». Каково, а, Боря! Сукин сын, пробы ставить негде, мать родную за пятак продаст, а коли уж полемизирует, то не меньше, чем с Сартром! Я чуть под себя от смеху не сходил. Нельзя жить, Боря, нельзя жить, в дерьме тонем!.. В самом вшивом городе, самый вшивый писака полемизирует с Сартром! О чем, спрашивается!

Ближе к полночи, освободившись от спектакля, появлялся Жора Завалов, разумеется, с новой девкой, подбрасывал бутылку-другую в их затухающую гульбу и пьянка возникала опять, теперь уже в разговорном сопровождении актера:

— Еле отыграл, ей-Богу, такая муть, такая муть, блевать хочется. — Жора одну за другой выпивал все причитающиеся ему «штрафные» и, войдя, как он выражался, в форму, картинно откидывался на спинку стула. — Что же это вы, товарищи писатели, держите нас на голодном пайке дешевки? Где настоящее искусство? Где драмы, где трагедии, комедии, на худой конец? Сплошная жвачка, хоть не играй...

Этот тоже работал «на вынос», с тою лишь разницей, что для девки, с которой он явился. Бво-

дил ее, так сказать, в «общество», «показывал класс». Когда же явь принималась двоиться у них перед глазами, а слезы тоски и умиления подкатывали к горлу, Руммер вдруг ни с того, ни с сего запевал:

— «Собирались казаченьки...»

В его исполнении этот любимый персональными пенсионерами соцшлягер звучал так издевательски и зло, что Есьман сразу заливался, захлебывался от удовольствия беззвучным смехом, а Жора восхищенно разводил руками:

— Ну, знаешь, старик...

Это был знак, сигнал, труба. Перед их столиком мгновенно вырастал мэтр и умоляюще складывал руки на груди:

— Товарищ Руммер!.. Адриан Васильич, будьте великодушны, закрываем уже!.. Товарищ Завалов, будьте так добры! — Искательный блеск в глазах прожженного эковца, знавшего цену подобным шуткам, отсвечивался мольбою и страхом. — Милости просим завтра...

Они расходились тут же, на углу, каждый в свою сторону, чтобы встретиться завтра опять и начать все сначала.

В провинции город — одна улица.

12

Дело с его книжкой неожиданно застопорилось. Еще тогда, в марте, после разговора с Поповым, он почувствовал, что отношение к нему медленно, но верно изменяется к худшему. В редакциях местных газет от прошлого радушия не осталось и следа. С ним разговаривали ворчливо и холодно, словно с надоедливый графоманом, который мешает работать. В издательстве почти все смотрели

сквозь него и лишь безногий Сережа, боязливо оглядываясь, неуверенно успокаивал:

— Пережди, старик, пережди, наладится. Сейчас полоса такая, в очередной перекосясь бросились...

Но жить становилось с каждым днем труднее, Влад задолжал всем, включая квартирную хозяйку, которая, при всей своей доброте, нет-нет да напоминала ему об этом. Наступающий кризис толкнул его навстречу опасности. Решив разрубить узел одним ударом, он сам явился пред грозные очи партийного босса, ведавшего пропагандой. Тот принял Влада, и, даже не предложив ему сесть, процедил сквозь зубы:

— Ну?

С первых же своих слов Влад увидел, почувствовал, понял, что напрасно горячится, зря тратит пыл, пытаясь пробиться к начальственному сознанию, тот не слышит его, занятый росписью узоров в настольном блокноте. Этот кретин, кандидат философии, произносивший публично «либерти» вместо «либретто» и называвший Эйфелеву башню «эйфеоловой», не считал для себя нужным даже слушать его! Может быть, именно с того момента брезгливая неприязнь к этой породе сделалась в нем почти биологической. Прощай их, мой друг, только если каются. Только — если!

— Вот что, — снова процедил тот, когда Влад, наконец, умолк, — возвращайся в колхоз и работай, мы не препятствуем, здесь тебе делать больше нечего. — Чин глядел поверх его головы, словно отдавал указания целому пространству, а не отдельному человеку. — Все. Иди.

В одно мгновение все, что глубоко таилось в нем — нелепая гибель отца и голод, побег и побои, пересылки и лагеря — собралось в фокус этого корявого, в мелкой ряби лица. Нет, я скажу тебе все, будь ты проклят!

— Мразь, — напрягаясь, словно перед прыжком в пропасть, внятно отчеканил Влад, и повторил: — Мразь.

— Что-о!

— Ты — мразь.

Влад повернулся и вышел, ожидая, что его остановят, свяжут, отправят в соответствующее место, но позади было тихо и он беспрепятственно вышел на улицу. Видно, шок неожиданности оказался сильнее хозяйского гнева.

Теперь-то Влад с горечью должен был признаться себе, что был им нужен только в качестве идеологической изюмины для отчетных докладов. Как самостоятельная единица он в их расчетах не присутствовал, не существовал, не имел места. И это было оскорбительнее всего.

Влад опамятовался лишь на улице, столкнувшись около горпарка лицом к лицу с Парфеньчем. Тот смущенно разглядывал его искательными глазами, неуклюже топтался на месте, приговаривал:

— Вот не ждал, не гадал!.. Надо же!.. Слышать — слышал, а чтоб встретить, не думал. Совсем другой коленкор, одно слово — начальник. Это ты молодец, это ты правильно... Ребята все вспоминают. — Он, словно вдруг догадавшись, чем обрадовать Влада, засиял небритым лицом. — Витек-то наш, в МТС теперь, заправщиком. Женился, да! Баба уже на сносях, хорошая девка, из иногородних. Привет передам, рад будет. — И тут же заспешил, заторопился, как бы страшась этого общего их воспоминания. — Ну, давай пять, может, теперь и не увидимся больше!

Конечно, они не увиделись больше, но, провожая Парфеньгча взглядом, он поймал себя на мысли, что никогда не сможет простить мастера за ту, памятную им обоим ночь.

Если б ты знал, Парфеньгч, какую казнь он придумает тебе потом на бумаге, хотя позже и раскается в этом. Нет в мире виноватых, есть только грех и раскаяние!

Дома его ждал очередной сюрприз. И тоже не из приятных. Едва он приблизился к воротам, как от них отделилась и пошла к нему навстречу совсем уже неожиданная гостья — Надя.

— Здравствуй, — искательно коснулась она его. — Вот, проведать тебя решила. — И сразу начала оправдываться. — Мы здесь с колхозной капустой, я ж теперь в конторе, в снабжении.

— Как Татьяна?

— Ой, знаешь! — Она явно обрадовалась его вопросу. — Такая сообразительная растет, вся в тебя. Лопочет уже, «мама», «папа», «баба» говорит, ходить помаленьку стала. За табуретку схватится — не оторвешь. Или вот вчера...

Она что-то робко еще лепетала, а Влада вдруг обожгла, на минуту согрела простая, как падение в пустоту, мысль: «Может быть, это и есть твоя судьба? А почему бы и нет? Жить, растить детей, устроиться, как все, не выделяться, не мочь и даже не хотеть!» Но он тут же отбросил ее: нет, нет, только не туда, не в этот ад, где презрение и ненависть сопровождает чужака на каждом шагу!

— Что там у вас говорят?

— Всякое, — неопределенно взмахнула она ладошкой. — Язык, сам знаешь, без костей.

— А все-таки?

— Смеются. — Надежда вдруг беззвучно заплакала. — Надо мной смеются. А я что, я ничего, мне и того, что было, хватит, мне на тебя обижаться грех. Только разве людям рот заткнешь.

Нет, Надя, не пропала ты, не сгинула! С веселой наглостью заявишься ты к нему через пят-

надцать лет, чтобы похвалиться перед ним фотографиями нового дома, нового мужа, нового ребенка. Торговка победит в тебе женщину, и ты будешь жадно красть все, что попадет под руку казенного, не отставая от других и не печалуясь о своей девичьей блажи. Каждому свое! Но те твои слезы, в тот зябкий вечер, на темной улице в Краснодаре мне все равно никогда не простятся!

Влад проводил ее до гостиницы и, расставаясь, она порывисто схватила его ладонь, прижала к своей холодной щеке и тут же отпустила:

— Может, заедешь как-нибудь Танюшку поглядеть?

— Может быть, — вяло согласился он, заранее зная, что не заедет и что видятся они в этих местах в последний раз. — Пожалуй.

— До свидания, Владик...

— Да, да... Пока.

Проводив ее, Влад по привычке направился было в сторону дома на углу Сенной и Орджоникидзе, но вовремя спохватился: зло, причиненное им жене, возвращалось к нему. С той, другой, он виделся теперь редко и чаще всего тайком. В последнее время она словно бы стеснялась его, стараясь не попадаться вместе с ним на глаза знакомым. Унижение, которое он при этом испытывал, постепенно разрушало его уверенность в себе, его цели и планы. Но даже сознавая, что конец близок и неминуем, он все еще цеплялся за всякое ее слово, полуулыбку, жест, в слабой надежде вернуть минувшее, короткую весну, праздник, который давно прошел. Не проси жалости у женщины, она живет в ином мире!

Вместе с первым снегом грянул, как говорится, гром. Ранним утром, в дом, где Влад квартировал, ворвался взволнованный до крайности Есьман со свежей газетой в трясущихся руках.

— Читай. — Отчеркнув острым ногтем место в «подвале» на третьей странице, он протянул ее Владу. — Началось!

В статье «За идейный уровень и художественное мастерство» ему посвящался небольшой, но прочувствованный абзац: «Ранняя профессионализация не приводит в конечном счете ни к чему хорошему. Весьма обнадеживающе заявивший о себе ранее молодой поэт-колхозник Влад Самсонов из станицы Пластуновской, бросив семью и работу, ведет божественный образ жизни, обивая пороги редакций со стихами, оставляющими желать много лучшего». Некоторая корявость изложения искупалась здесь предельной ясностью выводов. Пошел вон, это называется.

Влад предчувствовал, ожидал, даже знал наверняка, что разговор с начальством не пройдет ему даром и что день возмездия близок, но, когда это вдруг случилось, он растерялся. В городишке вроде Краснодара такие статейки подводили черту под биографией человека. Круг замкнулся.

Много позднее, среди хулы и ругательств куда большего масштаба, он скептически посмеется над своими тогдашними страхами, но в то утро, наедине с Есьманом, ему было не до смеха. Его бесцеремонно загоняли в угол, лишив при этом возможности сопротивляться, потому что противник оказался безлик и невидим, а стена позади призрачна и неверна. Ему не предлагалось даже капитуляции...

Вас бы мне в те поры рядом, Андрей Дмитриевич, дорогой товарищ Сахаров, но до этого еще идти и идти!..

— Что ты думаешь делать? — Горбун с тревогой следил за его лихорадочным одеванием. — Куда пойдешь?

— Еще не знаю.

— Не наломай дров.

— Постараюсь.

— Пойдем вместе?

— Это зачем?

— Веселее...

— А как же насчет «гигиены души»?

— Смотри...

Есьман еще неуверенно, словно ожидая, что Влад передумает, потоптался у порога, но тому в эту минуту было не до его тревог и сочувствия, и он, убедившись в этом, бесшумно исчез за дверью.

Требовалось одуматься, прийти в себя, справиться с мыслями, чтобы принять необходимое решение. Влад без цели и направления кружил по городским окраинам, инстинктивно сторонился центра, боясь встретить кого-нибудь из знакомых. Это было бы сейчас для Влада нестерпимее всего. Но увернуться от такой встречи ему все же не удалось.

Из полутьмы винного погреба на самой окраине перед ним вдруг выделился Жора Завалов, уже вполпьяна.

— Герою дня, наше вам с кисточкой! — Тот бросился к нему с распростертыми объятиями. — Чего смурной такой! — Он уже знал обо всем. — Плюнь и разотри. Меня, помню, в Ростове так расчихвостили, что будь здоров. Делов куча! На всякий чих не наздравствуешься, всем мудакам не угодишь. Пойдем-ка лучше со мной. У нас нын-

че «Сирано», премьерная бодяга, значит, гульба будет. Выпьем, девочек возьмем, «тяни-толкая» устроим, а! Кстати, посмотришь, каков я «Сирано». Маэстро, за мной!

Владу вдруг стало все безразлично: в театр, так в театр, плевать ему на всех с высокой колокольни; Бог не выдаст — свинья не съест! Глядишь, эта маленькая разрядка отвлечет его, поможет ему рассеяться, обрести равновесие.

Тот слегка (все-таки спектакль!) покуролесил еще по значным местам, таская Влада за собой и потчuya его варварским набором от мускателя до пива включительно, пока они добрались до театра, где актер заметно отрезвел и подобрался:

— Ну, пожелай мне, а я пошлю тебя к черту, глядишь, у тебя рука счастливая... Господи, благослови!..

Влад, хоть и сам, в известной, конечно, степени, занимался театром, любил сцену, знал кое-какие нехитрые ее секреты, но так, до седых волос, и не смог постичь тайну этого преобразования. Еще полчаса тому назад, казалось свинцово пьяный, актер задышался на подмостках от безответной любви и язвительной ярости, заставляя зал задышаться и мучиться вместе с ним. Черт бы тебя побрал, Завалов! И храни тебя Бог!

Но Влад еще не знал, какой удар ждет его впереди. Когда занавес медленно сошелся и вслед за финалом обрушились аплодисменты, он, сидя в глубине ложи, непроизвольно обвел взглядом гремящие овациями ряды и вдруг замер и помертвел, а сердце обморочно устремилось в бездну: на противоположной стороне партера, в третьем ряду, касаясь плечом знакомого ему красавца, которого он впервые увидел с ней тогда, в ресторане, стояла она, и глаза ее, обращенные к спутнику снизу вверх, сияли радостью и счастливым томлением, а

тот в свою очередь обдавал ее сверху снисходительной удовлетворенностью. Боже, Боже мой, спаси меня от безумия, спаси!

С горьким комком в горле, полузадохшийся от обиды и слез, Влад бросился на выход. В ночь, в ночь, в ночь! Он не видел впереди себя ничего, кроме радужного кружева в полной темноте. Кто-то окликал его, звал, но он, не оборачиваясь, падал в темноту и этот горестный полет в нем уже невозможно было остановить. Явь сговорила против него. Его добивали, как добивают в трудном пути безнадежно больных или раненых. Ляля, Ляля, зачем же ты меня так?

Молчанье.

14

Отчаянье несло Влада сквозь поздний вечер глубокой осени вокруг квартала, где на углу Сенной и Орджоникидзе стоял одноэтажный, красного кирпича дом, в котором она жила. Влад и сам не смог бы дать себе отчета, на что он надеялся, почему уверил себя, что она выйдет? Одно лишь наитие диктовало ему это почти бессмысленное ожидание: она должна, она обязана была выйти! Владу казалось, что нестерпимое жжение, испепелявшее его изнутри, не могло не передаться ей сейчас, иначе на земле просто нет справедливости! У него было такое ощущение, будто он ходит по краю пропасти с единственным светящимся в глубине пятном — четким проемом ее окна. Загляни в бездну!

Много воды утечет в блистающих вечностью реках времени, прежде чем Влад поймет простейшую из мужских истин: не гонись за уходящей женщиной — не догонишь. Ты становишься ее

тенью, она уже не видит тебя. Ты в синий плащ печально завернулась...

Горчичное зерно его веры вознаградило Влада. Чудо случилось. Она вышла. Не здороваясь и глядя в сторону, сказала:

— Я разговаривала с твоей женой. — Ляля подчеркнула последнее слово, как бы раз и навсегда определяя степень и дистанцию их взаимоотношений. — Тебе надо вернуться к семье, Владик.

— Но ты же знаешь! — то ли прокричал, то ли прохрипел он. — Ты же все знаешь!

— У тебя дочь, Владик, — она словно не слышала его, — ты обязан позаботиться о ней. И вообще тебе следовало бы на время уехать отсюда, пусть все уляжется.

— О чем ты говоришь, Ляля! — Он уже почти не слышал себя, только шум в ушах и яростное биение сердца. — Подумай, подумай, Ляля, о чем ты говоришь?

— Мне больше нечего тебе сказать. — Она повернулась, свет от ближайшего окна скользнул по ее напряженному, матовой белизны профилю. — Не провожай меня.

— Ляля!

Жизнь выветривалась из него под стук ее каблучков, затихающий в темноте.

— Ляля!

Это была уже мольба, вопль о подаении, зов к пощаде и состраданию, но она не откликнулась, не услышала, не снизошла. «И вспомнил я тебя пред аналоем, и звал тебя, как молодость свою!»

Ноги сами понесли Влада туда, к Жоре, в актерское общежитие, в беспробудное забытие пьяного угара. К этому времени там уже шел дым коромыслом и он с естественной незаметностью втек в игрушечное море этого разгула, тут же,

после первого стакана растворившись в нем, словно соль в щелочи. «К нам приехал, к нам приехал, к нам приехал Влад Алексеич, дорогой!»

И пошло, поехало. Провинциальный карнавал бесперывной попойки смешал перед ним лица, тела, одежды. Люди входили и выходили, словно сменяя возле него какой-то обязательный караул. Раздевались женщины и, погасив свет, снова куда-то исчезали. Завалов пел «Невечернюю» и плакал при этом, лез целоваться и снова пел. В редкие минуты полного забытья Влад, как и тогда в Игарке, вдруг слышал голос:

— Тебе хорошо?

— Нет.

— Тогда зачем все это?

— Что же мне делать?

— Встать и пойти.

— Куда?

— Я укажу...

Тьма вновь взрывалась перед глазами. В ошеломленном хлынувшим светом кругу продолжался безумный бал исступленной гульбы, в которой он опять оказывался званым гостем и все повторялось сначала. Явь вокруг смеялась и плакала под мятлый огурец и дешевую селедку. Купеческий фарс разыгрывался в убогих пределах копеечной актерской полочки.

Под занавес этой пьянки Влад наконец рухнул в окончательное беспамятство и более уже не поднялся. Жуткая лента делирия раскручивалась в нем с капризной непоследовательностью и быстротой. Смотри, мальчик, смотри, чтоб неповадно было!

Из разрозненных частей бредовых видений перед ним складывался облик безлюдного города: черные провалы сквозных или крест-накрест забитых окон, зияющие бездны дверей и проходов,

глухие тупики, из которых не было выхода. Он продирался сквозь это мертвое царство по густой и вязкой грязи, преодолевая всяческие колдобины, падая и поднимаясь вновь, в горячечном поиске хотя бы одной живой души. Но вокруг возвышались лишь безлюдные дома, постройки без дверных и оконных проемов, глухие стены с бойницами на угловых стыках. И среди этого полого распада — ни души. Как мне страшно, Господи! Потом ему показалось — о чудо! — что до боли знакомый абрис замаячил в далеком окне, он, задыхаясь, бросился туда, но тень лица исчезла, оставшись лишь обманом зрения. «Господи, — немо воззвал он, падая в спасительную темноту собственной слепоты, в бездну жаркого пробуждения, — спаси меня!»

Этот бред из года в год будет преследовать Влада всякий раз, когда тяжкое похмелье начнет бесовствовать в его падшей душе, пытаюсь сломать ее, обратить в прах и тлен растительного существования. Но Неоскудевающая Рука не оставит слабого раба и вновь и вновь одарит его возрождающей силой. Не взываю к справедливости Господа, ибо, если бы Он был справедлив, я давно заслуживаю кары!..

Когда Влад, наконец, очнулся, он увидел над собой тревожное лицо Есьмана и чуть не заплакал от знойного прилива благодарности. Горбун лишь смущенно замахал короткими ручками:

— Вставай, Владька, хватит, пей — не пей, всего вина не выпьешь, другим тоже оставить надо. — Тот уже по-мужски неловко помогал ему одеваться. — Пошли ко мне, у меня отоспишься.

Идя сквозь запорошенный снегом город, Влад уже принял решение, которое, как он во всяком случае полагал, должно было круто и окончательно изменить его жизнь. «В Москву! — ожесточен-

но скандировал он по дороге. — В Москву, в Москву, в Москву!»

15

Такая зима считалась редкостью в здешних местах. Уже в ноябре ударили морозы, а с января почти непрерывно метелило. В город Влад почти не выходил, отсиживаясь в логове Есьмана. Цельными днями он единоборствовал со стареньким приемником хозяина в тщетной попытке выудить из завывания глушилок хоть какую-то осмысленную речь. Иной раз, правда, прорывалось слово-другое, но связать их во что-либо цельное было невозможно, и ему вскоре прискучило это занятие. Книг Борис не держал по принципу «все равно растащат», и поэтому, оставаясь наедине с самим собой, Влад волей-неволей возвращался к невеселым думам о ней — Ляле. Он понимал теперь, что иначе и не могло получиться, ему нечего было предложить ей, кроме полной неизвестности впереди. При всем при том она встала перед выбором, и сейчас, в трезвую минуту, он, положив руку на сердце, честно признавался себе, что сравнение оказалось не в его пользу. Но, к сожалению, от этого ему не становилось легче. Учитесь властвовать собой!

Вести Есьман приносил ему одну другой неутешительнее. В молодежной газете поговаривали о возможности фельетона, издательство окончательно решило разорвать с ним договор, а крайкомовский босс по пропаганде в отчетном докладе на идеологическом совещании и вовсе назвал его «темной личностью». О Ляле горбун деликатно умалчивал.

— Такие дела, старик. — В его сочувствии сквозила неподдельная искренность, — но ты не тушуйся. Перемелется — мука будет. Знаю я этих номенклатурных дерьмоедов: покричат, покричат, а там, глядишь, другая кампания подвернется, не до тебя станет. — Но, видно, зная, чувствуя, что не это скребет друга, подбадривал: — Еще не все потеряно, Владька, еще не все потеряно...

Эх, Боря, Боря, святая душа, уж кто-кто, а ты-то прекрасно ведал, что у него не оставалось шансов, что ничего уже нельзя исправить и что потеряно действительно все, но по природе своей тебе невмоготу оказалось быть в эту минуту великодушно жестокосердым. Прими же его реквием тебе, Боря Есьман, — мастер, так и не увидевший собственной звонницы!

Время от времени забегал Завалов, как всегда с бутылкой в кармане и с очередной пассией. Шумно вваливался, грохал бутылку на стол и сразу лез целоваться взасос:

— Владька, друг! — Перегар его был густ и устойчив, как плесень в старом подвале. — В гробу мы их видали в белых тапочках, тараканьи бега! Плюй на все и береги свое здоровье! Давай по маленькой, по маленькой, чем поят лошадей!

Затем он пел, зная эту застарелую слабость Влада, старинные романсы. Дребезжащий и пропитой, но, тем не менее, приятный тенорок Жоры наполнял комнату иллюзией временного умиротворения. Влад и впрямь успокаивался, но стоило тому замолчать, как удушливая тоска вновь подступала к его горлу и он, не стесняясь посторонними, грубо выпроваживал актера:

— Проваливай, Жора, надоело!

Понимающе подмигнув спутнице, тот безропотно исчезал, чтобы через неделю заявиться вновь, с тем же реквизитом и речами...

А зима в городе свирепствовала вовсю. Стекланный купол над потолком комнаты затвердел в цепко смерзшемся снегу. От редких гостей исходило дыхание устойчивой стужи. Мысль о броске в Москву не покидала Влада, но денег не было и занять их не было никакой возможности. Будь потеплее, он решился бы и, по старой бродяжьей привычке, двинул «зайцем», да в такую стынь куда высунешься? Тем более, что в столице, наверно, было еще хуже, а прибежищем там не светило. О том, чтобы заявиться к своим, не могло быть и речи: он посмел бы это сделать только «со щитом». Сокольники не увидят его побежденным!

Колебания Влада кончились, когда однажды Есьман вернулся домой еще скорбленней и мрачнее обычного.

— Знаешь, — тяжело опустился он на краешек кровати, — они отказали мне в заказах. — Влад впервые видел друга таким растерянным. — Черт с ними! — Тот на мгновение загорелся. — Будем бедовать вдвоем, авось вытянем зиму!

Нет, этого уже Влад никак не мог допустить. Все его движимое и недвижимое было на нем. Оставалось лишь упаковать во что-то груды стихов, что они и сделали общими усилиями, используя для этой цели старые газеты. Борис — не совсем, правда, уверенно — еще пытался уговаривать его, но он пресек нравственные вибрирования художника у самого корня:

— Нет, Боренька, нет, — в нем медленно закипала мстительная решимость, — мы еще посмотрим кто — кого? Еще не вечер, господа, еще не вечер! Галло-представление только начинается! Пошли.

Мороз на улице оказался явно не по его легонькому демисезону и кепочке-букле. С нелепым, туго перевязанным бечевкой свертком подмышкой Влад сразу почувствовал себя игаркским пижоном поневоле, третьеразрядным актером на случайной гастрولي в северной глубинке, эдакой стрекозой, легкомысленно пропевшей все лето, вместо того, чтобы, подобно трудолюбивому муравью, хорошенько утеплиться на зиму. Лето красное пропела!

Разумеется, они не выдержали ностальгического искушения и, не доходя до вокзала, спустились в тот же самый подвальчик, где впервые близко сошлись и выпили свою первую бутылку. Ни один из них даже не подозревал, не мог представить себе, что этот их разговор в табачном дыму и гомоне будет последним, что они больше никогда не встретятся и что им придется выпить в тот день свое последнее вино вместе.

— Ты прости, Владик, я тут наскреб тебе самую малость. — Деловую часть горбун спешил закончить еще перед выпивкой, отсчитав и придвинув к нему несколько замусоленных пятерок. — Возьмешь билет до Тихорецкой, а там видно будет, авось не ссадят, так и доедешь. Здесь и езды-то сутки всего. Ну, давай, Владик, за тебя, попутного, как говорят, ветра! — Чуть захмелев, Борис по обыкновению ожил, заискрился, стал легким и напористым. — Помнишь, Владик, я тебе про Мастера байку травил? По совести тебе скажу, я бы тоже согласился умереть, лишь бы увидеть этот самый свой пик, но мне этого не дано, я уже разменял себя на газетную дешевку и картинки для выставкома. Что называется: закройте занавес, комедия окончена! Я прожил жизнь, Владик, а тебе двадцать три. Не повторяй моего пути, у тебя в запасе почти вечность и не бойся начать

все сначала. Пикассо в твоём возрасте на газетах спал, Уитмен чуть не побирался, Сервантеса по долговым тюрьмам гоняли, не бойся начать все сначала! Я верю в тебя, Владик, твой храм у тебя впереди, только не сломайся по дороге, не согнись, не спейся и ты увидишь свой пик и погибнешь, ибо это закон: увидевший погибает. Но зато, как славно ты умрешь! Не бойся смерти, умереть — это очень просто, бойся забвения и лжи...

Разгоряченные выпитым и разговором, друзья уже не замечали холода по пути к вокзалу, где Влад взял-таки билет на проходящий поезд до Тихорецкой. Перед посадкой сила, куда большая, чем простая традиция, толкнула их друг к другу и тихий ангел замкнул их на миг в одну единую сущность, где уже все было неразрывно: мысль, дыхание, дух.

— Мы еще увидимся, Боря, вот помяни мое слово...

— Дай тебе Бог, Владик, — безнадежно, словно чувствуя свою скорую гибель, тихо отозвался тот, — дай тебе Бог!

Господи, Боря, что же мы делаем с собой, что же мы делаем и кто в этом виноват!

Влад по старой памяти забрался на верхотуру к отопительной трубе и до самого Ростова никто так и не потревожил его зыбкие сны. Но затем проводник, подслеповатый мужичонка в стеганой безрукавке, все же перехватил его по пути в туалет:

— Постой, постой, парень, чтой-то, помнится, ты до Тихорецкой собирался? Точно, так ты у меня в списке и отмечен. Тихорецкая эта вона где осталась!

На этот раз обычная откровенность Влада подвела его. Мужичонка послушал, послушал, поморгал близорукими глазками, язвительно прервал:

— Из газеты, говоришь, турнули? Заметки, значит, всякие печатал, в командирах, можно сказать, ходил, а теперича зайцем норовишь за казенный счет до самой Москвы доехать? Я человек хоть и незлой, да подневольный, мне за тебя ревизор такой актик подошьет, что потом год не отплюешь-ся. Так что довезти я тебя довезу, только уж будь добр, в тамбуре, не иначе. Можешь даже топку занять, там чуток теплее.

Он явно издевался над ним, этот проводник. В такую стужу проехать в тамбуре до Москвы смог бы разве что белый медведь, но, видимо, у путейского мужичонки имелись свои счета с начальством, а у Влада не было выбора, и, прихватив свой газетный сверток, он перебрался в топку, где его с одной стороны жгуче припекало, с другой же — все немело от холода.

Но, как оказалось, Влад еще плохо знал великий русский народ, в котором много чего намешано, святости и дерьма тут почти поровну, проводник не ограничил свою тароватую на выдумки душу. Время от времени он водил в тамбур преимущественно хмельных пассажиров и, широко раскрыв створки топки, показывал им Влада в качестве аттракциона:

— В газете работал, — экскурсовод из него получился бы первостатейный, — турнули. Теперичи в Москву, на верха, подался, правду искать. Вишь, сколько бумаг всяких собрал, видать, всех пересаждает, такой человек!

О, как он ненавидел тогда, прости ему Господи, как он ненавидел! Ему казалось, что все обрушивается, обгорает в нем от пыточной ненависти. В эти минуты он понимал, как живой, из плоти и крови, человек может бестрепетно нажимать гашетки. Сколько очередей он мысленно выпустил тогда по этой ухмыляющейся пьяни и душа его

почти слилась с Тьмой! Грешен и в этом он, грешен...

Где-то за Харьковом в тамбуре появился новый «заяц» — приземистый мальч в телогрейке, с матерчатой, типично лагерной шапкой на стриженной голове. Он сунулся сначала к Владу, но уместиться там вдвоем было невозможно. Тогда Влад из солидарности вышел к нему и весь остаток пути, в семьсот с лишним километров, они провели, поочередно меняясь местами.

Мальч оказался разговорчивым и не умолкал почти ни на минуту, поведав спутнику свою нехитрую одиссею:

— Освободился, понимаешь, со сто первым километром в паспорте, нигде не берут. Канаю* теперь в ГУЛаг**, пускай сами трудоустраивают, а то мотаюсь по Союзу, как дерьмо в проруби. Я ведь детдомовский, деваться все равно некуда. Попал по Указу, десять и пять поражения, вышел по амнистии, иди, куда хочешь, только везде кусается. Глянут в ксиву***, и сразу в шею, своих, мол, хватает. Наши отцы кровь проливали, а мы с тобой девятый хер без соли досасываем... Хавать хочешь?****

Мальч вынул из кармана промерзший кусок сала величиной с пол-ладони, весь в прилипшей к нему промасленной бумаге.

— Ножка нету? Тогда кусай первый, у меня тоже нету, а я не безгливый.

— Я тоже...

По очереди они рвали зубами это старое, в красных прожилках, сало и дух барачного братст-

* Канаю — еду, иду (жарг.).

** ГУЛаг — Главное управление лагерей.

*** Ксива — документ (жарг.).

**** Хавать — есть (жарг.).

ва витал над ними в виде пара от их собственного дыхания. Пополоам, пополоам, пополоам! Где ты теперь, тот мой давний, но памятный спутник?

В отогретом глазке стекла Москва возникла сразу: громадная, затаенная, в инее и тумане, с белыми шпилями редких высоток. Сердце в нем замерло и сразу же взмыло к горлу: ну, теперь-то, теперь-то я завоюю тебя или нет, моя вечная крепость, мой заколдованный замок, мои любовь и проклятье? Сокольники!

16

«Иерусалим, 11. 3. 72. Здравствуй, родной наш Владенька! Мы пишем, пишем, а из Москвы нет абсолютно ничего. Как ты живешь, что делаешь, как твои дела, как настроение? Мы здесь столько о тебе думаем, очень беспокоимся. Ничего утешительного из Москвы не слышно, ни по радио, ни в газетах. Напиши нам хоть немножко о себе. У нас пока все идет нормально. Очень интенсивно занимаемся языком. Юрка очень бегло объясняется, правда, с ошибками, но его поправляют и понимают. У меня тоже с языком пошло лучше. Недавно мы с Юрой разговаривали с одним представителем о перспективах работы. Возможно, что после окончания этого ульпана, в июне-июле, мне удастся попасть на шестимесячные курсы языка специально для учителей математики, физики и химии. Это было бы очень хорошо. Я хотя и передала свои документы в университет, но надежды очень мало, слишком высоки требования, причем больше формального порядка.

Я уже писала тебе, что получили некоторые письма из Европы, в том числе от Георгия Евгеньевича. Он проявил большую заботу о нас. Пригла-

шает нас в гости. Это слишком дорого и рано для нас, хотя и очень хочется. Но я надеюсь, что если мы будем работать, то это нам удастся сделать. Мы думаем, что скоро ты получишь первый привет от нас, от бабули. Кстати, вчера я с бабушкой очень серьезно говорила, буду еще говорить, что называется, расставляя точки над «i». Нечего ей так переживать и терзать себя. Будет совсем невмоготу — что-нибудь придумаем. Вообще, здесь многое очень сложно и трудно, пустячный вопрос становится проблемой. Но у Юры уже, кажется, прошел кризис. Он стал спокойнее и свободнее. Вот пока и все.

Пиши нам. Передавай всем, всем приветы. Лешка по тебе скучает, часто вспоминает тебя. Обнимаю тебя крепко, крепко, целуем, помним всегда. Будь здоров, береги себя. Скоро еще напишу. Еще раз целую. Катька».

Вот и все. Последняя страничка прошелестела в моих руках. Цепь вроде бы случайных, но Божественно взаимосвязанных событий, составляющих жизнь, обрывается в зияющей пустоте. Ты не знаешь, не можешь знать, что станется с тобою через день, час, минуту, мгновение, куда и во что истечет, обратится твоя судьба, но что бы там ни случилось, мы — Ты и Я — уже не делимы друг от друга, связанные кровным родством одной памяти. Я похоронил себя в тебе и мысленно отошел в сторону, глядя, как ты продолжаешь карабкаться вверх по своей Голгофе с сизифовым камнем Надежды на согбенных плечах. Когда и где он кончится, этот твой путь? И чем он кончится?

Где, за какой тьмой и какими верстами прячется его Кащей, с которым ему суждено сразиться, чтобы отвоевать свое право на Жизнь и Царевну? Помоги ему, Господи, помоги!

Горькая жажда расплаты за так и не разгаданную вину, которую ты лелеешь в себе, оседает на твоих затвердевших губах, крик раскаянья яростной немотой жжет тебе горло и, расставаясь с тобою сейчас, я дарю тебе долгожданное отпущение, больше мне нечего тебе подарить. Ты расплатился! Слышишь меня, ты расплатился за все и за всех до седьмого колена! За тобою нет больше никакой вины или же Милосердие оставило землю и ангелы Любви отлетели от нее прочь, покинув без стражи легионы неотмщенных могил на всей, той самой, Одной Шестой, что раскинулась между Катьинским лесом и топиями Колымы. Ты чист от долгов, да упокоятся с миром твои кредиторы! Поэтому не спеши, мой мальчик, путь еще далек и ноша твоя тяжела. Ты несешь ее теперь уже не в уплату за грех собственного естества, а в дар Тому, Кто встретит тебя в конце твоего пути. Не спеши, не спеши, мой мальчик, я подожду тебя там — на том берегу. И тогда мы вздохнем с тобою одним дыханием. И причастимся. И отдохнем.

До свиданья, родной, до свиданья!

17

Здравствуй, Катюха! Сегодня я был там — на нашем Дворе. Со всех сторон его давно уже обступили многоэтажные коробки, с безликим высокомерием взирающие на случайный островок, одинокий оазис, уютный ковчег нашего прошлого, единственный теперь хранитель наших теней и вздохов, страж нашей ненасытной памяти: заснеженная пядь земли, замкнутая в четырех стенах сопредельных строений с давно потухшей котельной в правом углу и двумя хильмами палисадниками вдоль окон слева. Подобно блудному сыну стоял я перед

отчим порогом, с тою лишь разницей, что никто уже не ждал меня здесь для прощения и любви. Пусто и равнодушно смотрели на меня глазницы окон, за которыми отныне потаенно теплилась чужая, темная, непонятная мне жизнь, если можно назвать жизнью бивачное существование пришедшей орды, временных захватчиков, транзитных искателей столичного счастья. Все здесь, казалось, выглядело до мелочей знакомым — дорожка от ворот до парадного, ржавые петли нашей обшарпанной двери, выщербленные ступени, ведущие наверх, но на цельном облике Двора, во всей его корневой сущности остро ощущался привкус распада, гниения, тлена: дряхлая, словно бы присыпанная пеплом декорация, из которой вынули душу живого действия. Кругом было пусто, безмолвно и холодно. Я стоял перед своей игрушечной Меккой, перед своим личным и, наконец-то поверженным Карфагеном, у преддверия собственного Иерусалима, но не испытывал радости от Победы и Встречи, а плакал. Плакал о тех, чьи призраки еще витали здесь, о тех, кто не дожил, кого разметало время, с кем нам уже никогда не встретиться. «Прощай, самолеты туда не летают, прощай, поезда не приходят отсюда!» Сквозь времена и годы, в солнечных бликах детства я прозревал их лица: Тоньки, Лели Дурова, Натальи Николаевны, Сарры Иткиной, дяди Володи и много, много других вокруг и рядом. Они — эти лица — плыли мне навстречу из своего головокружительного далека, с бессмертной легкостью преодолевая забвение.

ТОНЬКА. Ничего, Владька, перезимуем, похмелимся и по-новой: живи — не хочу! Только зачем меня мама на свет родила!

ЛЕЛЯ ДУРОВ. Может, на следующей остановке нам повезет, Владик, должно повезти, мы это заслужили.

НАТАЛЬЯ НИКОЛАВНА. Если бы я знала, что будет с моими мальчиками, если бы я только знала!

САРРА ИТКИНА. Мне безразлично, на кого он был похож, Самсонов, но столько бы хлопот этому Карлу Марксу, сколько их было у моего Соломона!

ДЯДЯ ВОЛОДЯ. Пятерых народных комиссаров на расстрел проводил, а сам вот скриплю все, твоей, видно, Владька, участи дожидаясь, не сносить тебе головы...

ХОР:

— И в кого ты только такой пошел, Владька, жизни своей тебе не жалко что ли, живи, как все...

— «Бывало вспашешь пашенку»... Какой у меня тут разгон, в столице вашей вшивой, у меня в заднице больше, чем у вас всех в голове, рвань митьковская...

— У меня голова не казенная, чтобы ее за здорово живешь в печь совать, пускай Никифоров сует, ему на Лубянке другую выпишут, а я на мирном фронте перекантуюсь, мне Гитлер не должен...

— Сколько можно мне в голову гвозди забивать, совсем извели, проклятые, куда мне от вас, извергов, деваться, сгиньте вы все с глаз моих! Больно, батюшки, ох, как больно!..

— Владик!..

— Владька!..

— «Боксер»!..

— Самсоно-о-ов!..

Ты слышишь их, Катя? Мы уже не отмахнемся от них, не отринем их походя, уехав в другой район или за тридевять земель. Наоборот, чем дальше мы уходим от них во времени и пространстве, тем осязаемее и ближе их присутствие рядом

с нами. По отвесной спирали кровавого века, через его минные поля и проволочные ограждения мы двигались следом за ними, и поэтому обязаны им, самое малое, жизнью. Их ошибки и промахи, их грехи и заблуждения и, наконец, их безвестная гибель живут в нас, сообщая нам мудрость, которой мы не заслужили, и тепло, которое мы не бережем. Они, как узелки в живом кружеве земли: без них в этом мире давно распались бы все связи бытия и памяти. Они, как погасшие звезды, все еще источают для нас свой путеводный свет во тьме и холоде нашего земного пути. Они, как эхо морской раковины, которое доносит к нам гул отгрохотавшего в веках прибой. Без них нас нет, без них мы — ничто, без них нам не будет спасения. «Не говори, мой друг, «их нет», а с благодарностью — «были»...

Морозный туман потрескивал и клубился надо мной. Двор обтекал меня со всех сторон своим полым безмолвием, и мне чудилось, что я, сжавшись в комок, начинаю растворяться в нем — этом безмолвии, — сливаясь с его скорбной опустошенностью. Изо всех углов и закоулков навстречу мне выпархивали пестрые птицы воспоминаний. Вон там, в простенке между котельной и старой конюшней, переоборудованной затем в библиотеку, Ленька Царев, по кличке «Змей-Горыныч», отстреливался от оперативников после налета на карточное бюро местного жакта. А вот здесь, ближе к воротам, стояла хибара дворника Шилова, в которой были и мои два-три кирпича, канувшие в вечность вместе с дворником и его хибарой. А тут, в оконном провале второго этажа деревянного флигеля, чуть не десятилетие маячила, словно в портретной раме, испитая фигура дяди Володи Целиковского, экс-шофера пятерых наркомов-неудачников, почившего в Бозе от злоупотребления даровой

политурой и похороненного на жактовский счет дворовыми собутыльниками. Плачу и рыдаю. Плачу и рыдаю! Душа моя скорбит. Тени, тени, тени! Они теснились вокруг меня, объемно и внятно заявляя о своем праве памятным словом или отрывочным событием: стремительный калейдоскоп, яркая карусель, радужный шлейф минувшего. Ничего не забывается, ничего! Мы, словно листья одного дерева: даже опадая, сохраняем в себе его образ и подобие. Я твой, твой навсегда, мой Двор, мой Дом, мои Сокольники!

Сквозь студеное марево над Митьковкой, над ее гудками и лязгом, поверх ее башенных стрел и пакгаузов вздымалась многоступенчатая громада города. Москва смотрелась отсюда снизу вверх и оттого выглядела еще более подавляющей, чем обычно. Там, за стенами этих разновозрастных коробок, в тиши лабораторий, механическом громе цехов, вкрадчивом говоре кабинетов вырабатывалась судьба страны, которая дышала вокруг на тысячи верст, в венце доброго десятка открытых морей, в маковках полых церквей и ржавеющих ракет, пьяная и святая, кроткая и оголтелая, падшая и воскресающая вновь. Моя земля. Наша земля, Катюха!

Она отторгла нас, упрямых своих пасынков, и без сожаления поглядела нам вслед. Ей, в ее временной глухоте, еще не под силу услышать, чего же мы жаждем в нашей горькой любви к ней. Но в этом надменном ее непонимании уже чувствуется зыскующе мучительный вопрос: куда вы? И мы вернемся, мы непременно вернемся, чтобы ответить ей с надеждой быть наконец понятыми. Поэтому я не говорю сейчас: «прощай», а только лишь — «до свидания».

До свидания, мати!

Аминь.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Часть первая	5
Часть вторая	129
Часть третья	231
Часть четвертая	333